

VEcordia

Извлечение R-MONTE3

Открыто: 2007.04.20 19:16
Закрито: 2007.04.30 16:58
Версия: 2013.06.08 19:04

ISBN 9984-9395-5-3

Дневник «VECORDIA»

© Valdis Egle, 2017

ISBN

А. Дюма. «Граф Монте-Кристо»

© public domain



Александр Дюма

Александр Дюма

Граф Монте-Кристо

Части 5–6

Impositum

Grīziņkalns 2017

Talis hominis fuit oratio,
qualis vita

Граф Монте-Кристо III

Часть пятая

I. Нам пишут из Янины

Франц вышел из комнаты Нуартье такой потрясенный и растерянный, что даже Валентине стало жаль его.

Вильфор, который за все время тягостной сцены пробормотал лишь несколько бессвязных слов и затем поспешно удалился в свой кабинет, получил два часа спустя следующее письмо:

«После того, что обнаружилось сегодня, г-н Нуартье де Вильфор едва ли допускает мысль о родственных отношениях между его семьей и семьей Франца д'Эпине. Франц д'Эпипе с ужасом думает о том, что г-н де Вильфор, по-видимому осведомленный об оглашенных сегодня событиях, не предупредил его об этом сам».

Тот, кто видел бы в эту минуту королевского прокурора, согбенного под тяжестью удара, мог бы предположить, что Вильфор этого удара не ожидал; и в самом деле, Вильфор никогда не думал, чтобы его отец мог дойти до такой откровенности, вернее, беспощадности. Правда, г-н Нуартье, мало считавшийся с мнением сына, не нашел нужным осведомить его об этом событии, и Вильфор всегда думал, что генерал де Кепель, или, если угодно, барон д'Эпипе, погиб от руки убийцы, а не в честном поединке.

Это жестокое письмо всегда столь почтительного молодого человека было убийственно для самолюбия Вильфора.

Едва успел он пройти в свой кабинет, как к нему вошла жена.

Уход Франца, которого вызвал к себе г-н Нуартье, настолько всех удивил, что положение г-жи де Вильфор, оставшейся в обществе нотариуса и свидетелей, становилось всё затруднительнее. Наконец, она решительно встала и вышла из комнаты, заявив, что пойдет узнать, в чем дело.

Вильфор сообщил ей только, что после происшедшего между ним, Нуартье и д'Эпине объяснения брак Валентины и Франца состояться не может.

Невозможно было объявить это ожидавшим; поэтому г-жа де Вильфор, вернувшись в гостиную, сказала, что с г-ном Нуартье случилось нечто вроде удара, так что подписание договора придется отложить на несколько дней.

Это известие, хоть и совершенно ложное, так странно дополняло два однородных случая в этом доме, что присутствующие удивленно переглянулись и молча удалились.

Тем временем Валентина, счастливая и испуганная, нежно поцеловав беспомощного старика, одним ударом разбившего цепи, которые она уже считала нерасторжимыми, попросила разрешения уйти к себе и отдохнуть. Нуартье взглядом отпустил ее.

Но вместо того чтобы подняться к себе, Валентина, выйдя из комнаты деда, пошла по коридору и через маленькую дверь выбежала в сад. Среди всей этой смены событий сердце ее сжималось от тайной тревоги. С минуты на минуту она ждала, что появится Моррель, бледный и грозный, как Ревенсвуд в «Ламмермурской невесте».

Она вовремя подошла к решетке. Максимилиан, увидав, как Франц уехал с кладбища вместе с Вильфором, догадался о том, что должно произойти, и поехал следом. Он видел, как Франц вошел в дом, потом вышел и через некоторое время снова вернулся с Альбером и Шато-Рено. Таким образом, у него уже не было никаких сомнений. Тогда он бросился в огород, готовый на все и не сомневаясь, что Валентина при первой возможности прибежит к нему.

Он не ошибся; заглянув в щель, он увидал Валентину, которая, не принимая обычных мер предосторожности, бежала прямо к воротам.

Едва увидев ее, он успокоился; едва она заговорила, он подпрыгнул от радости.

– Спасены! – воскликнула Валентина.

– Спасены! – повторил Моррель, не веря своему счастью. – Но кто же нас спас?

– Дедушка. Всегда любите его, Моррель!

Моррель поклялся любить старика всей душой; и ему нетрудно было дать эту клятву, потому что в эту минуту он не только любил его, как друга или отца, он поклонялся ему, как божеству.

– Но как это произошло? – спросил Моррель. – Что он сделал.

Валентина уже готова была всё рассказать, но вспомнила, что за всем этим скрывается страшная тайна, которая принадлежит не только ее деду.

– Когда-нибудь я вам всё расскажу, – сказала она.

– Когда же?

– Когда буду вашей женой.

Такими словами можно было заставить Морреля согласиться на всё; поэтому он покорно удовольствовался услышанным и даже согласился немедленно уйти, но только при условии, что увидится с Валентиной на следующий день вечером.

Валентина обещала. Все изменилось для нее, и ей было легче поверить теперь, что она выйдет за Максимилиана, чем час тому назад поверить, что она не выйдет за Франца.

Тем временем г-жа де Вильфор поднялась к Нуартье.

Нуартье, как всегда, встретил ее мрачным и строгим взглядом.

– Сударь, – обратилась она к нему, – мне незачем говорить вам, что свадьба Валентины расстроилась, раз все это произошло именно здесь.

Нуартье был невозмутим.

– Но вы не знаете, – продолжала г-жа де Вильфор, – что я всегда была против этого брака и он устраивался помимо меня.

Нуартье посмотрел на свою невестку, как бы ожидая объяснения.

– А так как теперь этот брак, которого вы не одобряли, расторгнут, я являюсь к вам с просьбой, с которой ни мой муж, ни Валентина не могут к вам обратиться.

Нуартье вопросительно посмотрел на нее.

– Я пришла просить вас, – продолжала г-жа де Вильфор, – и только я одна имею на это право, потому что я одна ничего от этого не выигрываю, – чтобы вы вернули своей внучке не любовь, – она всегда ей принадлежала, – но ваше состояние.

В глазах Нуартье выразилось колебание; по-видимому, он искал причин этой просьбы и не находил их.

– Могу ли я надеяться, сударь, – сказала г-жа де Вильфор, – что ваши намерения совпадают с моей просьбой?

– Да, – показал Нуартье.

– В таком случае, сударь, – сказала г-жа де Вильфор, – я уйду от вас счастливая и благодарная.

И, поклонившись старику, она вышла из комнаты.

На следующий же день Нуартье вызвал нотариуса. Первое завещание было уничтожено и составлено новое, по которому он оставлял все свое состояние Валентине с тем условием, что его с ней не разлучат.

Нашлись люди, которые подсчитали, что мадемуазель де Вильфор, наследница маркиза и маркизы де Сен-Меран и к тому же вернувшая себе милость своего деда, в один прекрасный день станет обладательницей почти трехсот тысяч ливров годового дохода.

Между тем граф Монте-Кристо посетил графа де Морсер, и тот, чтобы доказать Данглару свою готовность, нарядился в парадный генерал-лейтенантский мундир со всеми орденами и велел подать свой лучший выезд.

Он отправился на улицу Шоссе-д'Антен и велел доложить о себе Данглару, который как раз подводил свой месячный баланс.

В последнее время, чтобы застать Данглара в хорошем расположении духа, лучше было выбирать другую минуту.

При виде старого друга Данглар принял величественный вид и выпрямился в кресле.

Морсер, обычно столь чопорный, старался, напротив, быть веселым и приветливым. Почти уверенный в том, что его предложение будет встречено с радостью, он отбросил всякую дипломатию и сразу приступил к делу.

– Я к вам, барон, – сказал он. – Мы с вами уже давно ходим вокруг да около наших старых планов...

Морсер ждал, что при этих словах лицо барона просияет, потому что именно своему долговому молчанию он приписывал его хмурый вид; но, напротив, как ни странно, это лицо стало еще более бесстрастным и холодным.

Вот почему Морсер остановился на середине своей фразы.

– Какие планы, граф? – спросил банкир, словно не понимая, о чем идет речь.

– Вы большой педант, дорогой барон, – сказал граф. – Я упустил из виду, что церемониал должен быть продлан по всем правилам. Ну что ж, прошу прощения. Ведь у меня один только сын, и так как я впервые собираюсь его женить, то я новичок в этом деле, извольте, я повинуюсь.

И Морсер, принужденно улыбаясь, встал, отвесил Данглару глубокий поклон и сказал:

– Барон, я имею честь просить руки мадемуазель Эжени Данглар, вашей дочери, для моего сына, виконта Альбера де Морсер.

Но вместо того чтобы встретить эти слова благосклонно, как имел право надеяться Морсер, Данглар нахмурился и, не приглашая графа снова сесть, сказал:

– Прежде чем дать вам ответ, граф, мне необходимо подумать.

– Подумать, – возразил изумленный Морсер. Разве у вас не было времени подумать? Ведь восемь лет прошло с тех пор, как мы с вами впервые заговорили об этом браке.

– Каждый день возникают новые обстоятельства, граф, – отвечал Данглар, – они вынуждают людей менять уже принятые решения.

– Что это значит? – спросил Морсер. Я вас не понимаю, барон!

– Я хочу сказать, сударь, что вот уже две недели, как новые обстоятельства...

– Позвольте, сказал Морсер, зачем нам разыгрывать эту комедию?

– Какую комедию?

– Объяснимся начистоту.

– Извольте.

– Вы виделись с графом Монте-Кристо?

– Я вижу его очень часто, важно сказал Данглар, мы с ним друзья.

– Ив одну из последних встреч вы ему сказали, что вас удивляет моя забывчивость, моя нерешительность касательно этого брака.

– Совершенно верно.

– Так вот, как видите, с моей стороны нет ни забывчивости, ни нерешительности, напротив, я явился просить вас выполнить ваше обещание.

Данглар ничего не ответил.

– Может быть, вы успели передумать, прибавил Морсер, – или вы меня вызвали на этот шаг, чтобы иметь удовольствие унижить меня?

Данглар понял, что, если он будет продолжать разговор в том же тоне, это может грозить ему неприятностями.

– Граф, – сказал он, – вы имеете полное право удивляться моей сдержанности, я вполне вас понимаю. Поверьте, я сам очень этим огорчен, но меня вынуждают к этому весьма серьезные обстоятельства.

– Все это отговорки, сударь, – возразил граф, – другой на моем месте, быть может, и удовлетворился бы ими, но граф де Морсер – не первый встречный. Когда он является к человеку и напоминает ему о данном слове, и этот человек не желает свое слово сдержать, то он имеет право требовать хотя бы объяснения.

Данглар был трусом, но не хотел казаться им; тон Морсера задел его за живое.

– Объяснение у меня, конечно, имеется, – возразил он.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что хотя объяснение у меня и имеется, но дать его нелегко.

– Но согласитесь, – сказал Морсер, – что я не могу удовлетвориться вашими недомолвками; во всяком случае для меня ясно, что вы отвергаете родственный союз между нами.

– Нет, сударь, – ответил Данглар, – я только откладываю свое решение.

– Но не думаете же вы, что я подчинюсь вашей прихоти и буду смиренно ждать, пока вы мне вернете свое благоволение?

– В таком случае, граф, если вам не угодно ждать, будем считать, что наши планы не осуществились.

Граф до боли закусил губу, чтобы не дать воли своему высокомерному и вспыльчивому нраву, он понимал, что при данных обстоятельствах он один окажется в смешном положении. Он направился было к двери, но вдруг раздумал и вернулся.

Тень прошла по его чину, выражение оскорбленной гордости сменилось признаками смутного беспокойства.

– Послушайте, дорогой Данглар, – сказал он, – мы с вами знакомы не первый год и должны немного считаться друг с другом. Я прошу вас объясниться. Должен же я по крайней мере знать, какое злополучное обстоятельство заставило вас изменить свое отношение к моему сыну.

– Это ни в какой мере не касается лично виконта, вот все, что я могу вам сказать, – отвечал Данглар, к которому вернулась его наглость, когда он увидел, что Морсер несколько смягчился.

– А кого это касается? – побледнев, спросил Морсер изменившимся голосом.

Данглар, от которого не ускользнуло его волнение, посмотрел на него более уверенным взглядом, чем обычно.

– Будьте благодарны мне за то, что я не выражаюсь яснее, – сказал он.

Нервная дрожь, вызванная, вероятно, сдерживаемым гневом, охватила Морсера.

– Я имею право, – ответил он, делая над собой усилие, – и я требую, чтобы вы объяснились. Может быть, вы имеете что-нибудь против госпожи де Морсер? Может быть, вы считаете, что я недостаточно богат? Может быть, мои взгляды не сходны с вашими?..

– Ни то, ни другое, ни третье, – сказал Данглар, – это было бы непростительно с моей стороны, потому что, когда я давал слово, я все это знал. Не допытывайтесь. Я очень сожалею, что так встревожил вас. Поверьте, лучше оставим это. Примем среднее решение: ни разрыв, ни обязательство. Зачем спешить? Моей дочери семнадцать лет, вашему сыну двадцать один. Подождем. Пусть пройдет время, может быть, то, что сегодня нам кажется неясным, завтра станет слишком ясным; бывает, что в один день опровергается самая убийственная клевета.

– Клевета? – воскликнул Морсер, смертельно бледнея. – Так меня оклеветали?

– Повторяю вам, граф, не требуйте объяснений.

– Итак, сударь, я должен молча снести отказ?

– Он особенно тягостен для меня, сударь. Да, мне он тяжелее, чем вам, потому что я надеялся иметь честь породниться с вами, а несостоявшийся брак всегда бросает большую тень на невесту, чем на жениха.

– Хорошо, сударь, прекратим этот разговор, – сказал Морсер.

И, яростно комкая перчатки, он вышел из комнаты.

Данглар отметил про себя, что Морсер ни разу не решился спросить, не из-за него ли самого Данглар берет назад свое слово.

Вечером он долго совещался с несколькими друзьями; Кавальканти, который все время находился с дамами в гостиной, последним покинул его дом.

На следующий день, едва проснувшись, Данглар спросил газеты; как только их принесли, он, отбросив остальные, схватился за «Беспристрастный голос».

Редактором этой газеты был Бошан.

Данглар поспешно сорвал бандероль, нетерпеливо развернул газету, с пренебрежением пропустил передовую и, дойдя до хроники, со злобной улыбкой прочитал заметку, начинающуюся словами: Нам пишут из Янины.

– Отлично, – сказал он, прочитав ее, – вот маленькая статейка о полковнике Фернанде, которая, по всей вероятности, избавит меня от необходимости давать какие-либо объяснения графу де Морсер.

В это же время, а именно в девять часов утра, Альбер де Морсер, весь в черном, застегнутый на все пуговицы, бледный и взволнованный, явился в дом на Елисейских Полях.

– Граф вышел с полчаса тому назад, – сказал привратник.

– А Батистена он взял с собой? – спросил Морсер.

– Нет, господин виконт.

– Позовите Батистена, я хочу с ним поговорить.

Привратник пошел за камердинером и через минуту вернулся вместе с ним.

– Друг мой, – сказал Альбер, – прошу простить мою настойчивость, но я хотел лично от вас узнать, действительно ли графа нет дома.

– Да, сударь, – отвечал Батистен.

– Даже для меня?

– Я знаю, насколько граф всегда рад вас видеть, и я никогда не посмел бы поставить вас на одну доску с другими.

– И ты прав, мне нужно его видеть по важному делу. Скоро ли он вернется?

– Думаю, что скоро: он заказал завтрак на десять часов.

– Отлично, я пройду по Елисейским Полям и в десять часов вернусь сюда; если граф вернется раньше меня, передай, что я прошу его подождать меня.

– Будет исполнено, сударь.

Альбер оставил у ворот графа наемный кабриолет, в котором он приехал, и отправился пешком.

Когда он проходил мимо Аллеи Вдов, ему показалось, что у тира Госсе стоит экипаж графа; он подошел и узнал кучера.

– Граф в тире? – спросил его Морсер.

– Да, сударь, – ответил кучер.

В самом деле, еще подходя к тире, Альбер слышал выстрелы.

Он вошел. В палисаднике он встретил служителя.

– Простите, господин виконт, – сказал тот, – но не угодно ли вам немного подождать?

– Почему, Филипп? – спросил Альбер; он был завсегдаем тира, и неожиданное препятствие удивило его.

– Потому что то лицо, которое сейчас упражняется, абонирует весь тир для себя одного и никогда не стреляет при других.

– И даже при вас, Филипп?

– Вы видите, сударь, я стою здесь.

– А кто заряжает пистолеты?

– Его слуга.

– Нубиец?

– Негр.

– Так и есть.

– Вы знаете этого господина?

– Я пришел за ним; это мой друг.

– В таком случае другое дело. Я скажу ему.

И Филипп, подстрекаемый любопытством, прошел в тир. Через секунду на пороге появился Монте-Кристо.

– Простите, дорогой граф, что я врываюсь к вам сюда, – сказал Альбер. – Но прежде всего должен вам сказать, что ваши слуги не виноваты: это я сам так настойчив. Я был у вас, мне сказали, что вы отправились на прогулку, но к десяти часам вернетесь завтракать. Я тоже решил до десяти погулять и случайно увидел ваш экипаж.

– Из этого я с удовольствием заключаю, что вы приехали позавтракать со мной.

– Благодарю, мне сейчас не до завтрака; быть может, позже мы и позавтракаем, но только в несколько неприятной компании!

– Что такое, не понимаю?

– Дорогой граф, у меня сегодня дуэль.

– У вас? А зачем?

– Да чтобы драться, конечно!

– Я понимаю, но ради чего? Драться можно по многим поводам.

– Затронута моя честь.

– Это дело серьезное.

– Настолько серьезное, что я приехал к вам просить об одной услуге.

– О какой?

– Быть моим секундантом.

– Дело нешуточное; не будем говорить об этом здесь, поедем ко мне. Али, подай мне

воды.

Граф засучил рукава и прошел в маленькую комнатку, где посетители тира обычно мыли руки.

– Войдите, виконт, – шепотом сказал Филипп, – вам будет любопытно взглянуть.

Морсер вошел. На прицельной доске вместо мишени были наклеены игральные карты. Издали Морсеру показалось, что там вся колода, кроме фигур, – от туза до десятки.

– Вы играли в пикет? – спросил Альбер.

– Нет, – отвечал граф, – я составлял колоду.

– Колоду?

– Да. Видите, это тузы и двойки, но мои пули сделали из них тройки, пятерки, семерки, восьмерки, девятки и десятки.

Альбер подошел ближе.

В самом деле, по совершенно прямой линии и на совершенно точном расстоянии пули заменили собой отсутствующие знаки и пробили картон в тех местах, где эти знаки должны были быть отпечатаны.

Подходя к доске, Альбер, кроме того, подобрал трех ласточек, которые имели неосторожность пролететь на пушечный выстрел от графа.

– Черт возьми! – воскликнул он.

– Что поделаешь, дорогой виконт, – сказал Монте-Кристо, вытирая руки полотенцем, которое ему подал Али, – надо же чем-нибудь заполнить свой досуг. Но идемте, я вас жду.

Они сели в карету Монте-Кристо, которая в несколько минут доставила их к воротам дома № 30.

Монте-Кристо провел Морсера в свой кабинет и указал ему на кресло.

Оба сели.

– Теперь поговорим спокойно, – сказал граф.

– Вы видите, что я совершенно спокоен.

– С кем вы собираетесь драться?

– С Бошаном.

– С вашим другом?

– Дерутся всегда с друзьями.

– Но для этого нужна причина.

– Причина есть.

– Что он сделал?

– Вчера вечером в его газете... Да вот прочтите.

Альбер протянул Монте-Кристо газету, и тот прочел:

– «Нам пишут из Янины.

До нашего сведения дошел факт, никому до сих пор не известный или, во всяком случае, никем не оглашенный: крепости, защищавшие город, были выданы туркам одним французским офицером, которому визирь Али-Тобелин вполне доверился и которого звали Фернан».

– Ну и что же? – спросил Монте-Кристо. – Что вы нашли в этом оскорбительного для себя?

– Как, что я нашел?

– Какое вам дело до того, что крепости Янины были выданы офицером по имени Фернан?

– А такое, что моего отца, графа де Морсер, зовут Фернан.

– И ваш отец был на службе у Али-паши?

– То есть он сражался за независимость Греции: вот в чем заключается клевета.

– Послушайте, дорогой виконт, поговорим здраво.

– Извольте.

– Скажите мне, кто во Франции знает, что офицер Фернан и граф де Морсер одно и то же лицо, и кого сейчас интересует Янина, которая была взята, если не ошибаюсь, в тысяча восемьсот двадцать втором или тысяча восемьсот двадцать третьем году?

– Вот это и подло; столько времени молчали, а теперь вспоминают о давно минувших событиях, чтобы вызвать скандал и опорочить человека, занимающего высокое положение. Я наследник отцовского имени и не желаю, чтобы на него падала даже тень подозрения. Я пошлю секундантов к Бошану, в газете которого напечатана эта заметка, и он опровергнет ее.

– Бошан ничего не опровергнет.

– В таком случае мы будем драться.

– Нет, вы не будете драться, потому что он вам ответит, что в греческой армии могло быть полсотни офицеров по имени Фернан.

– Всё равно, мы будем драться. Я этого так не оставлю... Мой отец такой благородный воин, такое славное имя...

– А если он напишет: «Мы имеем основания считать, что этот Фернан не имеет ничего общего с графом де Морсер, которого также зовут Фернан»?

– Мне нужно настоящее, полное опровержение; таким я не удовлетворюсь!

– И вы пошлете ему секундантов?

– Да.

– Напрасно.

– Иными словами, вы не хотите оказать мне услугу, о которой я вас прошу?

– Вы же знаете мои взгляды на дуэль; я вам уже высказывал их в Риме, помните?

– Однако, дорогой граф, не далее как сегодня я застал вас за упражнением, которое плохо вяжется с вашими взглядами.

– Дорогой друг, никогда не следует быть исключением. Если живешь среди сумасшедших, надо и самому научиться быть безумным; каждую минуту может встретиться какой-нибудь сумасброд, у которого будет столько же оснований ссориться со мной, как у вас с Бошаном, и из-за невесты какой нелепости он вызовет меня, или пошлет мне секундантов, или оскорбит меня публично; такого сумасброда мне поневоле придется убить.

– Стало быть, вы допускаете для себя возможность дуэли?

– Еще бы!

– Тогда почему же вы хотите, чтобы я не дрался?

– Я вовсе не говорю, что вам не следует драться; я говорю только, что дуэль – дело серьезное и требует размышления.

– А Бошан размышлял, когда оскорбил моего отца?

– Если нет и если он признает это, вам не следует на него сердиться.

– Дорогой граф, вы слишком снисходительны!

– А вы слишком строги. Предположим... вы слышите: предположим... Только не вздумайте сердиться на то, что я вам скажу.

– Я слушаю вас.

– Предположим, что приведенный факт имел место....

– Сын не может допустить предположения, которое затрагивает честь отца.

– В наше время многое допускается.

– Этим и плохо наше время.

– А вы намерены его исправить?

– Да, в том, что касается меня.

– Я не знал, что вы такой ригорист!

– Так уж я создан.

– И вы никогда не слушаетесь добрых советов?

– Нет, слушаюсь, если они исходят от друга.

– Меня вы считаете своим другом?

– Да.

– Тогда раньше, чем посылать секундантов к Бошану, наведите справки.

– У кого?

– Хотя бы у Гайде.

– Вмешивать в это женщину? Что она может сказать мне?

– Заверить вас, скажем, что ваш отец не повинен в поражении и смерти ее отца или дать вам нужные разъяснения, если бы вдруг оказалось, что ваш отец имел несчастье...

– Я уже вам сказал, дорогой граф, что не могу допустить подобного предположения.

– Значит, вы отказываетесь прибегнуть к этому способу?

– Отказываюсь.

– Решительно?

– Решительно!

– В таком случае последний вам совет.

– Хорошо, но только последний.

– Или вы его не желаете?

– Напротив, я прошу.

- Не посылайте к Бошану секундантов.
 - Почему?
 - Пойдите к нему сами.
 - Это против всех правил.
 - Ваше дело не такое, как все.
 - А почему вы считаете, что мне следует отправиться к нему лично?
 - Потому что в этом случае все останется между вами и Бошаном.
 - Я вас не понимаю.
 - Это очень ясно: если Бошан будет склонен взять свои слова обратно, вы дадите ему возможность сделать это по доброй воле и в результате все-таки добьетесь опровержения. Если же он откажется, вы всегда успеете посвятить в вашу тайну двух посторонних.
 - Не посторонних, а друзей.
 - Сегодняшние друзья – завтрашние враги.
 - Бросьте!
 - А Бошан?
 - Итак...
 - Итак, будьте осторожны.
 - Значит, вы считаете, что я должен сам пойти к Бошану?
 - Да.
 - Один?
 - Один. Если хочешь, чтобы человек поступился своим самолюбием, надо оградить это самолюбие от излишних уколов.
 - Пожалуй, вы правы.
 - Я очень рад.
 - Я поеду один.
 - Поезжайте; но еще лучше – не ездите вовсе.
 - Это невозможно.
 - Как знаете, все же это лучше того, что вы хотели сделать.
 - Но если несмотря на всю осторожность, на все принятые мною меры дуэль все-таки состоится, вы будете моим секундантом?
 - Дорогой виконт, – серьезно сказал Монте-Кристо, – однажды вы имели случай убедиться в моей готовности оказать вам услугу, но сейчас вы просите невозможного.
 - Почему?
 - Быть может, когда-нибудь узнаете.
 - А до тех пор?
 - Я прошу вашего разрешения сохранить это в тайне.
 - Хорошо. Я попрошу Франца и Шато-Рено.
 - Отлично, попросите Франца и Шато-Рено.
 - Но если я буду драться, вы не откажетесь дать мне урок фехтования или стрельбы из пистолета?
 - Нет, и это невозможно.
 - Какой вы странный человек! Значит, вы не желаете ни во что вмешиваться?
 - Ни во что.
 - В таком случае не будем об этом говорить. До свидания, граф.
 - До свидания, виконт.
- Альбер взял шляпу и вышел.
У ворот его дождался кабриолет; стараясь сдержать свой гнев, Альбер поехал к Бошану; Бошан был в редакции.
Альбер поехал в редакцию.
Бошан сидел в темном, пыльном кабинете, какими всегда были и будут редакционные помещения.
Ему доложили о приходе Альбера де Морсер. Он заставил повторить это имя два раза; затем, все еще не веря, крикнул:
– Войдите!
Альбер вошел.
Бошан ахнул от удивления, увидев своего друга.

Альбер шагнул через кипы бумаги, неловко пробираясь между газетами всех размеров, которые усеивали крашенный пол кабинета.

– Сюда, сюда, дорогой, – сказал он, протягивая руку Альберу, – каким ветром вас занесло? Вы заблудились, как Мальчик-с-пальчик, или просто хотите со мной позавтракать? Поищите себе стул; вон там стоит один, рядом с геранью, она одна напоминает мне о том, что лист может быть не только газетным.

– Как раз из-за вашей газеты я и приехал, – сказал Альбер.

– Вы? А в чем дело?

– Я требую опровержения.

– Опровержения? По какому поводу? Да садитесь же!

– Благодарю вас, – сдержанно ответил Альбер с легким поклоном.

– Объясните?

– Я хочу, чтобы вы опровергли одно сообщение, которое затрагивает честь члена моей семьи.

– Да что вы! – сказал Бошан, донельзя изумленный. – Какое сообщение? Этого не может быть.

– Сообщение, которое вы получили из Янины.

– Из Янины?

– Да. Разве вы не понимаете, о чем я говорю?

– Честное слово... Батист, дайте вчерашнюю газету! – крикнул Бошан.

– Не надо, у меня есть.

Бошан прочел:

– «Нам пишут из Янины» – и т.д. и т.д.

– Теперь вы понимаете, что дело серьезное, – сказал Морсер, когда Бошан дочитал заметку.

– А этот офицер ваш родственник? – спросил журналист.

– Да, – ответил, краснея, Альбер.

– Что же вы хотите, чтобы я для вас сделал? – кротко сказал Бошан.

– Я бы хотел, Бошан, чтобы вы поместили опровержение.

Бошан посмотрел на Альбера внимательно и дружелюбно.

– Давайте поговорим, – сказал он, – ведь опровержение – это очень серьезная вещь. Садитесь, я еще раз прочту заметку.

Альбер сел, и Бошан с большим вниманием, чем в первый раз, прочел строчки, вызвавшие гнев его друга.

– Вы сами видите, – сказал твердо, даже резко, Альбер, – в вашей газете оскорбили члена моей семьи, и я требую опровержения.

– Вы... требуете...

– Да, требую.

– Разрешите мне сказать вам, дорогой виконт, что вы плохой дипломат.

– Да я и не стремлюсь быть дипломатом, – возразил, вставая, Альбер. – Я требую опровержения этой заметки, и я его добьюсь. Вы мой друг, – продолжал Альбер сквозь зубы, видя, что Бошан надменно поднял голову, – и, надеюсь, вы достаточно меня знаете, чтобы понять мою настойчивость.

– Я ваш друг, Морсер. Но я могу забыть об этом, если вы будете и дальше разговаривать в таком тоне... Но не будем ссориться, пока это возможно... Вы взволнованы, раздражены... Скажите, кем вам доводится этот Фернан?

– Это мой отец, – сказал Альбер. – Фернан Мондего, граф де Морсер, старый воин, участник двадцати сражений, и его благородное имя хотят забросать грязью.

– Ваш отец? – сказал Бошан. – Это другое дело, я понимаю ваше возмущение, дорогой Альбер... Прочтем еще раз...

И он снова перечитал заметку, на этот раз взвешивая каждое слово.

– Но где же тут сказано, что этот Фернан – ваш отец? – спросил Бошан.

– Нигде, я знаю; но другие это увидят. Вот почему я и требую опровержения этой заметки.

При слове требую Бошан поднял глаза на Альбера и, сразу же опустив их, на минуту задумался.

– Вы дадите опровержение? – с возрастающим гневом, но все еще сдерживаясь, повторил Альбер.

– Да, – сказал Бошан.

– Ну, слава богу! – сказал Альбер.

– Но лишь после того, как удостоверюсь, что сообщение ложное.

– Как!

– Да, это дело стоит того, чтобы его расследовать, и я это сделаю.

– Но что же тут расследовать, сударь? – сказал Альбер, выходя из себя – Если вы не верите, что речь идет о моем отце, скажите прямо; если же вы думаете, что речь идет о нем, я требую удовлетворения.

Бошан взглянул на Альбера с присущей ему улыбкой, которой он умел выражать любое чувство.

– Сударь, раз уж вам угодно пользоваться этим обращением, – возразил он, – если вы пришли требовать удовлетворения, то с этого следовало начать, а не говорить со мной о дружбе и о других пустяках, которые я терпеливо выслушиваю уже полчаса. Вам угодно, чтобы мы с вами стали на этот путь?

– Да, если вы не опровергнете эту гнусную клевету.

– Одну минуту! Попрошу вас без угроз, господин Фернан де Мондего виконт де Морсер, – я не терплю их ни от врагов, ни тем более от друзей Итак, вы хотите, чтобы я опроверг заметку о полковнике Фернана, заметку, к которой я, даю вам слово, совершенно непричастен.

– Да, я этого требую! – сказал Альбер, теряя самообладание.

– Иначе дуэль? – продолжал Бошан все так же спокойно.

– Да! – заявил Альбер, повысив голос.

– Ну, так вот мой ответ, милостивый государь, – сказал Бошан, – эту заметку поместил не я, я ничего о ней не знал. Но вы привлекли к ней мое внимание, она меня заинтересовала. Поэтому она останется в неприкосновенности, пока не будет опровергнута или же подтверждена теми, кому ведать надлежит.

– Итак, милостивый государь, – сказал Альбер, вставая, – я буду иметь честь прислать вам моих секундантов; вы с ними условитесь о месте и выборе оружия.

– Превосходно, милостивый государь.

– И сегодня вечером, если вам угодно, или, самое позднее, завтра мы встретимся.

– Нет, нет! Я явлюсь на поединок, когда наступит для этого время, а по моему мнению (я имею право выражать свое мнение, потому что вы меня вызвали), время еще не настало. Я знаю, что вы отлично владеете шпагой, я владею ею сносно; я знаю, что вы из шести три раза попадаете в цель, я – приблизительно так же, я знаю, что дуэль между нами будет серьезным делом, потому что вы храбры, и я... не менее. Поэтому я не желаю убивать вас или быть убитым вами без достаточных оснований. Теперь я сам, в свою очередь, поставлю вопрос, и ка-те-го-ри-чески. Настаиваете ли вы на этом опровержении так решительно, что готовы убить меня, если я его не помещу, несмотря на то, что я вам уже сказал, и повторяю и заверяю вас своей честью: я ничего об этой заметке не знал, и никому, кроме такого чудака, как вы, никогда и в голову не придет, что под именем Фернана может подразумеваться граф де Морсер?

– Я безусловно на этом настаиваю.

– Ну что ж, милостивый государь, я даю свое согласие на то, чтобы мы перерезали друг другу горло, но я требую три недели сроку. Через три недели я вам скажу либо «Это ложная заметка» и возьму ее обратно, либо: «Это правда», и мы вынем шпаги из ножен или пистолеты из ящика, по вашему выбору.

– Три недели! – воскликнул Альбер – Но ведь это – три вечности бесчестия для меня!

– Если бы мы оставались друзьями, я бы сказал вам: терпение, друг, вы стали моим врагом, и я говорю вам: а мне что за дело, милостивый государь?

– Хорошо, через три недели, – сказал Альбер – Но помните, через три недели уже не будет никаких отсрочек, никаких отговорок, которые могли бы вас избавить.

– Господин Альбер де Морсер, – сказал Бошан, в свою очередь вставая, – я не имею права выбросить вас в окно раньше, чем через три недели, а вы не имеете права заколоть меня раньше этого времени Сегодня у нас двадцать девятое августа, следовательно, до двадцать первого сентября А пока, поверьте – и это совет джентльмена, – лучше нам не кидаться друг на друга, как две цепные собаки.

И Бошан, сдержанно поклонившись Альберу, повернулся к нему спиной и прошел в типографию.

Альбер отвел душу на кипе газет, которую он раскидал яростными ударами трости, после чего он удалился, не преминув несколько раз оглянуться в сторону типографии.

Когда Альбер, отхлестав ни в чем не повинную печатную бумагу, проезжал бульвар, яростно колотя тростью по передку своего кабриолета, он заметил Морреля, который, высоко вскинув голову, блестя глазами, бодрой походкой шел мимо Китайских бань, направляясь к церкви Мадлен.

– Вот счастливый человек! – сказал Альбер со вздохом.

На этот раз он не ошибся.

II. Лимонад

И в самом деле, Моррель был очень счастлив.

Старик Нуартье только что прислал за ним, и он так спешил узнать причину этого приглашения, что даже не взял кабриолета, надеясь больше на собственные ноги, чем на ноги наемной клячи; он почти бегом пустился в предместье Сент-Оноре.

Моррель шел гимнастическим шагом, и бедный Барруа едва поспевал за ним. Моррелю был тридцать один год, Барруа – шестьдесят; Моррель был упоен любовью, Барруа страдал от жажды и жары. Эти два человека, столь далекие по интересам и по возрасту, походили на две стороны треугольника: разделенные основанием, они сходились у вершины.

Вершиной этой был Нуартье, пославший за Моррелем и наказавший ему поспешить, что Моррель и исполнял в точности, к немалому отчаянию Барруа.

Прибыв на место, Моррель даже не запыхался: любовь окрыляет, но Барруа, уже давно забывший о любви, был весь в поту.

Старый слуга ввел Морреля через известный нам отдельный ход, запер дверь кабинета, и немного погодя шелест платья возвестил о приходе Валентины.

В трауре Валентина была необыкновенно хороша.

Моррелю казалось, что он грезит наяву, и он готов был отказаться от беседы с Нуартье; но вскоре послышался шум кресла, катящегося по паркету, и появился старик.

Нуартье приветливо слушал Морреля, который благодарил его за чудесное вмешательство, спасшее его и Валентину от отчаяния. Потом вопрошающий взгляд Морреля обратился на Валентину, которая сидела поодаль и робко ожидала минуты, когда она будет вынуждена заговорить.

Нуартье в свою очередь взглянул на нее.

– Я должна сказать то, что вы мне поручили? – спросила она.

– Да, – ответил Нуартье.

– Господин Моррель, – сказала тогда Валентина, обращаясь к Максимилиану, пожиравшему ее глазами, – за эти три дня дедушка сказал мне многое из того, что он хотел сообщить вам. Сегодня он послал за вами, чтобы я это вам пересказала. Он выбрал меня своей переводчицей, и я вам все повторю слово в слово.

– Я жду с нетерпением, мадемуазель, – отвечал Моррель, – говорите, прошу вас.

Валентина опустила глаза; это показалось Моррелю хорошим предзнаменованием: Валентина проявляла слабость только в минуты счастья.

– Дедушка хочет уехать из этого дома, – сказала она. – Барруа подыскивает ему помещение.

– А вы, – сказал Моррель, – ведь господин Нуартье вас так любит и вы ему так необходимы?

– Я не расстанусь с дедушкой, – ответила Валентина, – это решено. Я буду жить подле него. Если господин де Вильфор согласится на это, я уеду немедленно. Если же он откажет мне, придется подождать до моего совершеннолетия, до которого осталось десять месяцев. Тогда я буду свободна, независима и...

– И?.. – спросил Моррель.

– ...и, с согласия дедушки, сдержу слово, которое я вам дала.

Валентина так тихо произнесла последние слова, что Моррель не расслышал бы их, если бы не вслушивался с такой жадностью.

– Верно ли я выразила вашу мысль, дедушка? – прибавила Валентина, обращаясь к Нуартье.

– Да, – ответил взгляд старика.

– Когда я буду жить у бабушки, – прибавила Валентина, – господин Моррель сможет видеться со мной в присутствии моего доброго и почитаемого покровителя. Если узы, которые связывают наши, быть может, неопытные и изменчивые сердца, встретят его одобрение и после этого испытания послужат порукой нашему будущему счастью (увы! говорят, что сердца, воспламененные препятствиями, охлаждаются в благополучии!), то господину Моррелю будет разрешено просить моей руки; я буду ждать.

– Чем я заслужил, что на мою долю выпало такое счастье? – воскликнул Моррель, готовый преклонить колени перед старцем, как перед богом, и перед Валентиной, как перед ангелом.

– А до тех пор, – продолжала своим чистым и строгим голосом Валентина, – мы будем уважать волю моих родных, если только они не будут стремиться разлучить нас. Словом, и я повторяю это, потому что этим все сказано, мы будем ждать.

– И те жертвы, которые это слово на меня налагает, – сказал Моррель, – обращаясь к старику, – я клянусь принести не только покорно, но и с радостью.

– Поэтому, друг мой, – продолжала Валентина, бросив на Максимилиана проникший в самое его сердце взгляд, – довольно безрассудств. Берегите честь той, которая с сегодняшнего дня считает себя предназначенной достойно носить ваше имя.

Моррель прижал руку к сердцу.

Нуартье с нежностью глядел на них. Барруа, стоявший тут же, как человек, посвященный во все тайны, улыбался, вытирая крупные капли пота, выступившие на его плешивом лбу.

– Бедный Барруа, он совсем измучился, – сказала Валентина.

– Да, – сказал Барруа, – ну и бежал же я, мадемуазель; а только господин Моррель, надо отдать ему справедливость, бежал еще быстрее меня.

Нуартье указал глазами на поднос, на котором стояли графин с лимонадом и стакан. Графин был наполовину пуст, – полчаса тому назад из него пил сам Нуартье.

– Выпей, Барруа, – сказала Валентина, – я по глазам вижу, что ты хочешь лимонаду.

– Правду сказать, – ответил Барруа, – я умираю от жажды и с удовольствием выпью стакан за ваше здоровье.

– Так возьми, – сказала Валентина, – и возвращайся сюда поскорее.

Барруа взял поднос, вышел в коридор, и все увидели через приотворенную дверь, как он запрокинул голову и залпом выпил стакан лимонада, налитый ему Валентиной.

Валентина и Моррель прощались друг с другом в присутствии Нуартье, как вдруг на лестнице, ведущей в половину Вильфора, раздался звонок.

Валентина взглянула на настенные часы.

– Полдень, – сказала она, – сегодня суббота; бабушка, это, вероятно, доктор.

Нуартье показал знаком, что он тоже так думает.

– Он сейчас придет сюда; господину Моррелю лучше уйти, не правда ли, бабушка?

– Да, – был ответ старика.

– Барруа! – позвала Валентина, – Барруа, идите сюда!

– Иду, мадемуазель, – послышался голос старого слуги.

– Барруа проводит вас до двери, – сказала Валентина Моррелю. – А теперь, господин офицер, прошу вас помнить, что бабушка советует вам не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб нашему счастью.

– Я обещаю ждать, – сказал Моррель, – и я буду ждать.

В эту минуту вошел Барруа.

– Кто звонил? – спросила Валентина.

– Доктор д'Авриньи, – сказал Барруа, еле держась па ногах.

– Что с вами, Барруа? – спросила Валентина.

Старик ничего не ответил; он испуганными глазами смотрел на своего хозяина и судорожно сжатой рукой пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть.

– Он сейчас упадет! – воскликнул Моррель.

В самом деле, дрожь, охватившая Барруа, все усиливалась; его лицо, искаженное судорогой, говорило о сильнейшем нервном припадке.

Нуартье, видя страдания Барруа, бросал вокруг себя тревожные взгляды, которые ясно выражали все волнующие его чувства.

Барруа шагнул к своему хозяину.

– Боже мой, боже мой, – сказал он, – что это со мной?.. Мне больно... в глазах темно. Голова как в огне. Не трогайте меня, не трогайте!

Его глаза вылезли из орбит и закатились, голова откинулась назад, все тело судорожно напряглось.

Валентина вскрикнула от испуга; Моррель схватил ее в объятия, как бы защищая от неведомой опасности.

– Господин д'Авриньи! Господин д'Авриньи! – закричала Валентина сдавленным голосом. – Сюда, сюда, помогите!

Барруа повернулся на месте, отступил на шаг, зашатался и упал к ногам Нуартье, схватившись рукой за его колено.

– Господин! Мой добрый господин! – кричал он.

В эту минуту, привлеченный криками, на пороге появился Вильфор.

Моррель выпустил полубесчувственную Вален гину и, бросившись в глубь комнаты, скрылся за тяжелой портьерой.

Побледнев, как полотно, он с ужасом смотрел на умирающего, словно вдруг увидел перед собою змею.

Нуартье терзался нетерпением и тревогой. Его душа рвалась на помощь несчастному старику, который был ему скорее другом, чем слугой. Страшная борьба жизни и смерти, происходившая перед паралитиком, отражалась на его лице: жилы на лбу вздулись, последние еще живые мышцы вокруг глаз мучительно напряглись.

Барруа, с дергающимся лицом, с налитыми кровью глазами и запрокинутой головой, лежал на полу, хватаясь за него руками, а его окоченевшие ноги, казалось, скорее сломались бы, чем согнулись.

На губах его выступила пена, он задышался.

Вильфор, ошеломленный, не мог оторвать глаз от этой картины, которая приковала его внимание, как только он переступил порог.

Морреля он не заметил.

Минуту он стоял молча, заметно побледнев.

– Доктор! Доктор! – воскликнул он, наконец, кидаясь к двери. – Идите сюда! Скорее!

– Сударыня! – звала Валентина свою мачеху, цепляясь за перила лестницы. – Идите сюда! Идите скорее! Принесите вашу нюхательную соль!

– Что случилось? – сдержанно спросил металлический голос г-жи де Вильфор.

– Идите, идите!

– Да где же доктор? – кричал Вильфор.

Госпожа де Вильфор медленно сошла с лестницы; слышно было, как скрипели деревянные ступени. В одной руке она держала платок, которым вытирала лицо, в другой – флакон с нюхательной солью.

Дойдя до двери, она прежде всего взглянула на Нуартье, который, если не считать вполне естественного при данных обстоятельствах волнения, казался совершенно здоровым; затем взгляд ее упал на умирающего.

Она побледнела, и ее взгляд, если так можно выразиться, отпрянул от слуги и вновь устремился на господина.

– Ради бога, сударыня, где же доктор? – повторил Вильфор. – Он прошел к вам. Вы же видите, это апоплексический удар, его можно спасти, если пустить ему кровь.

– Не съел ли он чего-нибудь? – спросила г-жа де Вильфор, уклоняясь от ответа.

– Он не завтракал, – сказала Валентина, – но дедушка посылал его со спешным поручением. Он очень устал и, вернувшись, выпил только стакан лимонада.

– Почему же не вина? – сказала г-жа де Вильфор. – Лимонад очень вреден.

– Лимонад был здесь, в дедушкином графине. Бедному Барруа хотелось пить, и он выпил то, что было под рукой.

Госпожа де Вильфор вздрогнула. Нуартье окинул ее своим глубоким взглядом.

– У него такая короткая шея! – сказала она.

– Сударыня, – сказал Вильфор, – я спрашиваю вас, где д'Авриньи? Отвечайте, ради бога!

– Он у Эдуарда; мальчик нездоров, – сказала г-жа де Вильфор, не смея дольше уклоняться от ответа.

Вильфор бросился на лестницу, чтобы привести доктора.

– Возьмите, – сказала г-жа де Вильфор, передавая Валентине флакон, – ему, вероятно, пустят кровь. Я пойду к себе, я не выношу вида крови.

И она ушла вслед за мужем.

Моррель вышел из своего темного угла, среди общей тревоги его никто не заметил.

– Уходите скорей, Максимилиан, – сказала ему Валентина, – и не приходите, пока я вас не позову. Идите.

Моррель жестом посоветовался с Нуартье. Нуартье, сохранивший все свое хладнокровие, сделал ему утвердительный знак.

Он прижал к сердцу руку Валентины и вышел боковым коридором.

В это время в противоположную дверь входили Вильфор и доктор.

Барруа понемногу приходил в себя; припадок миновал, он начал стонать и приподнялся на одно колено.

Д'Авриньи и Вильфор перенесли Барруа на кушетку.

– Что нужно, доктор? – спросил Вильфор.

– Пусть принесут воды и эфиру. У вас в доме найдется эфир?

– Да.

– Пусть сбегают за скипидарным маслом и рвотным.

– Бегите скорей! – приказал Вильфор.

– А теперь пусть все выйдут.

– И я тоже? – робко спросила Валентина.

– Да, мадемуазель, прежде всего вы, – резко сказал доктор.

Валентина удивленно взглянула на д'Авриньи, поцеловала деда в лоб и вышла.

Доктор с мрачным видом закрыл за ней дверь.

– Смотрите, смотрите, доктор, он приходит в себя; это был просто припадок.

Д'Авриньи мрачно улыбнулся.

Как вы себя чувствуете, Барруа? – спросил он.

– Немного лучше, сударь.

– Вы можете выпить стакан воды с эфиром?

– Попробую, только не трогайте меня.

– Почему?

– Мне кажется, если вы дотронетесь до меня хотя бы пальцем, со мной опять будет припадок.

– Выпейте.

Барруа взял стакан, поднес его к своим посиневшим губам и отпил около половины.

– Где у вас болит? – спросил доктор.

– Всюду; меня сводит судорога.

– Голова кружится?

– Да.

– В ушах звенит?

– Ужасно.

– Когда это началось?

– Только что.

– Сразу?

– Как громом ударило.

– Вчера вы ничего не чувствовали? Позавчера ничего?

– Ничего.

– Ни сонливости? Ни тяжести в желудке?

– Нет.

– Что вы ели сегодня?

– Я ничего еще не ел; я только выпил стакан лимонада из графина господина Нуартье.

И Барруа кивнул головой в сторону старика, который, неподвижный в своем кресле, следил за этой сценой, не упуская ни одного движения, ни одного слова.

– Где этот лимонад? – живо спросил доктор.

– В графине, внизу.

– Где внизу?

– На кухне.

- Хотите, я принесу, доктор? – спросил Вильфор.
- Нет, оставайтесь здесь и постарайтесь, чтобы больной выпил весь стакан.
- А лимонад?..
- Я пойду сам.

Д'Авриньи бросился к двери, открыл ее, побежал по черной лестнице и едва не сбил с ног г-жу де Вильфор, которая также спускалась на кухню.

Она вскрикнула.

Д'Авриньи даже не заметил этого; поглощенный одной мыслью, он перепрыгнул через последние ступеньки, вбежал в кухню и увидел на три четверти пустой графин, стоящий на подносе.

Он ринулся на него, как орел на добычу.

С трудом дыша, он поднялся в первый этаж и вернулся в комнату Нуартье.

Госпожа де Вильфор в это время медленно поднималась к себе.

- Это тот самый графин? – спросил д'Авриньи.
- Да, господин доктор.
- Это тот самый лимонад, который вы пили?
- Наверно.
- Какой у него был вкус?
- Горький.

Доктор налил несколько капель на ладонь, втянул их губами и, подержав во рту, словно пробуя вино, выплюнул жидкость в камин.

– Это он и есть, – сказал он. – Вы его тоже пили, господин Нуартье?

– Да, – показал старик.

– И вы тоже нашли, что у него горький вкус?

– Да.

– Господин доктор, – крикнул Барруа, – мне опять худо! Боже милостивый, сжался надо мной!

Доктор бросился к больному.

– Где же рвотное, Вильфор?

Вильфор выбежал из комнаты и крикнул:

– Где рвотное? Принесли?

Никто не ответил. Весь дом был охвачен ужасом.

– Если бы я мог ввести ему воздух в легкие, – сказал д'Авриньи, озираясь по сторонам, – может быть, это предотвратило бы удушье. Неужели ничего нет? Ничего!

– Доктор, – кричал Барруа, – не дайте мне умереть! Я умираю, господа, умираю!

– Перо! Нет ли пера? – спросил доктор.

Вдруг он заметил на столе перо.

Он попытался ввести его в рот больного, который корчился в судорогах; но челюсти его были так плотно сжаты, что не пропускали пера.

У Барруа начался еще более сильный припадок, чем первый. Он скатился с кушетки на пол и лежал неподвижно.

Доктор оставил его во власти припадка, которого он ничем не мог облегчить, и подошел к Нуартье.

– Как вы себя чувствуете? – быстро спросил он шепотом. – Хорошо?

– Да.

– Тяжести в желудке нет?

– Нет.

– Как после той пилюли, которую я вам велел принимать каждое воскресенье?

– Да.

– Кто вам приготовил этот лимонад? Барруа?

– Да.

– Это вы предложили ему выпить лимонаду?

– Нет.

– Господин де Вильфор?

– Нет.

– Госпожа де Вильфор?

– Нет.

– В таком случае, Валентина?

– Да.

Тяжкий вздох Барруа, зевота, от которой закричали его челюсти, привлекли внимание д'Авриньи; он поспешил к больному.

– Барруа, – сказал доктор, – в состоянии ли вы говорить?

Барруа пробормотал несколько невнятных слов.

– Сделайте над собой усилие, друг мой.

Барруа открыл налитые кровью глаза.

– Кто готовил этот лимонад?

– Я сам.

– Вы его подали вашему хозяину сразу после того, как приготовили его?

– Нет.

– А где он оставался?

– В буфетной; меня отозвали.

– Кто его принес сюда?

– Мадемуазель Валентина.

Д'Авриньи провел рукой по лбу.

– Господи! – прошептал он.

– Доктор, доктор! – крикнул Барруа, чувствуя, что начинается новый припадок.

– Почему не несут рвотное? – воскликнул доктор.

– Вот оно, – сказал, возвращаясь в комнату, Вильфор.

– Кто приготовил?

– Аптекарь, он пришел вместе со мной.

– Выпейте.

– Не могу, доктор, поздно! Сводит горло, я задыхаюсь!.. Сердце... голова... Какая мука!.. Долго я буду так мучиться?

– Нет, мой друг, – сказал доктор, – скоро ваши страдания кончатся.

– Я понимаю! – воскликнул несчастный. – Господи, смилуйся надо мной!

И, испустив вопль, он упал навзничь, как пораженный молнией.

Д'Авриньи приложил руку к его сердцу, поднес зеркало к его губам.

– Ну, что? – спросил Вильфор.

– Пусть мне принесут как можно скорее немного фиалкового сиропа.

Вильфор немедленно спустился в кухню.

– Не пугайтесь, господин Нуартье, – сказал Д'Авриньи, – я отнесу больного в соседнюю комнату и пущу ему кровь; такие припадки – ужасное зрелище.

И, взяв Барруа под мышки, он перетащил его в соседнюю комнату; но тотчас же вернулся к Нуартье, чтобы взять остатки лимонада.

У Нуартье был закрыт правый глаз.

– Позвать Валентину? Вы хотите видеть Валентину? Я велю вам ее позвать.

Вильфор поднимался обратно по лестнице; Д'Авриньи встретился с ним в коридоре.

– Ну, что? – спросил Вильфор.

– Идемте, – сказал Д'Авриньи.

И он увел его в комнату, где лежал Барруа.

– Он все еще в обмороке? – спросил королевский прокурор.

– Он умер.

Вильфор отшатнулся, схватился за голову и воскликнул, с непритворным участием глядя на мертвого:

– Умер так внезапно!

– Слишком внезапно, правда? – сказал Д'Авриньи. – Но вас это не должно удивлять; господин и госпожа де Сен-Меран умерли так же внезапно. Да, в вашем доме умирают быстро, господин де Вильфор.

– Как! – с ужасом и недоумением воскликнул королевский прокурор. – Вы снова возвращаетесь к этой ужасной мысли?

– Да, сударь, – сказал торжественно д'Авриньи, – она ни на минуту не покидала меня. И чтобы ни убедились в моей правоте, я прошу вас внимательно выслушать меня, господин де Вильфор.

Вильфор дрожал всем телом.

– Существует яд, который убивает, не оставляя почти никаких следов. Я хорошо знаю этот яд, я изучил его во всех его проявлениях, со всеми его последствиями. Действие этого яда я распознал сейчас у несчастного Барруа, как в свое время у госпожи де Сен-Меран. Есть способ удостовериться в присутствии этого яда. Он возвращает синий цвет лакмусовой бумаге, окрашенной какой-нибудь кислотой в красный цвет, и он окрашивает в зеленый цвет фиалковый сироп. У нас нет под рукой лакмусовой бумаги, – но вот несут фиалковый сироп.

В коридоре послышались шаги; доктор приоткрыл дверь, взял из рук горничной сосуд, на дне которого были две-три ложки сиропа, и снова закрыл дверь.

– Посмотрите, – сказал он королевскому прокурору, сердце которого неистово билось, – вот в этой чашке налит фиалковый сироп, а в этом графине остатки того лимонада, который пили Нуартье и Барруа. Если в лимонаде нет никакой примеси и он безвреден, – цвет сиропа не изменится; если лимонад отравлен, – сироп станет зеленым. Смотрите!

Доктор медленно налил несколько капель лимонада из графина в чашку, и в ту же секунду сироп на дне чашки помутнел; сначала он сделался синим, как сапфир, потом стал опаловым, а из опалового – изумрудным и таким и остался.

Произведенный опыт не оставлял сомнений.

– Несчастный Барруа отравлен лжеангостурой или орехом святого Игнатия, – сказал д'Авриньи, – теперь я готов поклясться в этом перед богом и людьми.

Вильфор ничего не сказал. Он воздел руки к небу, широко открыл полные ужаса глаза и, сраженный, упал в кресло.

III. Обвинение

Д'Авриньи довольно быстро привел в чувство королевского прокурора, казавшегося в этой злополучной комнате вторым трупом.

– Мой дом стал домом смерти! – простонал Вильфор.

– И преступления, – сказал доктор.

– Я не могу передать вам, что я сейчас испытываю, – воскликнул Вильфор, – ужас, боль, безумие.

– Да, – сказал д'Авриньи спокойно и внушительно, – но нам пора действовать; мне кажется, пора преградить путь этому потоку смертей. Лично я больше не в силах скрывать такую тайну, не имея надежды, что погранные законы и невинные жертвы будут отмщены.

Вильфор окинул комнату мрачным взглядом.

– В моем доме! – прошептал он. – В моем доме!

– Послушайте, Вильфор, – сказал д'Авриньи, – будьте мужчиной. Блюститель закона, честь ваша требует, чтобы вы принесли эту жертву.

– Страшное слово, доктор. Принести себя в жертву!

– Об этом и идет речь.

– Значит, вы кого-нибудь подозреваете?

– Я никого не подозреваю. Смерть стучится в вашу дверь, она входит, она идет, не слепо, а обдуманно, из комнаты в комнату, а я иду по ее следу, вижу ее путь. Я верен мудрости древних; я бреду ощупью; ведь моя дружба к вашей семье и мое уважение к вам – это две повязки, закрывающие мне глаза; и вот...

– Говорите, доктор, я готов выслушать вас.

– В вашем доме, быть может в вашей семье, скрывается одно из тех чудовищ, которые рождаются раз в столетие. Локуста и Агриппина жили в одно время, но это исключительный случай, он доказывает, с какой Яростью провидение хотело истребить Римскую империю, запятнанную столькими злодеяниями. Брунгильда и Фредегонда – следствие мучительных усилий, с которыми нарождающаяся цивилизация стремилась к познанию Духа, хотя бы с помощью посланца тьмы. И все эти женщины были молоды и прекрасны. На их челе лежала когда-то та же печать невинности, которая лежит и на челе преступницы, живущей в вашем доме.

Вильфор вскрикнул, стиснул руки и с мольбой посмотрел на доктора.

Но тот безжалостно продолжал:

– Ищи, кому преступление выгодно, – гласит одна из аксиом юридической науки.

– Доктор! – воскликнул Вильфор. – Сколько раз уже человеческое правосудие было обмануто этими роковыми словами! Я не знаю, но мне кажется, что это преступление...

Так вы признаете, что это преступление?

– Да, признаю. Что еще мне остается? Но дайте мне досказать. Я чувствую, что я – главная жертва этого преступления. За всеми этими загадочными смертями таится моя собственная гибель.

– Человек, – прошептал д'Авриньи, – самое эгоистичное из всех животных, самое себялюбивое из всех живых созданий! Он уверен, что только для него одного светит солнце, вертится земля и косит смерть. Муравей, проклиная бога, взобравшись на травинку! А те, кого лишили жизни? Маркиз де Сен-Меран, маркиза, господин Нуартье...

– Как? Господин Нуартье?

– Да! Неужели вы думаете, что покушались на этого несчастного слугу? Нет, как Полоний у Шекспира, он умер вместо другого. Нуартье – вот кто должен был выпить лимонад. Нуартье и пил его; а тот выпил случайно; и хотя умер Барруа, но умереть должен был Нуартье.

– Почему же не погиб мой отец?

– Я вам уже объяснял в тот вечер, в саду, когда умерла госпожа де Сен-Меран: потому что его организм привык к употреблению этого самого яда. Потому что доза, недостаточная для него, смертельна для всякого другого. Словом, потому что никто на свете, даже убийца, не знает, что вот уже год, как я лечу господина Нуартье бруцином, между тем как убийце известно, да он убедился и на опыте, что бруцин – сильно действующий яд.

– Боже! – прошептал Вильфор, ломая руки.

– Проследите действия преступника: он убивает маркиза...

– Доктор!

– Я готов присягнуть в этом. То, что мне говорили о его смерти, слишком точно совпадает с тем, что я видел собственными глазами.

Вильфор уже не спорил. Он глухо застонал.

– Он убивает маркиза, – повторил доктор, – он убивает маркизу. Это сулит двойное наследство.

Вильфор отер пот, струившийся по его лбу.

– Слушайте внимательно.

– Я ловлю каждое ваше слово, – прошептал Вильфор.

– Господин Нуартье, – безжалостно продолжал д'Авриньи, – в своем завещании отказал все, что имеет, бедным, тем самым обделив вас и вашу семью. Господина Нуартье пощадили, от него нечего было ждать. Но едва он уничтожил свое первое завещание, едва успел составить второе, как преступник, по-видимому опасаясь, что он может составить и третье, его отравляет. Ведь завещание, если не ошибаюсь, составлено позавчера. Как видите, времени не теряли.

– Пощадите, д'Авриньи!

– Никакой пощады, сударь. У врача есть священный долг, и во имя его он восходит к источникам жизни и спускается в таинственный мрак смерти. Когда преступление совершено и бог в ужасе отвращает свой взор от преступника, долг врача сказать: это он!

– Пощадите мою дочь! – прошептал Вильфор.

– Вы сами назвали ее – вы, отец.

– Пощадите Валентину! Нет, это невозможно. Я скорее обвинил бы самого себя! Валентина, золотое сердце, сама невинность!

– Пощады быть не может, господин королевский прокурор. Улики налицо: мадемуазель де Вильфор сама упаковывала лекарства, которые были посланы маркизу де Сен-Меран, и маркиз умер.

Мадемуазель де Вильфор приготовляла питье для маркизы де Сен-Меран, и маркиза умерла.

Мадемуазель де Вильфор взяла из рук Барруа графин с лимонадом, который господин Нуартье обычно весь выпивает утром, и старик спасся только чудом.

Мадемуазель де Вильфор – вот преступница, вот отравительница! Господин королевский прокурор, я обвиняю мадемуазель де Вильфор, исполняйте свой долг!

– Доктор, я не спорю, не защищаюсь, я верю вам, но не губите меня, не губите мою честь!

– Господин Вильфор, – продолжал доктор с возрастающей силой, – есть обстоятельства, в которых я отказываюсь считаться с глупыми условностями. Если бы ваша дочь совершила только одно преступление и я думал бы, что она замышляет второе, я сказал бы вам: предостерегите ее, накажите, пусть она проведет остаток жизни где-нибудь в монастыре, в слезах

замаливая свой грех. Если бы она совершила второе преступление, я сказал бы вам: слушайте, Вильфор, вот вам яд, от которого нет противоядия, быстрый, как мысль, мгновенный, как молния, разящий, как гром; дайте ей этого яду, поручив душу ее милости божьей, и таким образом спасите свою честь и свою жизнь, ибо она покушается на вас. Я вижу, как она подходит к вашему изголовью с лицемерной улыбкой и нежными словами! Горе вам, если вы не поразите ее первый! Вот что сказал бы я вам, если бы она убила только двух человек. Но она присутствовала при трех агониях, она видела трех умирающих, она опускалась на колени около трех трупов. В руки палача отравительницу, в руки палача! Вы говорите о чести; сделайте то, что я вам говорю, и вы обессмертите свое имя!

Вильфор упал на колени.

– У меня нет вашей силы воли, – сказал он, – но и у вас ее не было бы, если бы дело шло не о моей дочери, а о вашей.

Д'Авриньи побледнел.

– Доктор, всякий человек, рожденный женщиной, обречен на страдания и смерть; я буду страдать и, страдая, ждать смертного часа.

– Берегитесь, – сказал д'Авриньи, – он не скоро наступит; он настанет только после того, как на ваших глазах погибнут ваш отец, ваша жена, ваш сын, быть может.

Вильфор, задыхаясь, схватил доктора за руку.

– Пожалейте меня, – воскликнул он, – помогите мне... Нет, моя дочь невиновна... Поставьте нас перед лицом суда, и я снова скажу: нет, моя дочь невиновна... В моем доме не было преступления... Я не хочу, вы слышите, чтобы в моем доме было преступление... Потому что если в чей-нибудь дом вошло преступление, то оно, как смерть, никогда не приходит одно. Послушайте, что вам до того, если я паду жертвою убийства?.. Разве вы мне друг? Разве вы человек? Разве у вас есть сердце?.. Нет, вы врач!.. И я вам говорю: нет, я не предаю свою дочь в руки палача!.. Эта мысль гложет меня, я, как безумец, ютов разрывать себе грудь ногтями!.. Что, если вы ошибаетесь, доктор? Если это кто-нибудь другой, а не моя дочь? Если в один прекрасный день, бледный, как призрак, я приду к вам и скажу: убийца, ты убил мою дочь!.. Если бы это случилось... я христианин, д'Авриньи, но я убил бы себя.

– Хорошо, – сказал доктор после краткого раздумья, – я подожду.

Вильфор недоверчиво посмотрел на него.

– Но только, – торжественно продолжал д'Авриньи, – если в вашем доме кто-нибудь заболит, если вы сами почувствуете, что удар поразил вас, не посылайте за мной, я не приду. Я согласен делить с вами эту страшную тайну, но я не желаю, чтобы стыд и раскаяние поселились в моей душе, выростали и множились в ней так же, как злодейство и горе в вашем доме.

– Вы покидаете меня, доктор?

– Да, ибо нам дальше не по пути, я дошел с вами до подножья эшафота. Еще одно разоблачение – и этой ужасной трагедии настанет конец. Прощайте.

– Доктор, умоляю вас!

– Все, что я вижу здесь, оскверняет мой ум. Мне ненавистен ваш дом. Прощайте, сударь!

– Еще слово, одно только слово, доктор! Вы оставляете меня одного в этом ужасном положении, еще более ужасном от того, что вы мне сказали. Но что скажут о внезапной смерти несчастного Барруа?

– Вы правы, – сказал д'Авриньи, – проводите меня.

Доктор вышел первым, Вильфор шел следом за ним; встревоженные слуги толпились в коридоре и на лестнице, по которой должен был пройти доктор.

– Сударь, – громко сказал д'Авриньи Вильфору, так, чтобы все слышали, – бедняга Барруа в последние годы вел слишком сидячий образ жизни; он так привык разъезжать вместе со своим хозяином, то верхом, то в экипаже, по всей Европе, что уход за прикованным к креслу больным погубил его. Кровь застоилась, человек он был тучный, с короткой толстой шеей, его сразил апоплексический удар, а меня позвали слишком поздно. Кстати, – прибавил он шепотом, – не забудьте выплеснуть в печку фиалковый сироп.

И доктор, не протянув Вильфору руки, ни словом не возвращаясь к сказанному, вышел из дома, провожаемый слезами и причитаниями слуг.

В тот же вечер все слуги Вильфоров, собравшись на кухне и потолковав между собой, отправились к г-же де Вильфор с просьбой отпустить их. Ни уговоры, ни предложение увеличить жалованье не привели ни к чему; они твердили одно:

– Мы хотим уйти, потому что в этом доме смерть.

И они, невзирая на все просьбы, покинули дом, уверяя, что им очень жаль расставаться с такими добрыми хозяевами и особенно с мадемуазель Валентиной, такой доброй, такой отзывчивой и ласковой.

Вильфор при этих словах взглянул на Валентину.

Она плакала.

И странно: несмотря на волнение, охватившее его при виде этих слез, он взглянул также и на г-жу де Вильфор, и ему показалось, что на ее тонких губах мелькнула мимолетная мрачная усмешка, подобно зловещему метеору, пролетающему среди туч в глубине грозового неба.

IV. Жилище булочника на покое

Вечером того дня, когда граф де Морсер вышел от Данглара вне себя от стыда и бешенства, вполне объяснимых оказанным ему холодным приемом, Андреа Кавальканти, завитой и напомаженный, с закрученными усами, в туго натянутых белых перчатках, почти стоя в своем фэтоне, подкатил к дому банкира на Шоссе-д'Антен.

Повертевшись немного в гостиной, он улучил удобную минуту, отвел Данглара к окну и там, после искусного вступления, завел речь о тревожениях, постигших его после отъезда его благородного отца. Со времени этого отъезда, говорил он, в семье банкира, где его приняли, как родного сына, он нашел все, что служит залогом счастья, которое всякий человек должен ставить выше, чем прихоти страсти, а что касается страсти, то на его долю выпало счастье обрести ее в чудных глазах мадемуазель Данглар.

Данглар слушал с глубочайшим вниманием; он уже несколько дней ждал этого объяснения, и когда оно, наконец, произошло, лицо его в той же мере просияло, в какой оно нахмурилось, когда он слушал Морсера.

Все же раньше чем принять предложение молодого человека, он счел нужным высказать ему некоторые сомнения.

– Виконт, – сказал он, – не слишком ли вы молоды, чтобы помышлять о браке?

– Нисколько, сударь, – возразил Кавальканти. – В Италии в знатных семьях приняты ранние браки; это обычай разумный Жизнь так изменчива, что надо ловить счастье, пока оно дается в руки.

– Допустим, – сказал Данглар, – что ваше предложение, которым я очень польщен, будет благосклонно принято моей женой и дочерью, – с кем мы будем обсуждать деловую сторону. По-моему, этот важный вопрос могут разрешить должным образом только отцы на благо своим детям.

– Мой отец человек мудрый и рассудительный, он предвидел, что я, быть может, захочу жениться во Франции; и поэтому, уезжая, он оставил мне вместе с документами, удостоверяющими мою личность, письмо, в котором он обязуется в случае, если он одобрит мой выбор, выдавать мне ежегодно сто пятьдесят тысяч ливров, считая со дня моей свадьбы. Это составляет, насколько я могу судить, четвертую часть доходов моего отца.

– А я, – сказал Данглар, – всегда намеревался дать в приданое моей дочери пятьсот тысяч франков; к тому же она моя единственная наследница.

– Вот видите, – сказал Андреа, – как все хорошо складывается, если предположить, что баронесса Данглар и мадемуазель Эжени не отвергнут моего предложения. В нашем распоряжении будет сто семьдесят пять тысяч годового дохода. Предположим еще, что мне удастся убедить маркиза, чтобы он не выплачивал мне ренту, а отдал в мое распоряжение самый капитал (это будет нелегко, я знаю, но, может быть, это и удастся); тогда вы пустите наши два-три миллиона в оборот, а такая сумма в опытных руках всегда принесет десять процентов.

– Я никогда не плачу больше четырех процентов, – сказал банкир, – или, вернее, трех с половиной. Но моему зятю я стал бы платить пять, а прибыль мы бы делили пополам.

– Ну и чудно, папаша, – развязно сказал Кавальканти: врожденная вульгарность по временам, несмотря на все его старания, прорывалась сквозь тщательно наводимый аристократический лоск.

Но, тут же спохватившись, он добавил:

– Простите, барон, вы видите, уже одна надежда почти лишает меня рассудка; что же, если она осуществится?

– Однако надо полагать, – сказал Данглар, не замечая, как быстро эта беседа, вначале бескорыстная, обратилась в деловой разговор, – существует и такая часть вашего имущества, в которой ваш отец не может вам отказать?

– Какая именно? – спросил Андреа.

– Та, что принадлежала вашей матери.

– Да, разумеется, та, что принадлежала моей матери, Оливе Корсинари.

– А как велика эта часть вашего имущества?

– Признаться, – сказал Андреа, – я никогда не задумывался над этим, но полагаю, что она составляет по меньшей мере миллиона два. У Данглара от радости захватило дух. Он чувствовал себя, как скупец, отыскавший утерянное сокровище, или утопающий, который вдруг ощутил под ногами твердую почву.

– Итак, барон, – сказал Андреа, умильно и почтительно кланяясь банкиру, – смею ли я надеяться...

– Виконт, – отвечал Данглар, – вы можете надеяться; и поверьте, что если с вашей стороны не явится препятствий, то это вопрос решенный.

– О, как я счастлив, барон! – сказал Андреа.

– Но, – задумчиво продолжал Данглар, – почему же граф Монте-Кристо, ваш покровитель в парижском свете, не явился вместе с вами поддержать ваше предложение?

Андреа едва заметно покраснел.

– Я прямо от графа, – сказал он, – это, бесспорно, очаровательный человек, но большой оригинал. Он вполне одобряет мой выбор; он даже выразил уверенность, что мой отец согласится отдать мне самый капитал вместо доходов с него; он обещал употребить свое влияние, чтобы убедить его; но заявил мне, что он никогда не брал и никогда не возьмет на себя ответственности просить для кого-нибудь чьей-либо руки. Но я должен отдать ему справедливость, он сделал мне честь, добавив, что если он когда-либо сожалел о том, что взял себе это за правило, то именно в данном случае, ибо он уверен, что этот брак будет счастливым. Впрочем, если он официально и не принимает ни в чем участия, он оставляет за собой право высказать вам свое мнение, если вы пожелаете с ним переговорить.

– Прекрасно.

– А теперь, – сказал с очаровательнейшей улыбкой Андреа, – разговор с тестем кончен, и я обращаюсь к банкиру.

– Что же вам от него угодно? – сказал, засмеявшись, Данглар.

– Послезавтра мне следует получить у вас что-то около четырех тысяч франков; но граф понимает, что в этом месяце мне, вероятно, предстоят значительные траты и моих скромных холостяцких доходов может не хватить; поэтому он предложил мне чек на двадцать тысяч франков, – вот он. На нем, как видите, стоит подпись графа. Этого достаточно?

– Принесите мне таких на миллион, и я приму их, – сказал Данглар, пряча чек в карман. – Назначьте час, который вам завтра будет удобен, мой кассир пойдет к вам, вы распишетесь в получении двадцати четырех тысяч франков.

– В десять часов утра, если это удобно; чем раньше, тем лучше; я хотел бы завтра уехать за город.

– Хорошо, в десять часов. В гостинице Принцев, как всегда?

– Да.

На следующий день, с пунктуальностью, делавшей честь банкиру, двадцать четыре тысячи франков были вручены Кавальканти, и он вышел из дому, оставив двести франков для Кадрусса.

Андреа уходил главным образом для того, чтобы избежать встречи со своим опасным другом; по той же причине он вернулся домой как можно позже. Но едва он вошел во двор, как перед ним очутился швейцар гостиницы, ожидавший его с фуражкой в руке.

– Сударь, – сказал он, – этот человек приходил.

– Какой человек? – небрежно спросил Андреа, делая вид, что совершенно забыл о том, о ком, напротив, прекрасно помнил.

– Тот, которому ваше сиятельство выдает маленькую пенсию.

– Ах, да, – сказал Андреа, – старый слуга моего отца. Вы ему отдали двести франков, которые я для него оставил?

– Отдал, ваше сиятельство.

По желанию Андреа, слуги называли его «ваше сиятельство».

– Но он их не взял, – продолжал швейцар.

Андреа побледнел; но так как было очень темно, никто этого не заметил.

– Как? Не взял? – сказал он дрогнувшим голосом.

– Нет; он хотел видеть ваше сиятельство. Я сказал ему, что вас нет дома; он настаивал. Наконец, он мне поверил и оставил для вас письмо, которое принес с собой запечатанным.

– Дайте сюда, – сказал Андреа.

И он прочел при свете фонаря фазтона:

«Ты знаешь, где я живу, я жду тебя завтра в девять утра».

Андреа осмотрел печать, проверяя, не вскрывал ли кто-нибудь письмо и не познакомился ли чей-нибудь нескромный взор с его содержанием. Но оно было так хитроумно сложено, что, для того чтобы прочитать его, пришлось бы сорвать печать, а печать была в полной сохранности.

– Хорошо, – сказал Андреа. – Бедняга! Он очень славный малый.

Швейцар вполне удовлетворился этими словами и не знал, кем больше восхищаться, молодым господином или старым слугой.

– Поскорее распрягайте и поднимитесь ко мне, – сказал Андреа своему груму.

В два прыжка он очутился в своей комнате и сжег письмо Кадрусса, причем уничтожил даже самый пепел.

Не успел он это сделать, как вошел грум.

– Ты одного роста со мной, Пьер, – сказал ему Андреа.

– Имею эту честь, – отвечал грум.

– Тебе должны были вчера принести новую ливрею.

– Да, сударь.

– У меня интрижка с одной гризеткой, которой я не хочу открывать ни моего титула, ни положения. Одолжи мне ливрею и дай мне свои бумаги, чтобы я мог в случае надобности переночевать в трактире.

Пьер повиновался.

Пять минут спустя Андреа, совершенно неузнаваемый, вышел из гостиницы, нанял кабриолет и велел отвезти себя в трактир под вывеской «Красная лошадь», в Пикнюсе.

На следующий день он ушел из трактира, так же никем не замеченный, как и в гостинице Принцев, прошел предместье Сент-Антуан, бульваром дошел до улицы Менильмонтан и, остановившись у двери третьего дома по левой руке, стал искать, у кого бы ему, за отсутствием привратника, навести справки.

– Кого вы ищете, красавчик? – спросила торговка фруктами с порога своей лавки.

– Господина Пайтена, толстуха, – отвечал Андреа.

– Бывшего булочника? – спросила торговка.

– Его самого.

– В конце двора, налево, четвертый этаж.

Андреа пошел в указанном направлении, поднялся на четвертый этаж и сердито дернул заячью лапку на двери Колокольчик отчаянно зазвонил.

Через секунду за решеткой, вделанной в дверь, появилось лицо Кадрусса.

– Ты точен! – сказал он.

И он отодвинул засовы.

– Еще бы! – сказал Андреа, входя.

И он так швырнул свою фуражку, что она, не попав на стул, упала на пол и покатила по комнате.

– Ну, ну, малыш, не сердись! – сказал Кадрусс. – Видишь, как я о тебе забочусь, вон какой завтрак я тебе приготовил; все твои любимые кушанья, черт тебя возьми!

Андреа действительно почувствовал запах стряпни, грубые ароматы которой были лишены прелести для голодного желудка; это была та смесь свежего жира и чеснока, которой отличается простая провансальская кухня; пахло и жареной рыбой, а надо всем стоял пряный дух мускатного ореха и гвоздики. Все это исходило из двух глубоких блюд, поставленных на конфорки и покрытых крышками, и из кастрюли, шипевшей в духовке чугунной печки.

Кроме того, в соседней комнате Андреа увидел опрятный стол, на котором красовались два прибора, две бутылки вина, запечатанные одна – зеленым, другая – желтым сургучом, графинчик водки и нарезанные фрукты, искусно разложенные поверх капустного листа на фаянсовой тарелке.

– Ну, что скажешь, малыш? – спросил Кадрусс. – Недурно пахнет? Ты же знаешь, я был хороший повар: помнишь, как вы все пальчики облизывали? И ты первый, ты больше всех полакомился моими соусами и, помнится, не брезгал ими.

И Кадрусс принялся чистить лук.

– Да ладно, ладно, – с досадой сказал Андреа, – если ты только ради завтрака побеспокоил меня, так пошел к черту!

– Сын мой, – наставительно сказал Кадрусс, – за едой люди беседуют; и потом, неблагодарная душа, разве ты не рад повидаться со старым другом? У меня так прямо слезы текут.

Кадрусс в самом деле плакал; трудно было только решить, что подействовало на слезную железу бывшего трактирщика, радость или лук.

– Молчал бы лучше, лицемер! – сказал Андреа. – Будто ты меня любишь?

– Да, представь, люблю, – сказал Кадрусс, – это моя слабость, но тут уж ничего не поделаешь.

– Что не мешает тебе вызвать меня, чтобы сообщить какую-нибудь гадость.

– Брось! – сказал Кадрусс, вытирая о передник свой большой кухонный нож. – Если бы я не любил тебя, разве я согласился бы вести ту несчастную жизнь, на которую ты меня обрек? Ты посмотри: на тебе ливрея твоего слуги, стало быть, у тебя есть слуга; у меня нет слуг, и я принужден собственноручно чистить овощи; ты брезгаешь моей стряпней, потому что обедаешь за табльдотом в гостинице Принцев или в Кафе-де-Пари. А ведь я тоже мог бы иметь слугу и коляску, я тоже мог бы обедать, где вздумается; а почему я лишаю себя всего этого? Чтобы не огорчать моего маленького Бенедетто. Признай по крайней мере, что я прав.

И недвусмысленный взгляд Кадрусса подкрепил эти слова.

– Ладно, – сказал Андреа, – допустим, что ты меня любишь. Но зачем тебе понадобилось, чтобы я пришел завтракать?

– Да чтобы видеть тебя, малыш.

– Чтобы видеть меня, а зачем? Ведь мы с тобой обо всем уже условились.

– Эх, милый друг, – сказал Кадрусс, – разве бывают завещания без приписок? Но прежде всего давай позавтракаем. Садись, и начнем с сардинок и свежего масла, которое я в твою честь положил на виноградные листья, злючка ты этакий. Но я вижу, ты рассматриваешь мою комнату, мои соломенные стулья, грошовые картинки на стенах. Что прикажешь, здесь не гостиница Принцев!

– Вот ты уже жалуешься, ты недоволен, а сам ведь мечтал о том, чтобы жить, как булочник на покое.

Кадрусс вздохнул.

– Ну, что скажешь? Ведь твоя мечта сбылась.

– Скажу, что это только мечта; булочник на покое, милый Бенедетто, человек богатый, имеет доходы.

– И у тебя есть доходы.

– У меня?

– Да, у тебя, ведь я же принес тебе твои двести франков.

Кадрусс пожал плечами.

– Это унижительно, – сказал он, – получать деньги, которые даются так нехотя, неверные деньги, которых я в любую минуту могу лишиться. Ты сам понимаешь, что мне приходится откладывать на случай, если твоему благополучию придет конец. Эх, друг мой! счастье непостоянно, как говорил священник у нас... в полку. Впрочем, я знаю, что твое благополучие не имеет границ, негодяй: ты женишься на дочери Данглара.

– Что? Данглара?

– Разумеется, Данглара! Или нужно сказать: барона Данглара? Это все равно, как если бы я сказал: графа Бенедетто! Ведь мы с Дангларом приятели, и не будь у него такая плохая память, ему следовало бы пригласить меня на твою свадьбу... ведь был же он на моей... да, да, да, на моей! Да-с, в те времена он не был таким гордецом; это был маленький служащий у господина Морреля. Не один раз обедал я вместе с ним и с графом де Морсер... Видишь, какие у меня знатные знакомства, и если бы я пожелал их поддерживать, мы с тобой встретились бы в одних и тех же гостиных.

– Ты от зависти совсем заврался, Кадрусс.

– Ладно, Benedetto mio. Я знаю, что говорю. Быть может, в один прекрасный день мы тоже напялим на себя праздничный наряд и скажем у какого-нибудь богатого подъезда: «Откройте, пожалуйста!» А пока садись и давай завтракать.

Кадрусс показал пример и с аппетитом принялся за еду, расхваливая все блюда, которыми он угощал своего гостя. Тот, по-видимому, покорился необходимости, бодро раскупорил бутылки и принялся за буйбес и треску, жаренную в прованском масле с чесноком.

– А, приятель, – сказал Кадрусс, – ты как будто идешь на мировую со своим старым поваром?

– Каюсь, – ответил Андреа, молодой, здоровый аппетит которого на время одержал верх над всеми другими соображениями.

– И что же, вкусно, мошенник?

– Очень вкусно! Не понимаю, как человек, который стряпает и ест такие лакомые блюда, может быть недоволен своей жизнью.

– Видишь ли, – сказал Кадрусс, – все мое счастье отравлено одной мыслью.

– Какой?

– А той, что я живу за счет друга, – я, который всегда честно зарабатывал себе на пропитание.

– Нашел о чем беспокоиться, – сказал Андреа, – у меня хватит на двоих, не стесняйся.

– Нет, право, верь не верь, но к концу каждого месяца меня мучает совесть.

– Полно, Кадрусс!

– Так мучает, что вчера я даже не взял этих двухсот франков.

– Да, ты хотел меня видеть; но разве из-за угрызений совести?

– Именно поэтому. Кроме того, мне пришла мысль.

Андреа вздрогнул; его всегда бросало в дрожь от мыслей Кадрусса.

– Видишь ли, – продолжал тот, – это отвратительно – постоянно жить в ожидании первого числа.

– Эх, – философски заметил Андреа, решив доискаться, куда клонит его собеседник, – разве вся жизнь не проходит в ожидании? А я как живу? Я просто терпеливо жду.

– Да, потому что, вместо того чтобы ждать какие-то несчастные двести франков, ты ждешь пять или шесть тысяч, а то и десять, а то и двенадцать. Ведь ты у нас хитрец. У тебя всегда водились какие-то кошельки, копилки, которые ты прятал от бедного Кадрусса. К счастью, у этого самого Кадрусса был хороший нюх.

– Опять ты чепуху мелешь, – сказал Андреа, – все о прошлом да о прошлом – к чему это, скажи на милость?

– Тебе только двадцать один год, тебе нетрудно забыть прошлое; а мне пятьдесят, и я волей-неволей возвращаюсь к нему. Но поговорим о делах.

– Наконец-то.

– Будь я на твоём месте...

– Ну?

– Я реализовал бы свой капитал.

– Реализовал?

– Да, я попросил бы деньги за полгода вперед, под тем предлогом, что хочу купить недвижимость и приобрести избирательные права. А получив деньги, я удрал бы.

– Так, так, так! – сказал Андреа. – Это, пожалуй, неплохая мысль!

– Милый друг, – сказал Кадрусс, – ешь мою стряпню и следуй моим советам: от этого ты только выиграешь душой и телом.

– А почему ты сам не воспользуешься своим советом? – сказал Андреа. – Почему ты не реализуешь деньги за полгода, даже за год, и не уедешь в Брюссель? Вместо того чтобы изображать бывшего булочника, ты имел бы вид настоящего банкрота. Это теперь модно.

– Но что же я сделаю, имея в кармане тысячу двести франков?

– Какой ты стал требовательный, Кадрусс! – сказал Андреа. – Два месяца тому назад ты помирал с голоду.

– Аппетит приходит во время еды, – сказал Кадрусс, скаля зубы, как смеющаяся обезьяна или как рычащий тигр. – Поэтому я и наметил себе план, – прибавил он, впиваясь своими белыми и острыми, невзирая на возраст, зубами в огромный ломоть хлеба.

Планы Кадрусса приводили Андреа в еще больший ужас, чем его мысли: мысли были только зародышами, а план уже грозил осуществлением.

– Что же это за план? – сказал он. – Могу себе представить!

– А что? Кто придумал план, благодаря которому мы покинули некое заведение? Как будто я. От этого он не стал хуже, мне кажется, иначе мы с тобой не сидели бы здесь!

– Да я не спорю, – сказал Андреа, – ты иной раз говоришь дело. Но какой же у тебя план?

– Послушай, – продолжал Кадрусс, – можешь ли ты, не выложив ни одного су, добыть мне тысяч пятнадцать франков... нет, пятнадцати тысяч мало, я не согласен сделаться порядочным человеком меньше чем за тридцать тысяч франков.

– Нет, – сухо ответил Андреа, – этого я не могу.

– Ты, я вижу, меня не понял, – холодно и невозмутимо продолжал Кадрусс, – я сказал: не выложив ни одного су.

– Что же ты хочешь? Чтобы я украл и испортил все дело, и твое и мое, и чтобы нас опять отправили кое-куда?

– Что до меня, – сказал Кадрусс, – мне все равно, пусть забирают. Я, знаешь ли, со странностями; я иногда скучаю по товарищам, не то, что ты, сухарь! Ты рад бы никогда с ними больше не встретиться!

Андреа на этот раз не только вздрогнул: он побледнел.

– Брось дуришь, Кадрусс, – сказал он.

– Да ты не бойся, Бенедетто, ты мне только укажи способ добыть без всякого твоего участия эти тридцать тысяч франков и предоставь все мне.

– Ладно, я подумаю, – сказал Андреа.

– А пока ты увеличишь мою пенсию до пятисот франков, хорошо? Я, видишь ли, решил нанять служанку.

– Ладно, ты получишь пятьсот франков, – сказал Андреа, – по мне это нелегко, Кадрусс... ты злоупотребляешь...

– Да что там! – сказал Кадрусс. – Ведь ты черпаешь из бездонных сундуков!

По-видимому, Андреа только и ждал этих слов; его глаза блеснули, но тотчас же померкли.

– Это верно, – ответил Андреа, – мой покровитель очень добр ко мне.

– Какой милый покровитель! – сказал Кадрусс. – И он выдает тебе ежемесячно?..

– Пять тысяч франков, – сказал Андреа.

– Столько же тысяч, сколько ты мне обещал сотен, – заметил Кадрусс, – верно говорят, что незаконнорожденным везет. Пять тысяч франков в месяц... Куда же, черт возьми, можно девать столько денег?

– Бог мой! Истратить их недолго, и я, как ты, мечтаю иметь капитал.

– Капитал... понятно... всякий хотел бы иметь капитал.

– А у меня он будет.

– Кто же тебе его даст? Твой князь?

– Да, мой князь; к сожалению, я должен еще подождать.

– Подождать чего? – спросил Кадрусс.

– Его смерти.

– Смерти твоего князя?

– Да.

– Почему это?

– Потому что он упоминает меня в своем завещании.

– Правда?

– Честное слово!

– А сколько?

– Пятьсот тысяч!

– Вон куда хватил!

– Я тебе говорю.

– Быть не может!

– Кадрусс, ты мне друг?

– На жизнь и на смерть.

– Я открою тебе тайну.

– Говори.

- Но только помни...
- Буду нем, как рыба.
- Так вот, мне кажется...

Андреа замолчал и оглянулся.

- Тебе кажется... Да ты не бойся! Мы совсем одни.
- Мне кажется, что я нашел своего отца.
- Настоящего отца?
- Да.
- Не папашу Кавальканти?
- Нет, тот уехал; настоящего, как ты говоришь.
- И этот отец...
- Кадрусс, это граф Монте-Кристо.
- Да что ты!
- Да, тогда, видишь ли, все становится понятным. Он, видимо, не может открыто признать меня, но меня признает старик Кавальканти и получает за это пятьдесят тысяч франков.
- Пятьдесят тысяч франков за то, чтобы стать твоим отцом. Я бы согласился за полцены, за двадцать тысяч, за пятнадцать тысяч. Как же ты не подумал обо мне, неблагодарный?
- Да разве я знал об этом? Все это было устроено, когда мы еще были там.
- Да, верно. И ты говоришь, что в своем завещании...
- Он оставляет мне пятьсот тысяч франков.
- Ты уверен?
- Он сам мне показывал; но это еще не все.
- Существует приписка, как я говорил?
- Вероятно.
- И в этой приписке?
- Он признает меня своим сыном.
- Что за добрый отец, славный отец, достойнейший отец! – воскликнул Кадрусс, подкидывая в воздух тарелку и ловя ее обеими руками.
- Вот видишь! Скажи после этого, что у меня есть от тебя тайны!
- Ты прав; а твое доверие ко мне делает тебе честь. И что же, этот князь, твой отец – богатый человек, богатейший.
- Еще бы. Он сам не знает, сколько у него денег.
- Да не может быть!
- Кому же знать, как не мне; ведь я вхож к нему в любое время. На днях банковский служащий принес ему пятьдесят тысяч франков в бумажнике величиною с твою скатерть; а вчера сам банкир привез ему сто тысяч золотом.
- Кадрусс был ошеломлен; в словах Андреа ему чудился звон металла, шум пересыпаемых червонцев.
- И ты вхож в этот дом? – наивно воскликнул он.
- Во всякое время.
- Кадрусс помолчал; было ясно, что его занимает какая-то важная мысль.
- Вдруг он воскликнул:
- Как бы мне хотелось видеть все это! Как все это должно быть прекрасно!
- Да, правда, – сказал Андреа, – он живет великолепно.
- Ведь он, кажется, живет на Елисейских Полях?
- Номер тридцать.
- Номер тридцать? – повторил Кадрусс.
- Да, великолепный особняк, с двором и садом, ты должен знать!
- Очень возможно; но меня интересует не внешний вид, а внутренний; какая, должно быть, там прекрасная обстановка!
- Ты когда-нибудь бывал в Тюильри?
- Нет.
- У него гораздо лучше.
- Скажи, Андреа, должно быть, приятно бывает нагнуться, когда этот добрый Монте-Кристо уронит кошелек?

– Незачем ждать этого, – сказал Андреа, – деньги в этом доме и так валяются, как яблоки в саду.

– Ты бы когда-нибудь взял меня с собой.

– Как же это можно? В качестве кого?

– Ты прав; но у меня от твоих слов слюнки потекли. Я непременно должен это видеть собственными глазами, я уж найду способ.

– Не дури, Кадрусс!

– Я скажу, что я полотер.

– Там всюду ковры.

– Ах, черт! Значит, мне придется только воображать себе все это.

– Поверь, это будет лучше всего.

– Ну, хоть расскажи мне, что там есть?

– Как же я тебе расскажу?

– Ничего нет легче. Дом большой?

– Не большой и не маленький.

– А как расположены комнаты?

– Ну, знаешь, если тебе нужен план, давай бумагу и чернила.

– Сейчас дам! – поспешно заявил Кадрусс.

И он взял со старенького письменного стола лист бумаги, чернила и перо.

– Вот! – сказал Кадрусс. – Изобрази-ка мне это на бумаге, сынок.

Андреа едва заметно улыбнулся, взял перо и приступил к делу.

– При доме, как я уже тебе говорил, есть двор и сад; вот посмотри.

И Андреа начертил сад, двор и дом.

– Ограда высокая?

– Нет, футов восемь или десять, не больше.

– Это большая неосторожность, – сказал Кадрусс.

– Во дворе – кадки с померанцевыми деревьями, лужайки, цветники.

– А капканов нет?

– Нет.

– А где конюшни?

– По обе стороны ворот, вот здесь и здесь.

И Андреа продолжал чертить.

– Нарисуй мне нижний этаж, – сказал Кадрусс.

– В нижнем этаже – столовая, две гостиных, бильярдная, прихожая, парадная лестница и внутренняя лестница.

– Окна?

– Окна великолепные, большие, широкие; я думаю, в каждое стекло мог бы пролезть человек твоего роста.

– И на кой черт устраивают лестницы, когда в доме имеются такие окна.

– Что поделаешь? Роскошь!

– А ставни есть?

– Ставни есть, но их никогда не закрывают. Большой оригинал этот граф Монте-Кристо, любит смотреть на небо даже по ночам.

– А где спят слуги?

– У них отдельный дом. Направо от входа есть сарай, где хранятся пожарные лестницы. А над этим сараем комнаты для слуг, у каждого своя, и туда из дома проведены звонки.

– Звонки, черт возьми!

– Ты что?..

– Нет, ничего. Я говорю, звонки штука дорогая; и на что они, скажи на милость?

– Прежде там была собака, которая всю ночь бродила по двору, но ее отвезли в Отейль – знаешь, в тот дом, куда ты приходил?

– Да.

– Я ему вчера еще говорил: «Это очень неосторожно с вашей стороны, граф; ведь когда вы уезжаете в Отейль и увозите с собой всех ваших слуг, в доме никого нет».

«Ну и что же?» – спросил он.

«А то, что вас в один прекрасный день обокрадут».

– И что он ответил?

– Что он ответил?

– Да.

– Он ответил: «Ну и пускай обокрадут».

– Андреа, там, наверное, есть какая-нибудь конторка с западной.

– С какой западной?

– А вот с такой: схватит вора за руку, и тут же музыка начинает играть. Я слышал, что такую показывали на последней выставке.

– Там есть только секретер красного дерева, и в нем всегда торчит ключ.

– И твоего графа не обкрадывают?

– Нет, все его слуги ему очень преданы.

– И какая должна быть прорва денег в этом секретере!

– Там, может быть... впрочем, кто его знает!

– А где он стоит?

– Во втором этаже.

– Нарисуй-ка мне, малыш, заодно примерный план второго этажа.

– Изволь.

И Андреа снова взялся за перо.

– Во втором, видишь ли, есть прихожая, гостиная; направо от гостиной – библиотека и кабинет, налево от гостиной – спальня и будуар. В будуаре и стоит этот самый секретер.

– А окно там есть?

– Два: тут и тут.

И Андреа нарисовал два окна в небольшой угловой комнате, которая примыкала к более просторной спальне графа.

Кадрусс задумался.

– И часто он уезжает в Отейль? – спросил он.

– Раза два-три в неделю, завтра, например, он собирается туда на весь день и будет там ночевать.

– Ты в этом уверен?

– Он пригласил меня туда обедать.

– Ну и жизнь! – сказал Кадрусс. – Дом в городе, дом за городом.

– На то он и богач.

– А ты поедешь к нему обедать?

– Наверно.

– Когда ты у него там обедаешь, ты и ночевать остаешься?

– Как вздумается. Я у графа, как у себя дома.

Кадрусс взглянул на молодого человека таким взглядом, словно хотел вырвать истину из глубины его сердца. Но Андреа вынул из кармана портсигар, выбрал себе «гавану», спокойно закурил ее и стал небрежно пускать кольца дыма.

– Когда тебе угодно получить свои пятьсот франков? – спросил он Кадрусса.

– Да хоть сейчас, если они с тобой.

Андреа достал из кармана двадцать пять луидоров.

– Канареечки, – сказал Кадрусс, – нет, покорно благодарю!

– Ты ими брезгаешь?

– Напротив, я их очень уважаю, но я их не хочу.

– Да ведь ты наживешь на размене, болван: за золотой дают на пять су больше.

– Знаю, а потом меняла велит выследить беднягу Кадрусса, а потом его зацапают, а потом ему придется разьяснять, какие такие арендаторы вносят ему платежи золотом. Не дури, малыш, – давай просто серебро, кругляшки с портретом какого-нибудь монарха. Монета в пять франков у всякого найдется.

– Да не могу же я носить с собой пятьсот франков серебром; мне пришлось бы взять носильщика.

– Ну, так оставь их в гостинице, у швейцара, – он честный мальчик; я схожу за ними.

– Сегодня?

– Нет, завтра; сегодня я занят.

– Ладно; завтра, отправляясь в Отейль, я оставлю их у него.

– Я могу рассчитывать на это?

- Вполне.
- Дело в том, что я заранее хочу сговориться со служанкой.
- Сговаривайся. Но на этом и конец? Ты не будешь больше приставать ко мне?
- Никогда.

Кадрусс стал так мрачен, что Андреа боялся, не придется ли ему обратить внимание на эту перемену. Поэтому он постарался казаться еще веселее и беспечнее.

– С чего ты так развеселился, – сказал Кадрусс, – можно подумать, что ты уже получил наследство!

– Нет еще, к сожалению!.. Но в тот день, когда я получу его...

– Что тогда?

– Одно тебе скажу: тогда я не забуду своих друзей.

– Ну, еще бы, с твоей-то памятью!

– Да, я думал, ты будешь с меня деньги тянуть.

– Это я-то! Скажешь тоже! Напротив, я дам тебе добрый совет.

– Какой?

– Оставь здесь это кольцо с бриллиантом. Ты что же хочешь, чтобы нас поймали? Хочешь погубить нас обоих?

– А что такое? – спросил Андреа.

– Да как же? Ты надеваешь ливрею, выдаешь себя за слугу, а оставляешь у себя на пальце бриллиант в пять тысяч франков.

– Черт побери! Ты угадал! Почему ты не поступишь в оценщики?

– Да, уж я знаю толк в бриллиантах; у меня у самого они бывали.

– Ты бы побольше этим хвастал! – сказал Андреа и, ничуть не сердясь, вопреки опасениям Кадрусса, на это новое вымогательство, благодушно отдал ему кольцо.

Кадрусс близко поднес его к глазам, и Андреа понял, что он рассматривает грани.

– Это фальшивый бриллиант, – сказал Кадрусс.

– Да ты шутишь, что ли? – сказал Андреа.

– Не сердись, сейчас проверим.

Кадрусс подошел к окну и провел камнем по стеклу; послышался скрип.

– Confiteor!¹ – сказал Кадрусс, надевая кольцо на мизинец. – Я ошибся; но эти жулики ювелиры так ловко подделывают камни, что прямо страшно забираться в ювелирные лавки. Вот еще одно отмирающее ремесло!

– Ну, что, – сказал Андреа, – теперь конец? Что тебе еще угодно? Отдать тебе куртку, а может, заодно и фуражку? Не церемонься, пожалуйста.

– Нет, ты, в сущности, парень хороший. Я больше тебя не держу и постараюсь обуздать свое честолюбие.

– Но берегись, продавая бриллиант, не попади в такую передрагу, какой ты опасался с золотыми монетами.

– Не беспокойся, я не собираюсь его продавать.

«Во всяком случае до послезавтра», – подумал Андреа.

– Счастливый ты, мошенник, – сказал Кадрусс. – Ты возвращаешься к своим лакеям, к своим лошадям, экипажу и невесте!

– Конечно, – сказал Андреа.

– Я надеюсь, ты мне сделаешь хороший свадебный подарок в тот день, когда женишься на дочери моего друга Данглара?

– Я уже говорил, что это просто твоя фантазия.

– Сколько за ней приданого?

– Да я же тебе говорю...

– Миллион?

Андреа пожал плечами.

– Будем считать миллион, – сказал Кадрусс, – но сколько бы у тебя ни было, я желаю тебе еще больше.

– Спасибо, – сказал Андреа.

– Это от чистого сердца, – прибавил Кадрусс, расхохотавшись. – Погоди, я провожу тебя.

¹ Каюсь! (лат.).

– Не стоит трудиться.

– Очень даже стоит.

– Почему?

– Потому что у меня замок с маленьким секретом; мне пришло в голову им обзавестись; замок системы Юре и Фише, просмотренный и исправленный Гаспаром Кадруссом. Я тебе сделаю такой же, когда ты будешь капиталистом.

– Благодарю, – сказал Андреа, – я предупрежу тебя за неделю.

Они расстались. Кадрусс остался стоять на площадке лестницы, пока не убедился собственными глазами, что Андреа не только спустился вниз, но и пересек двор. Тогда он поспешно вернулся к себе, тщательно запер дверь и, как опытный архитектор, принялся изучать план, оставленный ему Андреа.

– Мне кажется, – сказал он, – что этот милый Бенедетто не прочь получить наследство; и тот, кто приблизит день, когда ему достанутся в руки пятьсот тысяч франков, будет не худшим из его друзей.

V. Взлом

На следующей день после того, как происходил переданный нами разговор граф Монте-Кристо уехал в Отейль вместе с Али, несколькими слугами и лошадьми, которых он хотел испытать.

Еще накануне он и не думал, что поедет, так же как и Андреа. Эта поездка была вызвана главным образом возвращением из Нормандии Бертуччо, который привез новости о доме и о корвете. Дом был вполне готов, а корвет уже неделю стоял на якоре в маленькой бухте со всем своим экипажем из шести человек, исполнил все нужные формальности и мог в любое время выйти в море. Монте-Кристо похвалил Бертуччо за расторопность и предложил ему быть готовым к скорому отъезду, так как намеревался покинуть Францию не позже чем через месяц.

– А пока, – сказал он ему, – возможно, что мне понадобится проехать в одну ночь из Парижа в Трепор; я хочу, чтобы мне были приготовлены на пути восемь подстав, так чтобы я мог сделать эти пятьдесят лье в десять часов.

– Ваше сиятельство уже высказывали это желание, – отвечал Бертуччо, – и лошади готовы. Я их купил и сам разместил в наиболее удобных пунктах, то есть в таких деревнях, где никто обычно не останавливается.

– Отлично, – сказал Монте-Кристо, – я останусь здесь день-два, сообразуйтесь с этим.

Как только Бертуччо вышел из комнаты, чтобы отдать нужные распоряжения, на пороге показался Батистен; он нес письмо на золоченом подносе.

– Вы зачем явились? – спросил граф, увидя, что он весь в пыли. – Я вас, кажется, не звал?

Батистен, не отвечая, подошел к графу и подал ему письмо.

– Очень важное и спешное, – сказал он.

Граф вскрыл письмо и прочел:

«Графа Монте-Кристо предупреждают, что сегодня ночью в его дом на Елисейских Полях проникнет человек, чтобы выкрасть документы, которые он считает спрятанными в конторке, стоящей в будуаре; граф Монте-Кристо настолько отважный человек, что не станет вмешивать в это дело полицию, каковое вмешательство могло бы сильно повредить тому, кто сообщает эти сведения. Граф может сам разделаться со взломщиком или через отверстие в стене, отделяющей спальню от будуара, или спрятавшись в самом будуаре. Присутствие многих людей и принятие видимых мер предосторожности, несомненно, остановят злоумышленника, и граф Монте-Кристо упустит возможность узнать врага, случайно обнаруженного тем лицом, которое предупреждает об этом графа и которое, быть может, окажется уже не в состоянии сделать это вторично, если, при неудаче этой попытки, злоумышленник надумал бы совершить новую».

Первой мыслью, мелькнувшей у графа, было подозрение, что это воровская уловка, грубая западня, что его извещают о небольшой опасности, чтобы отвлечь его внимание от опасности более серьезной. Он уже собирался отослать письмо полицейскому комиссару, невзирая на предупреждение, а может быть, именно благодаря предупреждению своего анонимного доброжелателя, как вдруг у него мелькнула мысль: не встретится ли он действительно с каким-нибудь личным своим врагом, которого только он и может узнать и который, в случае необходимости,

только ему одному и может на что-нибудь пригодиться, как случилось с Фиеско и тем мавром, который хотел его убить.

Мы знаем графа; поэтому нам нечего говорить о том, что это был человек отважный и сильный духом, бравшийся за невозможное с той энергией, которая отличает людей высшего порядка. Вся его жизнь, принятое и неуклонно выполняемое им решение ни перед чем не отступать научили графа черпать неизведанные наслаждения в его битвах против природы, которая есть бог, и против мира, который можно было бы назвать дьяволом.

– Они вряд ли собираются красть у меня документы, – сказал Монте-Кристо, – они хотят убить меня; это не воры, это убийцы. Я вовсе не желаю, чтобы господин префект полиции вмешивался в мои личные дела. Я, право, достаточно богат, чтобы не отягощать бюджет префектуры.

Граф позвал Батистена, который, подав письмо, вышел из комнаты.

– Немедленно возвращайтесь в Париж, – сказал он, – и привезите сюда всех оставшихся там слуг. Они все понадобятся мне здесь.

– Так в доме никого не останется, господин граф? – спросил Батистен.

– Нет, останется привратник.

– Может быть, господин граф примет во внимание, что от привратницы до дома довольно далеко.

– Ну и что же?

– Могут ведь обокрасть весь дом, и он ничего не услышит.

– Кто может обокрасть?

– Воры.

– Вы осел, сударь. Я предпочитаю, чтобы воры разграбили весь дом, чем терпеть недостаток в прислуге.

Батистен поклонился.

– Вы понимаете, – сказал граф, – привезите сюда всех, до единого, но чтобы в доме все осталось как обычно; вы только закроете ставни нижнего этажа, вот и все.

– А во втором этаже?

– Вы же знаете, что их никогда не закрывают. Ступайте.

Граф велел сказать, что он пообедал один и что прислуживать будет Али.

Он пообедал с обычной умеренностью, а после обеда, приказав Али следовать за собой, вышел через калитку, дошел, как бы прогуливаясь, до Булонского леса, повернул, словно непредумышленно, в сторону Парижа и уже в сумерках очутился напротив своего дома на Елисейских Полях.

В доме царила полная тьма; только слабый огонек светился в привратнице, стоявшей, как и говорил Батистен, шагах в сорока от дома.

Монте-Кристо прислонился к дереву и своим зорким взглядом окинул двойную аллею, прохожих и соседние улицы, чтобы проверить, не подстерегает ли его кто-нибудь. Минут через десять он убедился, что никто за ним не следит.

Тогда он подбежал вместе с Али к калитке, быстро вошел и по черной лестнице, от которой у него был ключ, прошел в свою спальню, не коснувшись ни одной занавеси, так что даже привратник не подозревал, что в дом, который он считал пустым, вернулся его хозяин.

Войдя в спальню, граф дал Али знак остановиться; затем он прошел в будуар и осмотрел его; все было как всегда; секретер стоял на своем месте, ключ торчал в замке. Он дважды повернул ключ, вынул его, подошел к двери спальни, снял скобу задвижки и вышел из будуара.

Тем временем Али принес и положил на стол указанное графом оружие: короткий карабин и пару двустольных пистолетов, допускающих такой же верный прицел, как пистолеты, из которых стреляют в тире. Вооруженный таким образом граф держал в своих руках жизнь пяти человек.

Было около половины десятого; граф и Али наскоро закусили ломтем хлеба и стаканом испанского вина; затем граф нажал пружину одной из тех раздвижных филенок, благодаря которым он мог из одной комнаты видеть, что делается в другой. Рядом с ним лежали его пистолеты и карабин, а Али, стоя возле него, держал в руке один из тех арабских топоришков, форма которых не изменилась со времен крестовых походов.

В одно из окон спальни, выходившее, как и окно будуара, на Елисейские Поля, графу видна была улица.

Так прошло два часа; было совершенно темно, а между тем Али своим острым зрением дикаря и граф благодаря привычке к темноте различали малейшее колебание ветвей во дворе.

Огонек в привратничкой уже давно потух.

Можно было предположить, что нападающие, если действительно предстояло нападение, пройдут по лестнице из нижнего этажа, а не влезут в окно. Монте-Кристо думал, что злоумышленники хотят его убить, а не обокрасть. Следовательно, их целью является его спальня, и они доберутся до нее или по потайной лестнице, или через окно будуара.

Он поставил Али у двери на лестницу, а сам продолжал наблюдать за будуаром.

На часах Дома Инвалидов пробило без четверти двенадцать; сырой западный ветер донес до них три зловещих удара.

Не успел еще замереть последний удар, как граф уловил со стороны будуара легкий скрип; затем еще и еще; па четвертый раз граф перестал сомневаться. Опытная и твердая рука вырезала алмазом оконное стекло.

Сердце у графа забилось. Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность, они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и выполнением.

Монте-Кристо знаком предупредил Али; тот, поняв, что опасность надвигается со стороны будуара, подошел ближе к своему господину.

Монте-Кристо горел нетерпением узнать, кто его враги и сколько их.

Окно, которое скрипело под алмазом, приходилось как раз напротив отверстия, куда заглядывал граф. Его взгляд остановился на этом окне. Он увидел, что в ночном мраке вырисовывается какая-то еще более темная тень; вслед за тем одно из оконных стекол стало непроницаемым, как будто на него снаружи наклеили лист бумаги, потом стекло треснуло, но не упало. Через сделанное отверстие просунулась рука и стала искать задвижку; секунду спустя окно открылось, и появился человек. Он был один.

– Вот смелый мошенник, – прошептал граф.

В эту минуту Али тихонько тронул его за плечо, он обернулся; Али показывал ему на то окно в спальне, которое выходило на улицу.

Монте-Кристо сделал три шага по направлению к этому окну; он знал изумительную чуткость своего верного слуги. И действительно, он увидел, что от ворот напротив отделился человек и, взобравшись на тумбу, старается разглядеть, что происходит в доме.

– Так, – сказал он, – их двое: один действует, а другой сторожит.

Он дал знак Али не спускать глаз с человека на улице и вернулся к тому, который забрался в будуар.

Взломщик уже вошел в комнату и осторожно двигался, вытянув руки вперед.

Наконец он, по-видимому, освоился с обстановкой; в будуаре были две двери, и он обе запер на задвижки.

Когда он подходил к той, которая вела в спальню, Монте-Кристо подумал, что он собирается войти, и взялся за один из пистолетов; но он услышал лишь шорох задвижки, скользящей в медных петлях. Это была мера предосторожности, и только; ночной посетитель, не зная, что граф позаботился снять скобу, мог теперь чувствовать себя как дома и совершенно спокойно приниматься за работу.

Взломщик неторопливо вытащил из своего широкого кармана какой-то предмет, поставил его на столик, затем подошел к секретеру, нащупал замок и заметил, что, вопреки его ожиданиям, ключа нет.

Но взломщик был человек предусмотрительный и все предвидел. Граф услышал характерное звяканье: так звякает связка отмычек в руках слесаря, пришедшего отпереть испорченный замок. Воры прозвали их «соловьями», вероятно потому, что им доставляет удовольствие слушать, как они поют по ночам, со скрипом поворачиваясь в замке.

– Да это просто вор, – разочарованно пробормотал Монте-Кристо.

Но в темноте человек не мог подобрать подходящего инструмента. Тогда он прибег к помощи того предмета, который он поставил на столик; он нажал пружину, и тотчас же луч света, правда слабый, по все же достаточный для того, чтобы видеть, осветил его руки и лицо.

– Вот оно что! – негромко воскликнул Монте-Кристо, изумленно отступая на шаг. – Да ведь это...

Али поднял топорик.

– Стой на месте, – шепотом сказал ему Монте-Кристо, – и положи топор; оружие нам больше не понадобится.

Затем он прибавил несколько слов, еще понизив голос, потому что при вырвавшемся у него изумленном возгласе, хоть и еле слышном, взломщик встрепенулся и застыл в позе античного точильщика.

Выслушав графа, Али на цыпочках отошел от него, подошел к стене алькова и снял с вешалки черное одеяние и треугольную шляпу. Тем временем Монте-Кристо быстро сбросил с себя сюртук, жилет и сорочку; при свете тонкого луча, пробивавшегося через щель в филенке, можно было различить на груди у графа гибкую и тонкую кольчугу, каких во Франции, где больше не страшатся кинжалов, уже никто не носит после Людовика XVI, который боялся быть заколотым и которому вместо этого отрубили голову.

Эта кольчуга тотчас же скрылась под длинной сутаной, как волосы графа – под париком с тонзурой; надетая поверх парика треугольная шляпа окончательно превратила графа в аббата.

Между тем взломщик, не слыша больше ни звука, снова выпрямился и, пока Монте-Кристо совершал свое превращение, подошел к секретеру, замок которого начал уже потрескивать под его «соловьем».

– Ладно, ладно, несколько минут ты еще повозишься? – прошептал граф, по-видимому полагаясь на какой-то секрет в замке, неизвестный взломщику, несмотря на всю его опытность.

И он подошел к окну.

Человек, который взобрался на тумбу, теперь слез с нее и шагал взад и вперед по улице; но странное дело: вместо того чтобы следить за прохожими, которые могли появиться либо со стороны Елисейских Полей, либо со стороны предместья Сент-Оноре, он, по-видимому, интересовался лишь тем, что происходило в доме графа, и всячески старался увидеть, что творится в будуаре.

Монте-Кристо вдруг хлопнул себя по лбу, и на его губах появилась молчаливая усмешка.

Он подошел к Али.

– Стой здесь в темноте, – тихо сказал он ему, – и что бы ты ни услышал, что бы ни произошло, не выходи отсюда и не показывайся, пока я тебя не кликну по имени.

Али кивнул головой.

Тогда Монте-Кристо достал из шкафа зажженную свечу и, выбрав минуту, когда вор был всецело поглощен замком, тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы свет падал на его лицо.

Дверь открылась так тихо, что вор ничего не услышал. Но, к его великому изумлению, комната неожиданно осветилась.

Он обернулся.

– Добрый вечер, дорогой господин Кадрусс! – сказал Монте-Кристо. – Что это вы делаете здесь в такой поздний час?

– Аббат Бузони! – воскликнул Кадрусс.

И, не понимая, каким путем очутился здесь этот странный посетитель, раз он закрыл обе двери, он выронил связку отмычек и замер, как в столбняке.

Граф стал между Кадруссом и окном, отрезав таким образом перепуганному вору единственный путь отступления.

– Аббат Бузони! – повторил Кадрусс, оторопело глядя на графа.

– Да, аббат Бузони! – сказал Монте-Кристо, – он самый, и я очень рад, что вы меня узнали, дорогой господин Кадрусс; это доказывает, что у вас хорошая память, потому что, если я не ошибаюсь, мы не виделись уже лет десять.

Это спокойствие, эта ирония, этот властный тон внушили Кадруссу такой ужас, что у него закружилась голова.

– Аббат! – бормотал он, стискивая руки и стуча зубами.

– Итак, мы решили обокрасть графа Монте-Кристо? – продолжал мнимый аббат.

– Господин аббат, – прошептал Кадрусс, тщетно пытаясь проскользнуть мимо графа к окну, – господин аббат, я сам не знаю... поверьте... клянусь вам...

– Вырезанное стекло, – продолжал граф, – потайной фонарь, связка отмычек, наполовину взломанный секретер – все это говорит само за себя.

Кадрусс беспомощно озирался, ища угол, куда бы спрятаться, или щель, через которую можно было бы улизнуть.

– Я вижу, вы всё тот же, господин убийца, – сказал граф.

– Господин аббат, раз вы всё знаете, вы должны знать, что это не я, это Карконта; это и суд признал: ведь меня приговорили только к галерам.

– Разве вы уже отбыли свой срок, что опять стараетесь туда попасть?

– Нет, господин аббат, меня освободил один человек.

– Этот человек оказал обществу большую услугу.

– Но я обещал... – сказал Кадрусс.

– Итак, вы бежали с каторги? – прервал его Монте-Кристо.

– Увы, – ответил перепуганный Кадрусс.

– Рецидив при отягчающих обстоятельствах?.. За это, если не ошибаюсь, полагается гильотина. Тем хуже, дьяволу, как говорят остряки у меня на родине.

– Господин аббат, я поддался искушению...

– Все преступники так говорят.

– Нужда...

– Бросьте, – презрительно сказал Бузони, – человек в нужде просит милостыню, крадет булку с прилавки, но не является в пустой дом взламывать секретер. А когда ювелир Жоаннес отсчитал вам сорок пять тысяч франков за тот алмаз, который вы от меня получили, и вы убили его, чтобы завладеть и алмазом и деньгами, вы это тоже сделали из нужды?

– Простите меня, господин аббат, – сказал Кадрусс, – вы меня уже спасли однажды, спасите меня еще раз.

– Не имею особого желания повторять этот опыт.

– Вы здесь один, господин аббат? – спросил Кадрусс, умоляюще складывая руки. – Или у вас тут спрятаны жандармы, готовые схватить меня?

– Я совсем один, – сказал аббат, – и я готов сжалиться над вами, и, хотя мое мягкосердечие может привести к новым бедам, я вас отпущу, если вы мне во всем признаетесь.

– Господин аббат, – воскликнул Кадрусс, делая шаг к Монте-Кристо, – вот уж поистине вы мой спаситель.

– Вы говорите, что вам помогли бежать с каторги?

– Это правда, верьте моему слову, господин аббат!

– Кто?

– Один англичанин.

– Как его звали?

– Лорд Уилмор.

– Я с ним знаком; я проверю, не лжете ли вы.

– Господин аббат, я говорю чистую правду.

– Так этот англичанин вам покровительствовал?

– Не мне, а молодому корсиканцу, с которым мы были скованы одной цепью.

– Как звали этого молодого корсиканца?

– Бенедетто.

– Это только имя.

– У него не было фамилии, это найденыш.

– И этот молодой человек бежал вместе с вами?

– Да.

– Каким образом?

– Мы работали в Сен-Мандрие, около Тулона. Вы знаете Сен-Мандрие?

– Знаю.

– Ну так вот, пока все спали, от полудня до часу...

– Полуденный отдых у каторжников! Вот и жалею их после этого! – сказал аббат.

– А как же, – заметил Кадрусс. – Нельзя все время работать, мы не собаки.

– К счастью для собак, – сказал Монте-Кристо.

– Пока остальные отдыхали, мы немного отошли в сторону, перепилили наши кандалы напильником, который нам передал этот англичанин, и удрали вплавь.

– А что случилось с этим Бенедетто?

– Не знаю.

– Вы должны это знать.

– Нет, право, не знаю. Мы с ним расстались в Гиере.

И чтобы придать больше весу своим уверениям, Кадрусс приблизился еще на шаг к аббату, который продолжал стоять на месте с тем же спокойным и вопрошающим видом.

- Вы лжете, – властно сказал аббат Бузони.
- Господин аббат!..
- Вы лжете! Этот человек по-прежнему ваш приятель, может быть, и сообщник.
- Господин аббат!
- На какие средства вы жили с тех пор, как бежали из Тулона? Отвечайте.
- Как придется.
- Вы лжете! – в третий раз возразил аббат еще более властным тоном.

Кадрусс с ужасом посмотрел на графа.

- Вы жили, – продолжал тот, – на деньги, которые он вам давал.
- Да, правда, – сказал Кадрусс. – Бенедетто стал сыном знатного вельможи.
- Как же он может быть сыном вельможи?
- Побочным сыном.
- А как зовут этого вельможу?
- Граф Монте-Кристо, хозяин этого дома.
- Бенедетто – сын графа? – сказал Монте-Кристо, в свою очередь изумленный.
- Да, по всему так выходит. Граф нашел ему подставного отца, граф дает ему четыре тысячи франков в месяц, граф оставил ему по завещанию пятьсот тысяч франков.
- Вот оно что! – сказал мнимый аббат, начиная догадываться, в чем дело. – А какое имя носит пока этот молодой человек?
- Андреа Кавальканти.
- Так это тот самый молодой человек, которого принимает у себя мой друг граф Монте-Кристо и который собирается жениться на мадемуазель Данглар?
- Вот именно.
- И вы это терпите, несчастный! Зная его жизнь и лежащее на нем клеймо?
- Ас какой стати я буду мешать товарищу? – спросил Кадрусс.
- Верно, это уж мое дело предупредить господина Данглара.
- Не делайте этого, господин аббат!
- Почему?
- Потому что вы этим лишили бы нас куска хлеба.
- И вы думаете, что для того, чтобы сохранить двум негодьям кусок хлеба, я стану участником их плутней, сообщником их преступлений?
- Господин аббат! – умолял Кадрусс, еще ближе подступая к нему.
- Я все скажу.
- Кому?
- Господину Данглару.
- Черта с два! – воскликнул Кадрусс, выхватывая нож и ударяя графа в грудь. –

Ничего ты не скажешь, аббат!

К полному изумлению Кадрусса, лезвие не вонзилось в грудь, а отскочило.

В тот же миг граф схватил левой рукой кисть Кадрусса и сжал ее с такой силой, что нож выпал из его онемевших пальцев и злодей вскрикнул от боли.

Но граф, не обращая внимания на его крики, продолжал выворачивать ему кисть до тех пор, пока он не упал сначала на колени, а затем ничком на пол.

Граф поставил ногу ему на голову и сказал:

- Следовало бы размозжить тебе череп, негодяй.
- Пощадите, пощадите! – кричал Кадрусс.

Граф снял ногу.

- Вставай! – сказал он.

Кадрусс встал на ноги.

– Ну и хватка у вас, господин аббат! – сказал он, потирая онемевшую руку. – Ну и силища!

– Молчи! Бог дает мне силу укротить такого кровожадного зверя, как ты. Я действую во имя его, помни это, негодяй. И если я шажу тебя в эту минуту, то только для того, чтобы содействовать промыслу божию.

- Уф! – пробормотал Кадрусс, с трудом приходя в себя.
- Вот тебе перо и бумага. Пиши то, что я тебе продиктую.
- Я не умею писать, господин аббат.
- Лжешь; бери перо и пиши.

Кадрусс покорно сел и написал:

«Милостивый государь, человек, которого вы принимаете у себя и за которого намереваетесь выдать вашу дочь, – беглый каторжник, бежавший вместе со мной с Тулонской каторги; он значился под № 59, а я под № 58.

Его звали Бенедетто; своего настоящего имени он сам не знает, потому что он никогда не знал своих родителей».

– Подпишись! – продолжал граф.

– Вы хотите погубить меня?

– Если бы я хотел погубить тебя, глупец, я бы отправил тебя в полицию; к тому же, когда эта записка попадет по адресу, тебе, по всей вероятности, уже нечего будет опасаться; подписывайся.

Кадрусс подписался.

– Пиши: Господину барону Данглару, банкиру, улица Шоссе-д'Антен.

Кадрусс надписал адрес.

Аббат взял записку в руки.

– Теперь уходи, – сказал он.

– Каким путем?

– Каким пришел.

– Вы хотите, чтобы я вылез в это окно?

– Ты же влез в него.

– Вы замышляете что-то против меня, господин аббат?

– Дурак, что же я могу замышлять?

– Почему вам не выпустить меня через ворота?

– Зачем будить привратника?

– Господин аббат, скажите мне, что вы не желаете моей смерти.

– Я хочу того, чего хочет господь.

– Но поклянитесь, что вы не убьете меня, пока я буду спускаться.

– Какой же ты трусливый дурак!

– Что вы со мной сделаете?

– Об этом тебя надо спросить. Я пытался сделать из тебя счастливого человека, а ты стал убийцей!

– Господин аббат, – сказал Кадрусс, – попытайтесь в последний раз.

– Хорошо, – сказал граф – Ты знаешь, что я всегда держу свое слово?

– Да, – сказал Кадрусс.

– Если ты вернешься к себе домой цел и невредим...

– Кого же мне бояться, кроме вас?

– Если ты вернешься домой цел и невредим, покинь Париж, покинь Францию, и, где бы ты ни был, до тех пор, пока ты будешь вести честную жизнь, ты будешь получать от меня небольшое содержание; ибо, если ты вернешься домой цел и невредим, то...

– То?... – спросил дрожащий Кадрусс.

– То я буду считать, что господь простил тебя, и я тоже тебя прощу.

– Вы меня до смерти пугаете – пробормотал, отступая, Кадрусс.

– Теперь уходи! – сказал граф, указывая Кадруссу на окно.

Кадрусс, еще не вполне успокоенный этим обещанием, вылез в окно и поставил ногу на приставную лестницу. Там он замер, весь дрожа.

– Теперь слезай, – сказал аббат, скрестив руки.

Кадрусс, наконец, уразумел, что с этой стороны ему ничего не грозит, и стал спускаться.

Тогда граф подошел к окну со свечой в руке, так что с улицы можно было видеть, как человек спускается из окна, а другой ему светит.

– Что вы делаете, господин аббат? – сказал Кадрусс. – А если патруль...

И он задул свечу.

Затем он продолжал спускаться; но совершенно успокоился лишь тогда, когда ступил на землю.

Монте-Кристо вернулся в свою спальню и, окинув быстрым взглядом сад и улицу, увидел сначала Кадрусса, который, спустившись в сад, обошел его и приставил лестницу в противоположном конце ограды, для того чтобы перелезть не там, где он влезал.

Потом, взглянув опять на улицу, он увидел, как поджидавший человек побежал по улице в ту же сторону, что и Кадрусс, и остановился как раз за тем углом, где тот собрался перелезть.

Кадрусс медленно поднялся по лестнице и, добравшись до последних перекладин, посмотрел через ограду, чтобы убедиться в том, что улица безлюдна.

Не было видно ни души, не слышно было ни малейшего шума.

Часы Дома Инвалидов пробили час.

Тогда Кадрусс уселся верхом на ограду и, подтянув к себе лестницу, перекинул ее через стену; затем принялся снова спускаться, или, вернее, стал съезжать по продольным брускам с ловкостью, доказывающей, что это упражнение ему не внове.

Но, начав съезжать вниз, он не мог уже остановиться. Хоть он и увидел, уже на полпути, как из-за темного угла выскочил человек; хоть он и увидел, уже касаясь земли, как тот замахнулся на него рукой, – но раньше, чем он успел принять оборонительное положение, эта рука с такой яростью ударила его в спину, что он выпустил лестницу с криком:

– Помогите!

Тут же он получил новый удар в бок и упал.

– Убивают! – закричал он.

Противник вцепился ему в волосы и нанес ему третий удар в грудь.

На этот раз Кадрусс хотел снова крикнуть, но издал только стон, истекая кровью, тремя потоками струившейся из трех ран.

Убийца, увидав, что жертва больше не кричит, приподнял его голову за волосы; глаза Кадрусса были закрыты, рот перекошен. Убийца счел его мертвым, отпустил его голову и исчез.

Тогда Кадрусс, поняв, что он ушел, приподнялся на локте и из последних сил крикнул хриплым голосом:

– Убили! Я умираю! Помогите, господин аббат, помогите!

Этот жуткий крик прорезал ночную тьму. Открылась дверь потайной лестницы, затем калитка сада, и Али и его хозяин подбежали с фонарями.

VI. Десница господня

Кадрусс все еще звал жалобным голосом:

– Господин аббат, помогите! помогите!

– Что случилось? – спросил Монте-Кристо.

– Помогите! – повторил Кадрусс. – Меня убили.

– Мы идем, потерпите.

– Все кончено! Поздно! Вы пришли смотреть, как я умираю. Какие удары! Сколько крови!

И он потерял сознание.

Али и его хозяин подняли раненого и перенесли его в дом. Там Монте-Кристо велел Али раздеть его и увидел три страшные раны.

– Боже, – сказал он, – иногда твое мщение медлит; но тогда оно еще более грозным нисходит с неба.

Али посмотрел на своего господина, как бы спрашивая, что делать дальше.

– Отправляйся в предместье Сент-Оноре к господину де Вильфор, королевскому прокурору, и привези его сюда. По дороге разбуди привратника и пошли его за доктором.

Али повинился и оставил мнимого аббата наедине с Кадруссом, все еще лежавшим без сознания.

Когда несчастный снова открыл глаза, граф, сидя в нескольких шагах от него, смотрел на него с выражением угрюмого сострадания и, казалось, беззвучно шептал молитву.

– Доктора, доктора, – простонал Кадрусс.

– За ним уже пошли, – ответил аббат.

– Я знаю, это бесполезно, меня не спасти, но, может быть, он подкрепит мои силы, и я успею сделать заявление.

– О чем?

– О моем убийце.

– Так вы его знаете?

– Еще бы не знать! Это Бенедетто.

– Тот самый молодой корсиканец?

– Он самый.

– Ваш товарищ?

– Да. Он дал мне план графского дома, надеюсь, должно быть, что я убью графа и он получит наследство или что граф меня убьет и тогда он от меня избавится. А потом он подстерег меня на улице и убил.

– Я послал сразу и за доктором и за королевским прокурором.

– Он опоздает, – сказал Кадрусс, – я чувствую, что вся кровь из меня уходит.

– Пойдите, – сказал Монте-Кристо.

Он вышел из комнаты и вернулся с флаконом в руках.

Глаза умирающего, страшные в своей неподвижности, во время его отсутствия ни на секунду не отрывались от двери, через которую, он чувствовал, должна была явиться помощь.

– Скорее, господин аббат, скорее! – сказал он. – Я сейчас потеряю сознание.

Монте-Кристо подошел к раненому и влил в его синие губы три капли жидкости из флакона.

Кадрусс глубоко вздохнул.

– Еще... еще... – сказал он. – Вы возвращаете мне жизнь.

– Еще две капли, и вы умрете, – ответил аббат.

– Что же никто не идет? Я хочу назвать убийцу!

– Хотите, я напишу за вас заявление? Вы его подпишете.

– Да... да... – сказал Кадрусс, и глаза его заблестели при мысли об этом посмертном мщении.

Монте-Кристо написал:

«Я умираю от руки убийцы, корсиканца Бенедетто, моего товарища по каторге в Тулоне, значившегося под № 59».

– Скорее, скорее! – сказал Кадрусс. – А то я не успею подписать.

Монте-Кристо подал Кадруссу перо, и тот, собрав все свои силы, подписал заявление и откинулся назад.

– Остальное вы расскажете сами, господин аббат, – сказал он. – Вы скажете, что он называет себя Андреа Кавальканти, что он живет в гостинице Принцев, что... боже мой, я умираю!

И Кадрусс снова лишился чувств. Аббат поднес к его лицу флакон, и раненый снова открыл глаза.

Жажда мщения не оставила его, пока он лежал в обмороке.

– Вы все расскажете, правда, господин аббат?

– Все это, конечно, и еще многое другое.

– А что еще?

– Я скажу, что он, вероятно, дал вам план этого дома в надежде, что граф убьет вас. Я скажу, что он предупредил графа письмом; я скажу, что, так как граф был в отлучке, это письмо получил я и что я ждал вас.

– И его казнят, правда? – сказал Кадрусс. – Его казнят, вы обещаете? Я умираю с этой надеждой, так мне легче умереть.

– Я скажу, – продолжал граф, – что он явился следом за вами, что он все время вас подстерегал; что, увидав, как вы вылезли из окна, он забежал за угол и там спрятался.

– Так вы все это видели?

– Вспомни мои слова: «Если ты вернешься домой цел и невредим, я буду считать, что господь простил тебя, и я тоже тебе прощу».

– И вы не предупредили меня? – воскликнул Кадрусс, пытаясь приподняться на локте. – Вы знали, что он меня убьет, как только я выйду отсюда, и вы меня не предупредили?

– Нет, потому что в руке Бенедетто я видел божье правосудие, и я считал кощунством противиться воле провидения.

– Божье правосудие! Не говорите мне о нем, господин аббат. Вы лучше всех знаете, что, если бы оно существовало, некоторые люди были бы наказаны.

– Терпение, – сказал аббат голосом, от которого умирающий затрепетал, – терпение!

Кадрусс, пораженный, взглянул на графа.

– К тому же, – сказал аббат, – господь милостив ко всем, он был милостив и к тебе. Он раньше всего отец, а затем уже судия.

– Так вы верите в бога? – сказал Кадрусс.

– Если бы я имел несчастье не верить в него до сих пор, – сказал Монте-Кристо, – то я поверил бы теперь, глядя на тебя.

Кадрусс поднял к небу сжатые кулаки.

– Слушай, – сказал аббат, простирая руку над раненым, словно повелевая ему верить, – вот, что сделал для тебя бог, которого ты отвергаешь в твой смертный час: он дал тебе здоровье, силы, обеспеченный труд, даже друзей – словом, такую жизнь, которая удовлетворила бы всякого человека со спокойной совестью в естественными желаниями. Что сделал ты, вместо того чтобы воспользоваться этими дарами, которые бог столь редко посылает с такой щедростью? Ты погряз в лености и пьянстве и, пьяный, предал одного из своих лучших друзей.

– Помогите! – закричал Кадрусс. – Мне нужен не священник, а доктор; быть может, мснв раны не смертельны, я не умру, меня можно снасти!

– Ты ранен смертельно, и не дай я тебе этой жидкости, ты был бы уже мертв. Слушай же!

– Страшный вы священник! – прошептал Кадрусс. – Вместо того чтобы утешать умирающие вы лишаете их последней надежды!

– Слушай, – продолжал аббат, – когда ты предал своего друга, бог, еще не карая, предостерег тебя; ты впал в нищету, ты познал голод. Половину той жизни, которую ты мог посвятить приобретению земных благ, ты предавался зависти. Уже тогда ты думал о преступлении, оправдывал себя в собственных глазах нуждою. Господь явил тебе чудо, из моих рук даровал тебе в твоей нищете богатство, несметное для такого бедняка, как ты. Но это богатство, нежданное, негаданное, неслыханное, кажется тебе уже недостаточным, как только оно у тебя в руках; тебе хочется удвоить его. Каким же способом? Убийством. Ты удвоил его, и господь отнял его у тебя и поставил тебя перед судом людей.

– Это не я, – сказал Кадрусс, – не я хотел убить еврея, это Карконта.

– Да, – сказал Монте-Кристо. – И господь в бесконечном своем милосердии не покарал тебя смертью, которой ты по справедливости заслуживал, но позволил, чтобы твои снова тронули судей, и они оставили тебе жизнь.

– Как же! И отправили меня на вечную каторгу! Хороша милость!

– Эту милость, несчастный, ты, однако, считал милостью, когда она была тебе оказана. Твое подлое сердце, трепещущее в ожидании смерти, забилося от радости, услышав о твоём вечном позоре, потому что ты, как и все каторжники, сказал себе: с каторги можно уйти, а из могилы нельзя. И ты оказался прав; ворота тюрьмы неожиданно раскрылись для тебя. В Тулон приезжает англичанин, который дал обет избавить двух людей от бесчестия; его выбор падает на тебя и на твоего товарища; на тебя сваливается с неба новое счастье, у тебя есть и деньги и покой, ты можешь снова зажить человеческой жизнью, – ты, который был обречен на жизнь каторжника; тогда, несчастный, ты искушаешь господя в третий раз. Мне этого мало, говоришь ты, когда на самом деле у тебя было больше, чем когда-либо раньше, и ты совершаешь третье преступление, ничем не вызванное, ничем не оправданное. Терпение господне истощилось. Господь покарал тебя.

Кадрусс слабел на глазах.

– Пить, – сказал он, – дайте пить... я весь горю!

Монте-Кристо подал ему стакан воды.

– Подлец Бенедетто, – сказал Кадрусс, отдавая стакан, – он-то вывернется.

– Никто не вывернется, говорю я тебе... Бенедетто будет наказан!

– Тогда и вы тоже будете наказаны, – сказал Кадрусс, – потому что вы не исполнили свой долг священника... Вы должны были помешать Бенедетто убить меня.

– Я! – сказал граф с улыбкой, от которой кровь застыла в жилах умирающего. – Я должен был помешать Бенедетто убить тебя, после того как ты сломал свой нож о кольчугу на моей груди!.. Да, если бы я увидел твое смирение и раскаяние, я, быть может, и помешал бы Бенедетто убить тебя, но ты был дерзок и коварен, и я дал свершиться воле божьей.

– Я не верю в бога! – закричал Кадрусс. – И ты тоже не веришь в него... ты лжешь!..

– Молчи, – сказал аббат, – ты теряешь последние капли крови, отце оставшиеся в твоём теле... Ты не веришь в бога, а умираешь, пораженный его рукой! Ты не веришь в бога, а бог ждет только одной молитвы, одного слова, одной слезы, чтобы простить... Бог, который мог

так направить кинжал убийцы, чтобы ты умер на месте, бог дал тебе эти минуты, чтобы раскаяться... Загляни в свою душу и покайся!

– Нет, – сказал Кадрусс, – нет, я ни в чем не раскаиваюсь. Бога нет, провидения нет, есть только случай.

– Есть провидение, есть бог, – сказал Монте-Кристо. – Смотри: вот ты умираешь, в отчаянии отрицаешь бога, а я стою перед тобой, богатый, счастливый, в расцвете сил, и возношу молитвы к тому богу, в которого ты пытаешься не верить и все же веришь в глубине души.

– Но кто же вы? – сказал Кадрусс, устремив померкнувшие глаза на графа.

– Смогри внимательно, – сказал Монте-Кристо, беря свечу и поднося ее к своему лицу.

– Вы аббат... аббат Бузони...

Монте-Кристо сорвал парик и встряхнул длинными черными волосами, так красиво обрамлявшими его бледное лицо.

– Боже, – с ужасом сказал Кадрусс, – если бы не черные волосы, я бы сказал, что вы тот англичанин, лорд Уилмор.

– Я не аббат Бузони и не лорд Уилмор, – отвечал Монте-Кристо. – Вглядись внимательнее, взглядишь в прошлое, в самые давние твои воспоминания.

В этих словах графа была такая магнетическая сила, что слабеющие чувства несчастного ожили в последний раз.

– В самом деле, – сказал он, – я словно уже где-то видел вас, я вас знал когда-то.

– Да, Кадрусс, ты меня видел, ты меня знал.

– Но кто же вы наконец? И почему, если вы меня знали, вы даете мне умереть?

– Потому что ничто не может тебя спасти, Кадрусс, раны твои смертельны. Если бы тебя можно было спасти, я увидел бы в этом последний знак милосердия господня, и я бы попытался, клянусь тебе могилой моего отца, вернуть тебя к жизни и раскаянию.

– Могилой твоего отца! – сказал Кадрусс, в котором вспыхнула последняя искра жизни, и приподнялся, чтобы взглянуть поближе на человека, который произнес эту священнейшую из клятв. – Да кто же ты?

Граф не переставал следить за ходом агонии. Он повял, что эта вспышка – последняя; он наклонился над умирающим и остановил на нем спокойный и печальный взор.

– Я... – сказал он ему на это, – я...

И с его еле раскрытых губ слетело имя, произнесенное так тихо, словно он сам боялся услышать его.

Кадрусс приподнялся на колени, вытянул руки, отшатнулся, потом сложил ладони и последним усилием воздел их к небу:

– О боже мой, боже мой, – сказал он, – прости, что я отрицал тебя; ты существуешь, ты поистине отец небесный и судья земной! Господи боже мой, я долгу не верил в тебя! Господи, прими душу мою!

И Кадрусс, закрыв глаза, упал навзничь с последним криком и последним вздохом.

Кровь сразу перестала течь из ран.

Он был мертв.

– Один! – загадочно произнес граф, устремив глаза на труп, обезображенный ужасной смертью.

Десять минут спустя прибыл доктор и королевский прокурор, приведенные – один привратником, другой Али, и были встречены аббатом Бузони, молившимся у изголовья мертвеца.

VII. Бошан

В Париже целых две недели только и говорили что об этой дерзкой попытке обокрасть графа. Умирающий подписал заявление, в котором указывал на некоего Бенедетто, как на своего убийцу. Полиции было предписано пустить по следам убийцы всех своих агентов.

Нож Кадрусса, потайной фонарь, связка отмычек и вся его одежда, исключая жилет, которого нигде не нашли, были приобщены к делу; труп был отправлен в морг.

Граф всем отвечал, что все это произошло, пока он был у себя в Отейле, и что, таким образом, он знает об этом только со слов аббата Бузони, который, по странной случайности, попросил у него позволения провести эту ночь у него в доме, чтобы сделать выписки из некоторых редчайших книг, имеющихся в его библиотеке.

Один только Бертуччо бледнел каждый раз, когда при нем произносили имя Бенедетто; по никто не интересовался цветом лица Бертуччо.

Вильфор, призванный надеть преступления, пожелал сам заняться делом и вел следствие с тем страстным рвением, с каким он относился ко всем уголовным делам, которые вел лично.

Но прошло уже три недели, а самые тщательные розыски не привели ни к чему; в обществе уже начали забывать об этом покушении и об убийстве вора его сообщником и занялись предстоящей свадьбой мадемуазель Данглар и графа Андреа Кавальканти.

Этот брак был почти уже официально объявлен, и Андреа бывал в доме банкира на правах жениха.

Написали Кавальканти-отцу; тот весьма одобрил этот брак, очень жалел, что служба мешает ему покинуть Парму, где он сейчас находится, и изъявил согласие выделить капитал, приносящий полтораста тысяч ливров годового дохода.

Было условлено, что три миллиона будут помещены у Данглара, который пустит их в оборот; правда, нашлись люди, выразившие молодому человеку свои сомнения в устойчивом положении дел его будущего тестя, который за последнее время терпел на бирже неудачу за неудачей; но Андреа, преисполненный высокого доверия и бескорыстия, отверг все эти пустые слухи и был даже настолько деликатен, что ни слова не сказал о них барону.

Недаром барон был в восторге от графа Андреа Кавальканти.

Что касается мадемуазель Эжени Данглар, – в своей инстинктивной ненависти к замужеству, она была рада появлению Андреа, как способу избавиться от Морсера; но когда Андреа сделался слишком близок, она начала относиться к нему с явным отвращением.

Быть может, барон это и заметил: но так как он мог приписать это отвращение только капризу, то сделал вид, что не замечает его.

Между те и выговоренная Бошаном отсрочка приходила к концу. Кстати, Морсер имел возможность оценить по достоинству совет Монте-Кристо, который убеждал его дать делу заглотнуть; никто не обратил внимания на газетную заметку, касавшуюся генерала, и никому не пришлось в голову узнать в офицере, сдавшем Янинский замок, благородного графа, заседающего в Палате пэров.

Тем не менее Альбер считал себя оскорбленным, ибо не подлежало сомнению, что оскорбительные для него строки были помещены в газете преднамеренно. Кроме того, поведение Бошана в конце их беседы оставило в его Душе горький осадок. Поэтому он лелеял мысль о дуэли, настоящую причину которой, если только Бошан на это согласился бы, он надеялся скрыть даже от своих секундантов.

Бошана никто не видел с тех пор, как Альбер был у него; всем, кто о нем осведомлялся, отвечали, что он на несколько дней уехал.

Где же он был? Никто этого не знал.

Однажды утром Альбера разбудил камердинер и доложил ему о приходе Бошана. Альбер протер глаза, велел попросить Бошана подождать внизу, в курительной, быстро оделся и спустился вниз.

Он застал Бошана шагающим из угла в угол. Увидав его, Бошан остановился.

– То, что вы сами явились ко мне, не дожидаясь сегодняшнего моего посещения, кажется мне добрым знаком, – сказал Альбер. – Ну, говорите скорей, могу ли я протянуть вам руку и сказать: Бошан, признайтесь, что вы были неправы, и останьтесь моим другом. Или же я должен просто спросить вас: какое оружие вы выбираете?

– Альбер, – сказал Бошан с печалью в голосе, изумившей Морсера, – прежде всего сядем и поговорим.

– Но мне казалось бы, сударь, что прежде чем сесть, вы должны дать мне ответ?

– Альбер, – сказал журналист, – бывают обстоятельства, когда всего труднее – дать ответ.

– Я вам это облегчу, сударь, повторив свой вопрос: берете вы обратно свою заметку, да или нет?

– Морсер, так просто не отвечают: да или нет, когда дело касается чести, общественного положения, самой жизни такого человека как генерал-лейтенант граф до Морсер, пэр Франции.

– А что же в таком случае делают?

– Делают то, что сделал я, Альбер. Говорят себе: деньги, время и усилия не играют роли, когда дело идет о репутации и интересах целой семьи. Говорят себе: мало одной

вероятности, нужна уверенность, когда идешь биться на смерть с другом. Говорят себе: если мне придется скрестить шпагу или обменяться выстрелом с человеком, которому я в течение трех лет дружески жал руку, то я по крайней мере должен знать, почему я это делаю, чтобы иметь возможность явиться к барьеру с чистым сердцем и спокойной совестью, которые необходимы человеку, когда он защищает свою жизнь.

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо сказал Альбер, – но что все это значит?

– Это значит, что я только что вернулся из Янины.

– Из Янины? Вы?

– Да, я.

– Не может быть!

– Дорогой Альбер, вот мой паспорт; взгляните на визы: Женева, Милан, Венеция, Триест, Дельвино, Янина. Вы, надеюсь, поверите полиции одной республики, одного королевства и одной империи?

Альбер бросил взгляд на паспорт и с изумлением посмотрел на Бошана.

– Вы были в Янине? – переспросил он.

– Альбер, если бы вы были мне чужой, незнакомец, какой-нибудь лорд, как тот англичанин, который явился несколько месяцев тому назад требовать у меня удовлетворения и которого я убил, чтобы избавиться от него, вы отлично понимаете, я не взял бы на себя такой труд; но мне казалось, что из уважения к вам я обязан это сделать. Мне потребовалась неделя, чтобы доехать туда, неделя на возвращение; четыре дня карантина и двое суток на месте, – это и составило ровно три недели. Сегодня ночью я вернулся, и вот я у вас.

– Боже мой, сколько предисловий, Бошан! Почему вы медлите и не говорите того, чего я жду от вас!

– По правде говоря, Альбер...

– Можно подумать, что вы не решаетесь.

– Да, я боюсь.

– Вы боитесь признаться, что ваш корреспондент обманул вас? Бросьте самолюбие, Бошан, и признавайтесь; ведь в вашей храбрости никто не усомнится.

– Совсем не так, – прошептал журналист, – как раз наоборот...

Альбер смертельно побледнел; он хотел что-то сказать, но слова замерли у него на губах.

– Друг мой, – сказал Бошан самым ласковым голосом, – поверьте, я был бы счастлив принести вам мои извинения и принес бы их от всей души; но, увы...

– Но что?

– Заметка соответствовала истине, друг мой.

– Как! этот французский офицер...

– Да.

– Этот Фернан?

– Да.

– Изменник, который выдал замки паши, на службе у которой состоял...

– Простите меня за то, что я должен вам сказать, мой друг; этот человек – ваш отец!

Альбер сделал яростное движение, чтобы броситься на Бошана, но тот удержал его, не столько рукой, сколько ласковым взглядом.

– Вот, друг мой, – сказал он, вынимая из кармана бумагу, – вот доказательство.

Альбер развернул бумагу; это было заявление четырех именитых граждан Янины, удостоверяющее, что полковник Фернан Мондего, полковник-инструктор на службе у визиря Али-Тобелина, выдал янинский замок за две тысячи кошельков.

Подписи были заверены консулом.

Альбер пошатнулся и, сраженный, упал в кресло.

Теперь уже не могло быть сомнений, фамилия значилась полностью.

После минуты немомого отчаяния он не выдержал, все его тело напряглось, из глаз брызнули слезы.

Бошан, с глубокой скорбью глядевший на убитого горем друга, подошел к нему.

– Альбер, – сказал он, – теперь вы меня понимаете? Я хотел лично все видеть, во всем убедиться, надеясь, что все разъяснится в смысле, благоприятном для вашего отца, и что я смогу защитить его доброе имя. Но, наоборот, из собранных мною сведений явствует, что этот офицер-инструктор Фернан Мондего, возведенный Али-пашой в звание генерал-губернатора, не

кто иной, как граф Фернан до Морсер; тогда я вернулся сюда, помня, что вы почтили меня своей дружбой, и бросился к вам.

Альбер всё еще полулежал в кресле, закрыв руками лицо, словно желая скрыться от дневного света.

– Я бросился к вам, – продолжал Бошан, – чтобы сказать вам: Альбер, проступки наших отцов в наше беспокойное время но бросают тени на детей. Альбер, немногие прошли через все революции, среди которых мы родились, без того, чтобы их военный мундир или судейская мантия не оказались запятнаны грязью или кровью. Никто на свете теперь, когда у меня все доказательства, когда ваша тайна в моих руках, не может заставить меня принять вызов, который ваша собственная совесть, я в этом уверен, сочла бы преступлением; по то, чего вы больше не в праве от меня требовать, я вам добровольно предлагаю. Хотите, чтобы эти доказательства, эти разоблачения, свидетельства, которыми располагаю я один, исчезли навсегда? Хотите, чтобы эта страшная тайна осталась между вами и мной? Доверенная моей чести, она никогда не будет разглашена. Скажите, вы этого хотите, Альбер? Вы этого хотите, мой друг?

Альбер бросился Бошану на шею.

– Мой благородный друг! – воскликнул он.

– Возьмите, – сказал Бошан, подавая Альберу бумаги.

Альбер судорожно схватил их, сжал их, смял, хотел было разорвать; но, подумав, что, быть может, когда-нибудь ветер поднимет уцелевший клочок и коснется им его лба, он подошел к свече, всегда зажженной для сигар, и сжег их все, до последнего клочка.

– Дорогой, несравненный друг! – шептал Альбер, сжигая бумаги.

– Пусть все это забудется, как дурной сон, – сказал Бошан, – пусть все это исчезнет, как эти последние искры, бегущие по почерневшей бумаге, пусть все это развеется, как этот последний дымок, вьющийся над безгласным пеплом.

– Да, да, – сказал Альбер, – и пусть от всего этого останется лишь вечная дружба, в которой я клянусь вам, мой спаситель. Эту дружбу будут чтить наши дети, она будет служить мне вечным напоминанием, что честью моего имени я обязан вам. Если бы кто-нибудь узнал об этом, Бошан, говорю вам, я бы застрелился; или нет, ради моей матери я остался бы жить, но я бы покинул Францию.

– Милый Альбер! – промолвил Бошан.

Но Альбера быстро оставила эта внезапная и несколько искусственная радость, и он впал в еще более глубокую печаль.

– В чем дело? – спросил Бошан. – Скажите, что с вами?

– У меня что-то сломалось в душе, – сказал Альбер. – Знаете, Бошан, не так легко сразу расстаться с тем уважением, с тем доверием, с той гордостью, которую внушает сыну незапятнанное имя отца. Ах, Бошан! Как я встречаюсь теперь с отцом? Отклоню лоб, когда он приблизит к нему губы, отдерну руку, когда он протянет мне свою?.. Знаете, Бошан, я несчастнейший из людей. Несчастливая моя матушка. – Если она знала об этом, как она должна была страдать!

– Крепитесь, мой друг! – сказал Бошан, беря его за руки.

– Но каким образом попала та заметка в вашу газету? – воскликнул Альбер. – За всем этим кроется чья-то ненависть, какой-то невидимый враг.

– Тем более надо быть мужественным, – сказал Бошан. – На вашем лице не должно быть никаких следов волнения; носите это горе в себе, как туча несет в себе погибель и смерть, роковую тайну, которую никто не видит, пока не грянет гроза. Друг, берегите ваши силы для той минуты, когда она грянет.

– Разве вы думаете, что это не конец? – в ужасе спросил Альбер.

– Я ничего не думаю, но в конце концов все возможно. Кстати...

– Что такое? – спросил Альбер, видя, что Бошан колеблется.

– Вы все еще считаетесь женихом мадемуазель Данглар?

– Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас?

– Потому что, мне кажется, вопрос о том, состоится этот брак или нет, связан с тем, что нас сейчас занимает.

– Как! – вспыхнул Альбер, – вы думаете, что Данглар...

– Я вас просто спрашиваю, как обстоит дело с вашей свадьбой. Черт возьми, не выводите из моих слов ничего другого, кроме того, что я в них вкладываю, и не придавайте им такого значения, какого у них нет!

– Нет, – сказал Альбер, – свадьба расстроилась.

– Хорошо, – сказал Бошан.

Потом, видя, что молодой человек снова опечалился, он сказал:

– Знаете, Альбер, послушайтесь моего совета, выйдем на воздух; прокатимся по Булонскому лесу в экипаже или верхом; это вас успокоит; потом заедем куда-нибудь позавтракать, а после каждый из нас пойдет по своим делам.

– С удовольствием, – сказал Альбер, – но только пойдем пешком, я думаю, мне будет полезно немного утомиться.

– Пожалуй, – сказал Бошан.

И друзья вышли и пешком пошли по бульвару. Дойдя до церкви Мадлен, Бошан сказал:

– Слушайте, – раз уж мы здесь, зайдем к графу Монте-Кристо, он развлечет вас; он превосходно умеет отвлекать людей от их мыслей, потому что никогда ни о чем не спрашивает; а, по-моему, люди, которые никогда ни о чем не спрашивают, самые лучшие утешители.

– Пожалуй, – сказал Альбер, – зайдем к нему, я его люблю.

VIII. Путешествие

Монте-Кристо очень обрадовался, увидев, что молодые люди пришли вместе.

– Итак, я надеюсь, все кончено, разъяснено, улажено? – сказал он.

– Да, – отвечал Бошан, – эти нелепые слухи сами собой заглохли; и если бы они снова всплыли, я первый ополчился бы против них. Не будем больше говорить об этом.

– Альбер вам подтвердит, – сказал граф, – что я ему советовал то же самое. Кстати, – прибавил он, – вы застали меня за неприятнейшим занятием.

– А что вы делали? – спросил Альбер. – Приводили в порядок свои бумаги?

– Только не свои, слава богу! Мои бумаги всегда в образцовом порядке, ибо у меня их нет. Я разбирал бумаги господина Кавальканти.

– Кавальканти? – переспросил Бошан.

– Разве вы не знаете, что граф ему покровительствует? – сказал Альбер.

– Вы не совсем правы, – сказал Монте-Кристо, – я никому не покровительствую, и меньше всего Кавальканти.

– Он женится вместо меня на мадемуазель Данглар, каковое обстоятельство, – продолжал Альбер, пытаясь улыбнуться, – как вы сами понимаете, дорогой Бошан, повергает меня в отчаяние.

– Как! Кавальканти женится на мадемуазель Данглар? – спросил Бошан.

– Вы что же, с неба свалились? – сказал Монте-Кристо. – Вы, журналист, возлюбленный Молвы! Весь Париж только об этом и говорит.

– И это вы, граф, устроили этот брак? – спросил Бошан.

– Я? Пожалуйста, господин создатель новостей, не вздумайте распространять подобные слухи! Бог мой! Чтобы я да устраивал чей-нибудь брак? Нет, вы меня не знаете; наоборот, я всячески противился этому; я отказался быть посредником.

– Понимаю, – сказал Бошан, – из-за нашего друга Альбера?

– Только не из-за меня, – сказал Альбер. – Граф не откажется подтвердить, что я, наоборот, давно просил его расстроить эти планы. Граф уверяет, что не его я должен благодарить за это; пусть так, мне придется, как древним, воздвигнуть алтарь неведомому богу.

– Послушание, – сказал Монте-Кристо, – это все так далеко от меня, что я даже нахожусь в натянутых отношениях и с тестем и с женихом; и только мадемуазель Эжени, которая, по-видимому, не имеет особой склонности к замужеству, сохранила ко мне добрые чувства в благодарность за то, что я не старался заставить ее отказаться от дорогой ее свободы.

– И скоро эта свадьба состоится?

– Да, невзирая на все мои предостережения. Я ведь не знаю этого молодого человека; говорят, он богат и из хорошей семьи; но для меня все это только «говорят». Я до тошноты повторял это Данглару, но он без ума от своего итальянца. Я счел даже нужным сообщить ему об одном обстоятельстве, по-моему, еще более важном: этого молодого человека не то подменили, когда он был грудным младенцем, не то его украли цыгане, не то его где-то потерял его

воспитатель, не знаю точно. Но мне доподлинно известно, что его отец ничего о нем не знал десять с лишним лет. Что он делал эти десять лет бродячей жизни, бог весть. Но и это предостережение не помогло. Мне поручили написать майору, попросить его выслать документы: вот они. Я их посылаю Данглерам, но, как Пилат, умываю руки.

– А мадемуазель д'Армильи? – спросил Бошан. – Она не в обиде на вас, что вы отнимаете у нее ученицу?

– Право, не могу вам сказать; но, по-видимому, она уезжает в Италию. Госпожа Данглар говорила со мной о ней и просила у меня рекомендательных писем к итальянским импресарио; я дал ей записку к директору театра Валле, который мне кое-чем обязан. Но что с вами, Альбер? Вы такой грустный; уж не влюблены ли вы, сами того не подозревая, в мадемуазель Данглар? Как будто нет, – сказал Альбер с печальной улыбкой.

Бошан принялся рассматривать картины.

– Во всяком случае, – продолжал Монте-Кристо, – вы не такой, как всегда. Скажите, что с вами?

– У меня мигрень, – сказал Альбер.

– Если так, мой дорогой виконт, – сказал Монте-Кристо, – то я могу предложить вам незаменимое лекарство, которое мне всегда помогает, когда мне не по себе.

– Какое? – спросил Альбер.

– Перемену места.

– Вот как? – сказал Альбер.

– Да. Я и сям сейчас очень не в духе и собираюсь уехать. Хотите, поедem вместе?

– Вы не в духе, граф, – сказал Бошан. – Почему?

– Вам легко говорить; а вот посмотрел бы я на вас, если бы в вашем доме велось следствие!

– Следствие? Какое следствие?

– А как же, сам господин де Вильфор ведет следствие по делу о моем уважаемом убийце, – это какой-то разбойник, бежавший с каторги, по-видимому.

– Ах, да, – сказал Бошан, – я читал об этом в газетах. Кто это такой, этот Кадрусс?

– Какой-то провансалец. Вильфор слышал о нем, когда служил в Марселе, а Данглар даже припоминает, что видел его. Поэтому господин королевский прокурор принял самое горячее участие в этом деле, оно, по-видимому, чрезвычайно заинтересовало и префекта полиции. Благодаря их вниманию, за которое я им как нельзя более признателен, мне уже недели две как приводят на дом всех бандитов, каких только можно раздобыть в Париже и его окрестностях, под тем предлогом, что это убийца Кадрусса. Если так будет продолжаться, через три месяца в славном французском королевстве не останется ни одного жулика, ни одного убийцы, который не знал бы назубок плана моего дома. Мне остается только отдать им его в полное распоряжение и уехать куда глаза глядят. Поедем со мной, виконт!

– С удовольствием.

– Значит, решено?

– Да, но куда же мы едем?

– Я вам уже сказал, туда, где воздух чист, где шум убаюкивает, где, как бы ни был горд человек, он становится смиренным и чувствует свое ничтожество. Я люблю это уничтожение, я, которого, подобно Августу, называют властителем вселенной.

– Но где же это?

– На море, виконт. Я, видите ли, моряк: еще ребенком я засыпал на руках у старого Океана и на груди у прекрасной Амфитриты; я играл его зеленым плащом и ее лазоревыми одеждами; я люблю море, как возлюбленную, и если долго не вижу его, тоскую по нем.

– Поедем, граф!

– На море?

– Да.

– Вы согласны?

– Согласен.

– В таком случае, виконт, у моего крыльца сегодня будет ждать дорожная карета, в которой ехать так же удобно, как в кровати; в нее будут впряжены четыре лошади. Послушайте, Бошан, в моей карете можно очень удобно поместиться вчетвером. Хотите поехать с нами? Я вас приглашаю.

– Благодарю вас, я только что был на море.

– Как, вы были на море?

– Да, почти. Я только что совершил маленькое путешествие на Борромейские острова.

– Все равно, поедем! – сказал Альбер.

– Нет, дорогой Морсер, вы должны понять, что, если я отказываюсь от такой чести, значит, это невозможно. Кроме того, – прибавил он, понизив голос, – сейчас очень важно, чтобы я был в Париже, хотя бы уже для того, чтобы следить за корреспонденцией, поступающей в газет.

– Вы верный друг, – сказал Альбер, – да, вы правы; следите, наблюдайте, Бошан, и постарайтесь открыть врага, который опубликовал это сообщение.

Альбер и Бошан простились; в последнее рукопожатие они вложили все то, чего не могли сказать при постороннем.

– Славный малый этот Бошан! – сказал Монте-Кристо, когда журналист ушел. – Правда, Альбер?

– Золотое сердце, уверяю вас. Я очень люблю его. А теперь скажите, хотя в сущности мне это безразлично, – куда мы отправляемся?

– В Португалию, если вы ничего не имеете против.

– Чудесно. Мы там будем на лоне природы, правда?

Ни общества, ни соседей?

– Мы будем наедине с лошадьми для верховой езды, собаками для охоты и с лодкой для рыбной ловли, вот и все.

– Это то, что мне надо; я предупрежу свою мать, а затем я к вашим услугам.

– А вам разрешат? – спросил Монте-Кристо.

– Что именно?

– Ехать в Нормандию.

– Мне? Да разве я не волен в своих поступках?

– Да, вы путешествуете один, где хотите, это я знаю, ведь мы встретились в Италии.

– Так в чем же дело?

– Но разрешат ли вам уехать с человеком, которого зовут граф Монте-Кристо?

– У вас плохая память, граф.

– Почему?

– Разве я не говорил вам, с какой симпатией моя мать относится к вам?

– Женщины изменчивы, сказал Франциск Первый; женщина подобна волне, сказал Шекспир; один был великий король, другой – великий поэт; и уж, наверно, они оба хорошо знали женскую природу.

– Да, но моя мать не просто женщина, а Женщина.

– Простите, я вас не совсем понял?

– Я хочу сказать, что моя мать скупа на чувства, то уж если она кого-нибудь полюбила, то это на всю жизнь.

– Вот как, – сказал, вздыхая, Монте-Кристо, – и вы полагаете, что она делает мне честь относиться ко мне иначе, чем с полнейшим равнодушием?

– Я вам уже говорил и опять повторяю, – возразил Альбер, – вы, видно, в самом деле очень своеобразный, необыкновенный человек.

– Полно!

– Да, потому что моя матушка не осталась чужда тому, не скажу – любопытству, но интересу, который вы возбуждаете. Когда мы одни, мы только о вас и говорим.

– И она советует вам не доверять этому Манфреду?

– Напротив, она говорит мне: «Альбер, я уверена, что граф благородный человек; постарайся заслужить его любовь».

Монте-Кристо отвернулся и вздохнул.

– В самом деле? – сказал он.

– Так что, вы понимаете, – продолжал Альбер, – она не только не воспротивится моей поездке, но от всего сердца одобрит ее, поскольку это согласуется с ее наставлениями.

– Ну, так до вечера, – сказал Монте-Кристо. – Будьте здесь к пяти часам; мы приедем на место в полночь или в час ночи.

– Как? в Трепор?

– В Трепор или его окрестности.

– Вы думаете за восемь часов проехать сорок восемь лье?

– Это еще слишком долго, – сказал Монте-Кристо.

– Да вы чародей! Скоро вы обгоните не только железную дорогу, – это не так уж трудно, особенно во Франции, – но и телеграф.

– Но так как нам все же требуется восемь часов, чтобы доехать, не опаздывайте.

– Не беспокойтесь, я совершенно свободен – только собраться в дорогу.

– Итак, в пять часов.

– В пять часов.

Альбер вышел. Монте-Кристо с улыбкой кивнул ему головой и постоял молча, погруженный в глубокое раздумье. Наконец, проведя рукой по лбу, как будто отгоняя от себя думы, он подошел к гонгу и ударил по нему два раза.

Вошел Бертуччо.

– Бертуччо, – сказал Монте-Кристо, – не завтра, не послезавтра, как я предполагал, а сегодня в пять часов я уезжаю в Нормандию; до пяти часов у вас времени больше чем достаточно; распорядитесь, чтобы были предупреждены конюхи первой подставы; со мной едет виконт де Морсер. Ступайте.

Бертуччо удалился, и в Понтуаз поскакал верховой предупредить, что карета проедет ровно в шесть часов. Конюх в Понтуазе послал нарочного к следующей подставе, а та в свою очередь дала знать дальше; и шесть часов спустя все подставы, расположенные по пути, были предупреждены.

Перед отъездом граф поднялся к Гайде, сообщил ей, что уезжает, сказал – куда и предоставил весь дом в ее распоряжение.

Альбер явился вовремя. Он сел в карету в мрачном настроении, которое, однако, вскоре рассеялось от удовольствия, доставляемого быстрой ездой. Альбер никогда не представлял себе, чтобы можно было ездить так быстро.

– Во Франции нет никакой возможности передвигаться по дорогам, – сказал Монте-Кристо. – Ужасная вещь эта езда на почтовых, по два лье в час, этот нелепый закон, запрещающий одному путешественнику обгонять другого, не испросив на это его разрешения; какой-нибудь больной или чужак может загородить путь всем остальным здоровым и бодрым людям. Я избегаю этих неудобств, путешествуя с собственным кучером и на собственных лошадях. Верно, Али?

И граф, высунувшись из окна, слегка прикрикивал на лошадей, а у них словно выросли крылья; они уже не мчались – они летели. Карета проносилась, как гром, по Королевской дороге, и все оборачивались, провожая глазами этот сверкающий метеор. Али, слушая эти окрики, улыбался, обнажая свои белые зубы, сжимая своими сильными руками вожжи, и подзадоривал лошадей, пышные гривы которых развевались по ветру. Али, сын пустыни, был в своей стихии и, в белоснежном бурнусе, с черным лицом и сверкающими глазами, окруженный облаком пыли, казался духом самума или богом урагана.

– Вот наслаждение, которого я никогда не знал, – сказал Альбер, – наслаждение быстроты.

И последние тучи, омрачавшие его чело, исчезали, словно уносимые встречным ветром.

– Где вы достаете таких лошадей? – спросил Альбер. – Или вам их делают на заказ?

– Вот именно. Шесть лет тому назад я нашел в Венгрии замечательного жеребца, известного своей резвостью; я его купил уж не помню за сколько; платил Бертуччо. В тот же год он произвел тридцать два жеребенка. Мы с вами сделаем смотр всему потомству этого отца; они все как один, без единого пятнышка, кроме звезды на лбу, потому что этому баловню конского завода выбирали кобыл, как паше выбирают наложниц.

– Восхитительно!.. Но скажите, граф, на что вам столько лошадей?

– Вы же видите, я на них езжу.

– Но ведь не всё время вы ездите?

– Когда они мне больше не будут нужны. Бертуччо продаст их; он утверждает, что наживет на этом тысяч сорок.

– Но ведь в Европе даже короли не так богаты, чтобы купить их.

– В таком случае он продаст их любому восточному владыке, который, чтобы купить их, опустошит свою казну и снова наполнит ее при помощи палочных ударов по пяткам своих подданных.

– Знаете, граф, что мне пришло в голову?

– Говорите.

– Мне думается, что после вас самый богатый человек в Европе это господин Бертуччо.

– Вы ошибаетесь, виконт. Я уверен, если вывернуть карманы Бертуччо, не найдешь и гроша.

– Неужели? – сказал Альбер. – Так ваш Бертуччо тоже чудо? Не заводите меня так далеко в мир чудес, дорогой граф, не то, предупреждаю, я перестану вам верить.

– У меня нет никаких чудес, Альбер; цифры и здравый смысл – вот и все. Вот вам задача: управляющий ворует, но почему он ворует?

– Такова его природа, мне кажется, – сказал Альбер, – он ворует потому, что не может не воровать.

– Вы ошибаетесь: он ворует потому, что у него есть жена, дети, потому что он хочет упрочить положение свое и своей семьи, а главное, он не уверен в том, что никогда не расстанется со своим хозяином, и хочет обеспечить свое будущее. А Бертуччо один на свете; он распоряжается моим кошельком, не преследуя личного интереса; он уверен, что никогда не расстанется со мной.

– Почему?

– Потому что лучшего мне не найти.

– Вы вертитесь в заколдованном кругу, в кругу вероятностей.

– Нет, это уверенность. Для меня хороший слуга тот, чья жизнь и смерть в моих руках.

– А жизнь и смерть Бертуччо в ваших руках? – спросил Альбер.

– Да, – холодно ответил Монте-Кристо.

Есть слова, которые замыкают беседу, как железная дверь. Именно так прозвучало «да» графа.

Дальнейший путь совершался с такой же скоростью; тридцать две лошади, распределенные на восемь подстав, пробежали сорок восемь лье в восемь часов.

В середине ночи подъехали к прекрасному парку. Привратник стоял у распахнутых ворот. Он был предупрежден конюхом последней подставы.

Был второй час. Альбера провели в его комнаты. Его ждала ванна и ужин. Лакей, который ехал на запятках кареты, был к его услугам; Батистен, ехавший на козлах, был к услугам графа.

Альбер принял ванну, поужинал и лег спать. Всю ночь его баюкал меланхоличный шум прибора. Встав с постели, он распахнул стеклянную дверь и очутился на маленькой террасе; впереди открывался вид на море, то есть на бесконечность, а сзади – на прелестный парк, примыкающий к роще.

В небольшой бухте покачивался на волнах маленький корвет с узким килем и стройным рангоутом; на гафеле развевался флаг с гербом Монте-Кристо: золотая гора на лазоревом море, увенчанная червленим крестом; это могло быть иносказанием имени Монте-Кристо, напоминающего о Голгофе, которую страсти Спасителя сделали горой более драгоценной, чем золото, и о позорном кресте, освященном его божественной кровью, но могло быть и намеком на личную драму, погребенную в неведомом прошлом этого загадочного человека.

Вокруг корвета покачивались несколько шхун, принадлежавших рыбакам соседних деревень и казавшихся смиренными подданными, ожидающими повелений своего короля.

Здесь, как и повсюду, где хоть на два дня останавливался Монте-Кристо, жизнь была налажена с величайшим комфортом; так что она с первой же секунды становилась легкой и приятной.

Альбер нашел в своей прихожей два ружья и все необходимые охотничьи принадлежности. Одна из комнат в первом этаже была отведена под хитроумные снаряды, которые англичане – великие рыболовы, ибо они терпеливы и праздны, – все еще не могут ввести в обиход старозаветных французских удильщиков.

Весь день прошел в этих разнообразных развлечениях, в которых Монте-Кристо не имел себе равного: подстрелили в парке с десятка фазанов, наловили в ручье столько же форелей, пообедали в беседке, выходящей на море, и пили чай в библиотеке.

К вечеру третьего дня Альбер, совершенно разбитый этим времяпрепровождением, казавшимся Монте-Кристо детской забавой, спал в кресле у окна, в то время как граф вместе со своим архитектором составлял план оранжереи, которую он собирался устроить в своем доме. Вдруг послышался стук копыт по каменистой дороге, и Альбер поднял голову: он посмотрел в окно и с

чрезвычайно неприятным изумлением увидел на дороге своего камердинера, которого он не взял с собой, чтобы не доставлять Монте-Кристо лишних хлопот.

– Это Флорантен! – воскликнул он, вскакивая с кресла. – Неужели матушка захворала?

И он бросился к двери.

Монте-Кристо проводил его глазами и видел, как он подбежал к камердинеру и как тот, с трудом переводя дух, вытащил из кармана небольшой запечатанный пакет. В этом пакете были газета и письмо.

– От кого письмо? – быстро спросил Альбер.

– От господина Бошана... – ответил Флорантен.

– Так это Бошан прислал вас?

– Да, сударь. Он вызвал меня к себе, дал мне денег на дорогу, достал мне почтовую лошадь и взял с меня слово, что я без промедлений доставлю вам пакет. Я сделал весь путь в пятнадцать часов.

Альбер с трепетом вскрыл письмо. Едва он прочел первые строчки, как с его губ сорвался крик, и он, весь дрожа, схватился за газету.

Вдруг в глазах у него потемнело, он зашатался и упал бы, если бы Флорантен не поддержал его.

– Бедный юноша! – прошептал Монте-Кристо так тихо, что сам не мог услышать своих слов. – Верно, что грехи отцов падают на детей до третьего и четвертого колена.

Тем временем Альбер собрался с силами и стал читать дальше; потом, откинув волосы с вспотевшего лба, он скомкал письмо и газету.

– Флорантен, – сказал он, – может ваша лошадь проделать обратный путь в Париж?

– Это разбитая почтовая кляча.

– Боже мой! А что было дома, когда вы уезжали?

– Все было довольно спокойно; но когда я вернулся от господина Бошана, я застал графиню в слезах; она послала за мной, чтобы узнать, когда вы возвращаетесь. Тогда я ей сказал, что еду за вами по поручению господина Бошана. Сперва она протянула было руку, словно хотела остановить меня, но, подумав, сказала: «Поезжайте, Флорантен, пусть он возвращается».

– Будь спокойна, – сказал Альбер, – я вернусь, и – горе негодяю!.. Но прежде всего – надо уехать.

И он вернулся в комнату, где его ждал Монте-Кристо.

Это был уже не тот человек; за пять минут он неузнаваемо изменился: голос его стал хриплым, лицо покрылось красными пятнами, глаза горели под припухшими веками, походка стала нетвердой, как у пьяного.

– Граф, – сказал он, – благодарю вас за ваше милое гостеприимство, которым я был бы рад и дольше воспользоваться, но мне необходимо вернуться в Париж.

– Что случилось?

– Большое несчастье; разрешите мне уехать, дело идет о том, что мне дороже жизни. Не спрашивайте ни о чем, умоляю вас, но дайте мне лошадь!

– Мои конюшни к вашим услугам, виконт, – сказал Монте-Кристо, – но вы измучаетесь, если проедете весь путь верхом, возьмите коляску, карету, любой экипаж.

– Нет, это слишком долго; и я не боюсь усталости, напротив, она мне поможет.

Альбер сделал несколько шагов, шатаясь, словно пораженный пулей, и упал на стул у самой двери.

Монте-Кристо не видел этого второго приступа слабости; он стоял у окна и кричал:

– Али, лошадь для виконта! Живее, он спешит!

Эти слова вернули Альбера к жизни; он выбежал из комнаты, граф последовал за ним.

– Благодарю вас! – прошептал Альбер, вскакивая в седло. – Возвращайтесь как можно скорее, Флорантен. Нужен ли какой-нибудь пароль, чтобы мне давали лошадей?

– Вы просто отдадите ту, на которой скачете; вам немедленно оседлают другую.

Альбер уже собирался пустить лошадь вскачь, но остановился.

– Быть может, вы сочтете мой отъезд странным, нелепым, безумным, – сказал он. – Вы не знаете, как могут несколько газетных строк довести человека до отчаяния. Вот, прочтите, – прибавил он, бросая графу газету, – но только когда я уеду, чтобы вы не видели, как я краснею.

Он всадил шпоры, которые успели прицепить к его ботфортам, в бока лошади, и та, удивленная, что нашелся седок, считающий, будто она нуждается в понукании, помчалась, как стрела, пущенная из арбалета.

Граф проводил всадника глазами, полными бесконечного сочувствия, и, только после того как он окончательно исчез из виду, перевел свой взгляд на газету и прочел:

«Французский офицер на службе у Али, янинского паши, о котором говорила три недели тому назад газета «Беспристрастный голос» и который не только сдал замки Янины, по и продал своего благодетеля туркам, назывался в то время действительно Фернан, как сообщил наш уважаемый коллега; но с тех пор он успел прибавить к своему имени дворянский титул и название поместья.

В настоящее время он носит имя графа де Морсер и заседает в Палате пэров».

Таким образом, эта ужасная тайна, которую Бошан хотел так великодушно скрыть, снова встала, как призрак, во всеоружии, и другая газета, кем-то безжалостно осведомленная, напечатала на третий день после отъезда Альбера в Нормандию те несколько строк, которые чуть не свели с ума несчастного юношу.

IX. Суд

В восемь часов утра Альбер, как вихрь, ворвался к Бошану. Камердинер был предупрежден и провел Морсера в комнату своего господина, который только что принял ванну.

– Итак? – спросил Альбер.

– Итак, мой бедный друг, – ответил Бошан, – я ждал вас.

– Я здесь. Излишне говорить, Бошан, что я уверен в вашей доброте и благородстве и не допускаю мысли, что вы кому-нибудь рассказали об этом. Кроме того, вы меня вызвали сюда, это лишнее доказательство вашей дружбы. Поэтому не станем терять времени на лишние разговоры; вы имеете представление о том, от кого исходит удар?

– Я вам сейчас кое-что сообщу.

– Да, но сначала вы должны изложить мне во всех подробностях, что здесь произошло.

И Бошан рассказал подавленному горем и стыдом Альберу следующее.

Заметка появилась третьего дня утром не в «Беспристрастном голосе», а в другой газете, к тому же правительственной. Бошан сидел за завтраком, когда увидел эту заметку; он помедля послал за кабриолетом и, не кончив завтрака, поспешил в редакцию.

Хотя политические взгляды Бошана и были совершенно противоположны тем, которых придерживался редактор этой газеты, он, как случается подчас и даже нередко, был его закадычным другом.

Когда он вошел, редактор держал в руках номер собственной галеты и с явным удовольствием читал передовую о свекловичном сахаре, им же, по-видимому, и сочиненную.

– Я вижу у вас в руках номер вашей газеты, дорогой мой, – сказал Бошан, – значит, незачем объяснять, почему я к вам пришел.

– Неужели вы сторонник тростникового сахара? – спросил редактор правительственной газеты.

– Нет, – отвечал Бошан, – этот вопрос меня нимало не занимает; я пришел совсем по другому поводу.

– А по какому?

– По поводу заметки о Морсере.

– Ах, вот что; правда, это любопытно?

– Настолько любопытно, что это пахнет обвинением в диффамации, и еще неизвестно, каков будет исход процесса.

– Отнюдь нет: одновременно с заметкой мы получили и все подтверждающие ее документы, и мы совершенно уверены, что Морсер промолчит. К тому же мы оказываем услугу родине, избличая негодяев, недостойных той чести, которую им оказывают.

Бошан смутился.

– Но кто же вас так хорошо осведомил? – спросил он. – Ведь моя газета первая заговорила об этом, но была вынуждена умолкнуть за неимением доказательств; между тем мы больше вашего заинтересованы в разоблачении Морсера, потому что он пэр Франции, а мы поддерживаем оппозицию.

– Все очень просто; мы вовсе и не гонялись за сенсацией, она сама свалилась на нас. Вчера к нам явился человек из Янины с обличительными документами; мы не решались выступить с обвинением, но он заявил нам, что в случае нашего отказа статья появится в другой газете. Вы сами знаете, Бошан, что значит интересное сообщение; нам не хотелось упускать случая. Теперь удар нанесен; он сокрушителен и отзовется эхом во всей Европе.

Бошан понял, что ему остается только склонить голову, и вышел в полном отчаянии, решив послать гонца к Альберу.

Но он не мог написать Альберу о событиях, которые разыгрались уже после отъезда гонца. В тот же день в Палате пэров царило большое возбуждение, охватившее всех членов обычно столь спокойного высокого собрания. Все явились чуть ли не раньше назначенного времени и толковали между собой о злосчастном происшествии, которое неизбежно должно было привлечь общественное внимание к одному из наиболее видных членов Верхней палаты.

Одни вполголоса читали и обсуждали заметку, другие обменивались воспоминаниями, которые подтверждали сообщенные факты. Граф де Морсер не пользовался любовью своих коллег. Как все выскочки, он старался поддержать свое достоинство при помощи крайнего высокомерия. Подлинные аристократы смеялись над ним; люди одаренные пренебрегали им; прославленные воины с незапятнанным именем инстинктивно его презирали. Графу грозила горькая участь искупительной жертвы. На него указал перст всевышнего, и все готовы были требовать заклятия.

Только сам граф де Морсер ничего не знал. Он не получал газеты, где было напечатано позорящее сообщение, и все утро писал письма, а потом испытывал новую лошадь.

Итак, он прибыл в обычное время с высоко поднятой головой, надменным взглядом и горделивой осанкой, вышел из своей кареты, прошел по коридорам и вошел в залу, не замечая смущения курьеров и небрежных поклонов своих коллег.

Когда Морсер вошел, заседание уже началось.

Хотя граф, не зная, как мы уже сказали, о том, что произошло, держался так же, как всегда, но выражение его лица и его походка показались всем еще более надменными, чем обычно, и его появление в этот день представилось столь дерзким этому ревниво оберегающему свою честь собранию, что все усмотрели в этом непристойность, иные – вызов, а кое-кто – оскорбление.

Было очевидно, что вся палата горит желанием приступить к прениям.

Изобличающая газета была в руках у всех, но, как всегда бывает, никто не решался взять на себя ответственность и выступить первым. Наконец один из самых почтенных пэров, открытый противник графа де Морсер, поднялся на трибуну с торжественностью, возвещавшей, что наступила долгожданная минута.

Воцарилось зловещее молчание; один только Морсер не подозревал о причине того глубокого внимания, с которым на этот раз встретили оратора, не пользовавшегося обычно такой благосклонностью своих слушателей.

Граф спокойно пропустил мимо ушей вступление, в котором оратор заявлял, что он будет говорить о предмете, столь серьезном, столь священном и жизненном для Палаты, что он просит своих коллег выслушать его с особым вниманием.

Но при первых же его словах о Янине и полковнике Фернанде граф де Морсер так страшно побледнел, что трепет пробежал по рядам, и все присутствующие впились глазами в графа.

Душевные раны незримы, но они никогда не закрываются; всегда мучительные, всегда кровоточащие, они вечно остаются разверстыми в глубинах человеческой души.

Среди гробовой молчания оратор прочитал вслух заметку. Раздался приглушенный ропот, тотчас же прекратившийся, как только обличитель вновь заговорил. Он начал с того, что объяснил всю тяжесть взятой им на себя задачи: дело идет о чести графа де Морсер, о чести всей Палаты, и ради того, чтобы оградить их, он и открывает прения, во время которых придется коснуться личных, а потому всегда жгучих, вопросов. В заключение он потребовал назначить расследование и произвести его с возможной быстротой, дабы в самом корне пресечь клевету и восстановить доброе имя графа де Морсер, отомстив за оскорбление, нанесенное лицу, так высоко стоящему в общественном мнении.

Морсер был так подавлен, так потрясен этим безмерным и неожиданным бедствием, что едва мог пробормотать несколько слов, устремив на своих коллег помутившийся взор. Это смущение, которое, впрочем, могло иметь своим источником как изумление невинного, так и стыд виновного, вызвало некоторое сочувствие к нему. Истинно великодушные люди всегда готовы проявить сострадание, если несчастье их врага превосходит их ненависть.

Председатель поставил вопрос на голосование, и было постановлено произвести расследование.

Графа спросили, сколько ему потребуется времени, чтобы подготовиться к защите.

Морсер успел несколько оправиться после первого удара, и к нему вернулось самообладание.

– Господа пэры, – ответил он, – что значит время, когда нужно отразить нападение неведомых врагов, скрывающихся в тени собственной гнусности; немедленно, громовым ударом должен я ответить на эту молнию, на миг ослепившую меня; почему мне не дано вместо словесных оправданий пролить свою кровь, чтобы доказать моим собратьям, что я достоин быть в их рядах!

Эти слова произвели благоприятное впечатление.

– Поэтому я прошу, – продолжал Морсер, – чтобы расследование было произведено как можно скорее, и представлю Палате все необходимые документы.

– Какой день угодно вам будет назначить? – спросил председатель.

– С сегодняшнего дня я отдаю себя в распоряжение Палаты, – отвечал граф.

Председатель позвонил.

– Угодно ли Палате, чтобы расследование состоялось сегодня же?

– Да, – был единодушный ответ собрания.

Выбрали комиссию из двенадцати человек для рассмотрения документов, которые представит Морсер. Первое заседание этой комиссии было назначено на восемь часов вечера, в помещении Палаты. Если бы потребовалось несколько заседаний, то они должны были происходить там же, в то же время. Как только было принято это постановление, Морсер попросил разрешения удалиться: ему необходимо было собрать документы, давно уже подготовленные им с присущей ему хитростью и коварством, ибо он всегда предвидел возможность подобной катастрофы.

Бошан рассказал все это Альберу.

Альбер слушал его, дрожа то от гнева, то от стыда; он не смел надеяться, ибо после поездки Бошана в Янину знал, что отец его виновен, и не понимал, как мог бы он доказать свою невиновность.

– А дальше? – спросил он, когда Бошан умолк.

– Дальше? – повторил Бошан.

– Да.

– Друг мой, это слово налагает на меня ужасную обязанность. Вы непременно хотите знать, что было дальше?

– Я должен знать, и пусть уж лучше я узнаю об этом от вас, чем от кого-либо другого.

– В таком случае, – сказал Бошан, – соберите все свое мужество, Альбер; никогда еще оно вам не было так нужно.

Альбер провел рукой по лбу, словно пробуя собственные силы, как человек, намеревающийся защищать свою жизнь, проверяет крепость своей кольчуги и сгибает лезвие шпаги.

Он почувствовал себя сильным, потому что принимал за энергию свое лихорадочное возбуждение.

– Говорите, – сказал он.

– Наступил вечер, – продолжал Бошан. – Весь Париж ждал, затаив дыхание. Многие утверждали, что вашему отцу стоит только показаться, и обвинение рухнет само собой; другие говорили, что ваш отец совсем не явится; были и такие, которые утверждали, будто видели, как он уезжал в Брюссель, а кое-кто даже справлялся в полиции, верно ли, что он выправил себе паспорт.

Я должен вам признаться, что сделал все возможное, чтобы уговорить одного из членов комиссии, молодого пэра, провести меня в залу. Он заехал за мной в семь часов и, прежде чем кто-либо явился, передал меня курьеру, который и запер меня в какой-то ложе. Я был скрыт за колонной и окутан полнейшим мраком; я мог надеяться, что увижу и услышу от слова до слова предстоящую ужасную сцену.

Ровно в восемь все были в сборе.

Господин де Морсер вошел с последним ударом часов. В руках у него были какие-то бумаги, и он казался вполне спокойным; вопреки своему обыкновению, держался он просто, одет был изысканно и строго и, по обычаю старых военных, застегнут на все пуговицы.

Его появление произвело наилучшее впечатление: члены комиссии были настроены отнюдь не недоброжелательно, и кое-кто из них подошел к графу и пожал ему руку.

Альбер чувствовал, что все эти подробности разрывают ему сердце, а между тем к его мукам примешивалась и доля признательности; ему хотелось обнять этих людей, выказавших его отцу уважение в час тяжелого испытания.

В эту минуту вошел курьер и подал председателю письмо.

«Слово принадлежит вам, господин де Морсер», – сказал председатель, распечатывая письмо.

– Граф начал свою защитительную речь, и, уверяю вас, Альбер, – продолжал Бошан, – она была построена необычайно красноречиво и искусно. Он представил документы, удостоверяющие, что визирь Янины до последней минуты доверял ему всецело и поручил ему вести с самим султаном переговоры, от которых зависела его жизнь или смерть. Он показал перстень, знак власти, которым Али-паша имел обыкновение запечатывать свои письма и который он дал графу, чтобы тот по возвращении мог к нему проникнуть в любое время дня или ночи, даже в самый гарем. К несчастью, сказал он, переговоры не увенчались успехом, и когда он вернулся, чтобы защитить своего благодетеля, то нашел его уже мертвым. Но, – сказал граф, – перед смертью Али-паша, – так велико было его доверие, – поручил ему свою любимую жену и дочь.

Альбер вздрогнул при этих словах, потому что, по мере того как говорил Бошан, в его уме вставал рассказ Гайде, и он вспоминал всё, что рассказывала прекрасная гречанка об этом поручении, об этом перстне и о том, как она была продана и уведена в рабство.

– И какое впечатление произвела речь графа? – с тревогой спросил Альбер.

– Сознаюсь, она меня тронула и всю комиссию также, – сказал Бошан.

– Тем временем председатель стал небрежно проглядывать только что переданное ему письмо; но с первых же строк оно приковало к себе его внимание; он прочел его, перечел еще раз и остановил взгляд на графе де Морсер.

«Граф, – сказал он, – вы только что сказали нам, что визирь Янины поручил вам свою жену и дочь?»

«Да, сударь, – отвечал Морсер, – но и в этом, как и во всем остальном, меня постигла неудача. Когда я возвратился, Василики и ее дочь Гайде уже исчезли».

«Вы знали их?»

«Благодаря моей близости к паше и его безграничному доверию ко мне я не раз видел их».

«Имеете ли вы представление о том, что с ними случилось?»

«Да, сударь. Я слышал, что они не вынесли своего горя, а может быть и бедности. Я не был богат, жизнь моя вечно была в опасности, и я, к великому моему сожалению, не имел возможности разыскивать их».

Председатель нахмурился.

«Господа, – сказал он, – вы слышали объяснение графа де Морсер. Граф, можете ли вы в подтверждение ваших слов сослаться на каких-нибудь свидетелей?»

«К сожалению, нет, – отвечал граф, – все те, кто окружал визиря и встречал меня при его дворе, либо умерли, либо рассеялись по лицу земли; насколько я знаю, я единственный из всех моих соотечественников пережил эту ужасную войну; у меня есть только письма Али-Тебелина, и я представил их вам; у меня есть лишь перстень, знак его воли, вот он; у меня есть еще самое убедительное доказательство, а именно, что после анонимного выпада не появилось ни одного свидетельства, которое можно было бы противопоставить моему слову честного человека и, наконец, моя незапятнанная военная карьера».

По собранию пробежал шепот одобрения; в эту минуту, Альбер, не случись ничего неожиданного, честь вашего отца была бы спасена.

Оставалось только голосовать, но тут председатель взял слово.

«Господа, – сказал он, – и вы, граф, были бы рады, я полагаю, выслушать весьма важного, как он уверяет, свидетеля, который сам пожелал дать показания; после всего того, что нам сказал граф, мы не сомневаемся, что этот свидетель только подтвердит полнейшую невиновность нашего коллеги. Вот письмо, которое я только что получил; желаете ли вы, чтобы я его вам прочел, или вы примете решение не оглашать его и не задерживаться на этом?»

Граф де Морсер побледнел и так стиснул бумаги, что они захрустели под его пальцами.

Комиссия постановила заслушать письмо; граф глубоко задумался и не выразил своего мнения.

Тогда председатель огласил следующее письмо:

«Господин председатель!

Я могу представить следственной комиссии, призванной расследовать поведение генерал-лейтенанта графа де Морсер в Эпире и Македонии, самые точные сведения».

Председатель на секунду замолк.

Граф де Морсер побледнел; председатель окинул слушателей вопросительным взглядом.

«Продолжайте!» – закричали со всех сторон.

Председатель продолжал:

«Али-паша умер при мне, и на моих глазах протекли его последние минуты; я знаю, какая судьба постигла Василики и Гайде; я к услугам комиссии и даже прошу оказать мне честь и выслушать меня. Когда вам вручат это письмо, я буду находиться в вестибюле Палаты».

«А кто этот свидетель, или, вернее, этот враг?» – спросил граф изменившимся голосом.

«Мы это сейчас узнаем, – отвечал председатель. – Угодно ли комиссии выслушать этого свидетеля?»

«Да, да!» – в один голос отвечали все.

Позвали курьера.

«Дождется ли кто-нибудь в вестибюле?» – спросил председатель.

«Да, господин председатель».

«Кто?»

«Женщина, в сопровождении слуги».

Все переглянулись.

«Пригласите сюда эту женщину», – сказал председатель.

Пять минут спустя курьер вернулся; все глаза были обращены на дверь, и я также, – прибавил Бошан, – разделял общее напряженное ожидание.

Позади курьера шла женщина, с головы до ног закутанная в покрывало. По неясным очертаниям фигуры и по запаху духов под этим покрывалом угадывалась молодая и изящная женщина.

Председатель попросил незнакомку приоткрыть покрывало, и глазам присутствующих предстала молодая девушка, одетая в греческий костюм; она была необычайно красива.

– Это она! – сказал Альбер.

– Кто она?

– Гайде.

– Кто вам сказал?

– Увы, я догадываюсь. Но продолжайте, Бошан, прошу вас. Вы видите, я спокоен и не теряю присутствия духа, хотя мы, вероятно, приближаемся к развязке.

– Господин де Морсер глядел на эту девушку с изумлением и ужасом, – продолжал Бошан. – Слова, готовые слететь с этих прелестных губ, означали для него жизнь или смерть; остальные были так удивлены и заинтересованы появлением незнакомки, что спасение или гибель господина де Морсер уже не столь занимали их мысли.

Председатель предложил девушке сесть, но она покачала головой. Граф же упал в свое кресло; ноги явно отказывались служить ему.

«Сударыня, – сказал председатель, – вы писали комиссии, что желаете сообщить сведения о событиях в Янине, и заявляли, что были свидетельницей этих событий».

«Это правда», – отвечала незнакомка с чарующей грустью и той мелодичностью голоса, которая отличает речь всех жителей Востока.

«Однако, – сказал председатель, – разрешите мне вам заметить, что вы были тогда слишком молоды».

«Мне было четыре года; но, так как для меня это были события необычайной важности, то я не забыла ни одной подробности, ни одна мелочь не изгладилась из моей памяти».

«Но чем же были важны для вас эти события и кто вы, что эта катастрофа произвела на вас такое глубокое впечатление?»

«Дело шло о жизни или смерти моего отца, – отвечала девушка, – я Гайде, дочь Али-Тебелия, янинского паши, и Василики, его любимой жены».

Скромный и в то же время горделивый румянец, заливший лицо девушки, ее огненный взор и величавость ее слов произвели невыразимое впечатление на собрание.

Граф де Морсер с таким ужасом смотрел на нее, словно пропасть внезапно разверзлась у его ног.

«Сударыня, – сказал председатель, почтительно ей поклонившись, – разрешите мне задать вам один вопрос, отнюдь не означающий с моей стороны сомнения, и это будет последний мой вопрос: можете ли вы подтвердить ваше заявление?»

«Да, могу, – отвечала Гайде, вынимая из складок своего покрывала благовонный атласный мешочек, – вот свидетельство о моем рождении, составленное моим отцом и подписанное его военачальниками; вот свидетельство о моем крещении, ибо мой отец дал свое согласие на то, чтобы я воспитывалась в вере моей матери; на этом свидетельстве стоит печать великого примаса Македонии и Эпира; вот, наконец (и это, вероятно, самый важный документ), свидетельство о продаже меня и моей матери армянскому купцу Эль-Коббиру французским офицером, который в своей гнусной сделке с Портой выговорил себе, как долю добычи, жену и дочь своего благодетеля и продал их за тысячу кошельков, то есть за четыреста тысяч франков».

Лицо графа покрылось зеленоватой бледностью, а глаза его налились кровью, когда раздались эти ужасные обвинения, которые собрание выслушало в зловещем молчании.

Гайде, все такая же спокойная, но более грозная в своем спокойствии, чем была бы другая в гневе, протянула председателю свидетельство о продаже, составленное на арабском языке.

Так как считали возможным, что некоторые из предъявленных документов могут оказаться составленными на арабском, новогреческом или турецком языке, то к заседанию был вызван переводчик, состоявший при Палате; за ним послали.

Один из благородных пэров, которому был знаком арабский язык, изученный им во время великого египетского похода, следил глазами за чтением пергамента, в то время как переводчик оглашал его вслух:

«Я, Эль-Коббир, торговец невольниками и поставщик гарема его величества султана, удостоверяю, что получил от франкского вельможи графа Монте-Кристо, для вручения падишаху, изумруд, оцененный в две тысячи кошельков, как плату за молодую невольницу-христианку, одиннадцати лет от роду, но имени Гайде, признанную дочь покойного Али-Тебелина, яинского паши, и Василики, его любимой жены, каковая была мне продана, тому семь лет, вместе со своей матерью, умершей при прибытии ее в Константинополь, франкским полковником, состоявшим на службе у визиря Али-Тебелина, по имени Фернан Мондего.

Вышеупомянутая покупка была мною совершена за счет его величества султана и по его уполномочию за тысячу кошельков.

Составлено в Константинополе, с дозволения его величества, в год 1247 гиджры.

Подписано: Эль-Коббир.

Настоящее свидетельство, для вящего удостоверения его истинности, непреложности и подлинности, будет снабжено печатью его величества, наложение каковой продавец обязуется исходатайствовать».

Рядом с подписью торговца действительно стояла печать падишаха.

За этим чтением и за этим зрелищем последовало гробовое молчание; все, что было живого в графе, сосредоточилось в его глазах, и эти глаза, как бы помимо его воли прикованные к Гайде, пылали огнем и кровью.

«Сударыня, – сказал председатель, – не можем ли мы попросить разъяснений у графа Монте-Кристо, который, насколько мне известно, вместе с вами находится в Париже?»

«Сударь, граф Монте-Кристо, мой второй отец, уже три дня как уехал в Нормандию».

«Но в таком случае, сударыня, – сказал председатель, – кто подал вам мысль сделать ваше заявление, за которое Палата приносит вам благодарность? Впрочем, принимая во внимание ваше рождение и перенесенные вами несчастья, ваш поступок вполне естествен».

«Сударь, – отвечала Гайде, – этот поступок внушили мне почтение к мертвым и мое горе. Хоть я и христианка, но, да простит мне бог, я всегда мечтала отомстить за моего доблестного отца. И с тех пор как я ступила на французскую землю, с тех пор как я узнала, что предатель живет в Париже, мои глаза и уши были всегда открыты. Я веду уединенную жизнь в доме моего благородного покровителя, но я живу так потому, что люблю тень и тишину, которые позволяют мне жить наедине со своими мыслями. Но граф Монте-Кристо окружает меня отеческими заботами, и ничто в жизни мира не чуждо мне; правда, я беру от нее только отголоски. Я читаю все газеты, получаю все журналы, знаю новую музыку; и вот, следя, хоть и со стороны, за жизнью других людей, я узнала, что произошло сегодня утром в Палате пэров и что должно было произойти сегодня вечером... Тогда я написала письмо».

«И граф Монте-Кристо не знает о вашем поступке?» – спросил председатель.

«Ничего не знает, и я даже опасаясь, что он его не одобрит, когда узнает; а между тем это великий для меня день, – продолжала девушка, подняв к небу взор, полный огня, – день, когда я, наконец, отомстила за своего отца!»

Граф за все это время не произнес ни слова; его коллеги не без участия смотрели на этого человека, чья жизнь разбилась от благовонного дыхания женщины; несчастье уже чертило зловещие знаки на его челе.

«Господин де Морсер, – сказал председатель, – признаете ли вы в этой девушке дочь Али-Тебелина, янинского паши?»

«Нет, – сказал граф; с усилием вставая, – все это лишь козни моих врагов».

Гайде, не отрывавшая глаз от двери, словно она ждала кого-то, быстро обернулась и, увидя графа, страшно вскрикнула.

«Ты не узнаешь меня, – воскликнула она, – но зато я узнаю тебя! Ты Фернан Мондего, французский офицер, обучавший войска моего благородного отца. Это ты предал замки Янины! Это ты, отправленный им в Константинополь, чтобы договориться с султаном о жизни или смерти твоего благодетеля, привез подложный фирман о полном помиловании! Ты, благодаря этому фирману, получил перстень паши, чтобы заставить Селима, хранителя огня, повиноваться тебе! Ты зарезал Селима. Ты продал мою мать и меня купцу Эль-Коббиру! Убийца! Убийца! Убийца! На лбу у тебя до сих пор кровь твоего господина! Смотрите все!»

Эти слова были произнесены с таким страстным убеждением, что все глаза обратились на лоб графа, и он сам поднес к нему руку, точно чувствовал, что он влажен от крови Али.

«Вы, значит, утверждаете, что вы узнали в графе де Морсер офицера Фернана Мондего?»

«Узнаю ли я его! – воскликнула Гайде. – Моя мать сказала мне: «Ты была свободна; у тебя был отец, который тебя любил, ты могла бы стать почти королевой! Вглядишься в этого человека, это он сделал тебя рабыней, он надел на копье голову твоего отца, он продал нас, он нас выдал! Посмотри на его правую руку, на ней большой рубец; если ты когда-нибудь забудешь его лицо, ты узнаешь его по этой руке, в которую отсчитал червонцы купец Эль-Коббир!» Узнаю ли я его! Пусть он посмеет теперь сказать, что он меня не узнает!»

Каждое слово обрушивалось на графа, как удар ножа, лишая его остатка сил; при последних словах Гайде он невольно спрятал на груди свою руку, действительно искалеченную раной, и упал в кресло, сраженный отчаянием.

От виденного и слышанного мысли присутствующих закружились вихрем, как опавшие листья, подхваченные могучим дыханием северного ветра.

«Граф де Морсер, – сказал председатель, – не поддавайтесь отчаянию, отвечайте; перед верховным правосудием Палаты все равны, как и перед господним судом; оно не позволит вашим врагам раздавить вас, не дав вам возможности сразиться с ними. Может быть, вы желаете нового расследования? Желаете, чтобы я послал двух членов Палаты в Янину? Говорите!»

Граф ничего не ответил.

Тогда члены комиссии с ужасом переглянулись. Все знали властный и непреклонный нрав генерала. Нужен был страшный упадок сил, чтобы этот человек перестал обороняться; и все думали, что за этим безмолвием, похожим на сон, последует пробуждение, подобное грозе.

«Ну, что же, – сказал председатель, – что вы решаете?»

«Ничего», – глухо ответил граф, поднимаясь с места.

«Значит, дочь Али-Тебелина действительно сказала правду? – спросил председатель. – Значит, она и есть тот страшный свидетель, которому виновный не смеет ответить «нет»? Значит, вы действительно совершили все, в чем вас обвиняют?»

Граф обвел окружающих взглядом, отчаянное выражение которого разжалобило бы тигров, но не могло смягчить судей; затем он поднял глаза вверх, но сейчас же опустил их, как бы страшась, что своды разверзнутся и явят во всем его блеске другое, небесное судилище, другого, всевышнего судью.

И вдруг резким движением он разорвал душивший его воротник и вышел из залы в мрачном безумии; его шаги зловеще отдались под сводами, и вслед за тем грохот кареты, вскачь уносившей его, потряс колонны флорентийского портика.

«Господа, – сказал председатель, когда воцарилась тишина, – виновен ли граф де Морсер в вероломстве, предательстве и бесчестии?»

«Да!» – единогласно ответили члены следственной комиссии.

Гайде оставалась до конца заседания; она выслушала приговор графу, и ни одна черта ее лица не выразила ни радости, ни сострадания.

Потом, опустив покрывало на лицо, она величаво поклонилась членам собрания и вышла той поступью, которой Virgilius наделял богинь.

Х. Вызов

– Я воспользовался общим молчанием и темнотой залы, чтобы выйти незамеченным, – продолжал Бошан. – У дверей меня ждал тот самый курьер, который отворил мне ложу. Он довел меня по коридорам до маленькой двери, выходящей на улицу Вожирар. Я вышел истерзанный и в то же время восхищенный, – простите меня, Альбер, – истерзанный за вас, восхищенный благородством этой девушки, мстящей за своего отца. Да, клянусь, Альбер, откуда бы ни шло это разоблачение, я скажу одно: быть может, оно исходит от врага, но этот враг только орудие провидения.

Альбер сидел, уронив голову на руки; он поднял лицо, пылающее от стыда и мокрое от слез, и схватил Бошана за руку.

– Друг, – сказал он, – моя жизнь кончена; мне остается не повторять, конечно, вслед за вами, что этот удар мне нанесло провидение, а искать человека, который преследует меня своей ненавистью; когда я его найду, я его убью, или он убьет меня; и я рассчитываю на вашу дружескую помощь, Бошан, если только презрение не изгнало дружбу из вашего сердца.

– Презрение, друг мой? Чем вы виноват в этом несчастье? Нет, слава богу, прошли те времена, когда несправедливый предрассудок заставлял сыновей отвечать за действия отцов. Припомните всю свою жизнь, Альбер; правда, она очень юна, но не было зари более чистой, чем ваш рассвет! Нет, Альбер, поверьте мне: вы молоды, богаты, уезжайте из Франции! Все быстро забывается в этом огромном Вавилоне, где жизнь кипит и вкусы изменчивы; вы вернетесь года через три, женатый на какой-нибудь русской княжне, и никто не вспомнит о том, что было вчера, а тем более о том, что было шестнадцать лет тому назад.

– Благодарю вас, мой дорогой Бошан, благодарю вас за добрые чувства, которые подсказали вам этот совет, но это невозможно. Я высказал вам свое желание, а теперь, если нужно, я заменю слово «желание» словом «воля». Вы должны понять, что это слишком близко меня касается, и я не могу смотреть на вещи, как вы. То, что, по-вашему, имеет своим источником волю неба, по-моему, исходит из источника менее чистого. Мне представляется, должен сознаться, что провидение здесь ни при чем, и это к счастью, потому что вместо невидимого и неосязаемого вестника небесных наград и кар я найду видимое и осязаемое существо, которому я отомщу, клянусь, за все, что я пережил в течение этого месяца. Теперь, повторяю вам, Бошан, я хочу вернуться в мир людей, мир материальный, и, если вы, как вы говорите, все еще мой друг, помогите мне отыскать ту руку, которая нанесла удар.

– Хорошо! – сказал Бошан. – Если вам так хочется, чтобы я спустился на землю, я это сделаю; если вы хотите начать розыски врага, я буду разыскивать его вместе с вами. И я найду его; потому что моя честь требует почти в такой же мере, как и ваша, чтобы мы его нашли.

– В таком случае, Бошан, мы должны начать розыски немедленно, сейчас же. Каждая минута промедления кажется мне вечностью; доносчик еще не понес наказания; следовательно, он может надеяться, что и не понесет его; но, клянусь честью, он жестоко ошибается!

– Послушайте, Морсер...

– Я вижу, Бошан, вы что-то знаете; вы возвращаете мне жизнь!

– Я ничего не знаю точно, Альбер; но все же это луч света во тьме; и если мы пойдем за этим лучом, он, быть может, выведет нас к цели.

– Да говорите же! Я сгораю от нетерпения.

– Я расскажу вам то, чего не хотел говорить, когда вернулся из Янины.

– Я слушаю.

– Вот что произошло, Альбер. Я, естественно, обратился за справками к первому банкиру в городе; как только я заговорил об этом деле и даже прежде, чем я успел назвать вашего отца, он сказал:

«Я догадываюсь, что вас привело ко мне».

«Каким образом?»

«Нет еще двух недель, как меня запрашивали по этому самому делу».

«Кто?»

«Один парижский банкир, мой корреспондент».

«Его имя?»

«Данглар».

– Данглар! – воскликнул Альбер. – Верно, он уже давно преследует моего несчастного отца своей завистливой злобой; он считает себя демократом, но не может простить графу де Морсер его пэрства. И этот неизвестно почему не состоявшийся брак... да, это так!

– Расследуйте это, Альбер, только не горячитесь заранее, и если это так...

– Если это так, – воскликнул Альбер, – он заплатит мне за все, что я выстрадал.

– Не увлекайтесь, ведь он уже пожилой человек.

– Я буду считаться с его возрастом так, как он считался с честью моей семьи. Если он враг моего отца, почему он не напал на него открыто? Он побоялся встретиться лицом к лицу с мужчиной!

– Альбер, я не осуждаю, я только сдерживаю вас; будьте осторожны.

– Не бойтесь; впрочем, вы будете меня сопровождать, Бошан: о таких вещах говорят при свидетелях. Сегодня же, если виновен Данглар, Данглар умрет, или умру я. Черт возьми, Бошан, я устрою пышные похороны своей чести!

– Хорошо, Альбер. Когда принимают такое решение, надо немедленно исполнить его. Вы хотите ехать к Данглару? Едем.

Они послали за наемным кабриолетом. Подъезжая к дому банкира, они увидели у ворот фэтон и слугу Андреа Кавальканти.

– Вот это удачно! – угрюмо произнес Альбер. – Если Данглар откажется принять вызов, я убью его зятя. Князь Кавальканти – как же ему не драться!

Банкиру доложили об их приходе, и он, услышав имя Альбера и зная все, что произошло накануне, велел сказать, что не принимает. Но было уже поздно, Альбер шел следом за лакеем; он услышал ответ, распахнул дверь и вместе с Бошаном вошел в кабинет банкира.

– Позвольте, сударь! – воскликнул тот. – Разве я уже не хозяин в своем доме и не властен принимать или не принимать, кого мне угодно? Мне кажется, вы забываетесь.

– Нет, сударь, – холодно отвечал Альбер, – бывают обстоятельства, когда некоторых посетителей нельзя не принимать, если не хочешь прослыть трусом, – этот выход вам, разумеется, открыт.

– Что вам от меня угодно, сударь?

– Мне угодно, – сказал Альбер, подходя к нему и делая вид, что не замечает Кавальканти, стоявшего у камина, – предложить вам встретиться со мной в уединенном месте, где нас никто не побеспокоит в течение десяти минут; большего я у вас не прошу; и из двух людей, которые там встретятся, один останется на месте.

Данглар побледнел. Кавальканти сделал движение. Альбер обернулся к нему.

– Пожалуйста, – сказал он, – если желаете, граф, приходите тоже, вы имеете на это полное право, вы почти уже член семьи, а я назначаю такие свидания всякому, кто пожелает явиться.

Кавальканти изумленно взглянул на Данглара, и тот, сделав над собой усилие, поднялся с места и стал между ними. Выпад Альбера против Андреа возбудил в нем надежду, что этот визит вызван не той причиной, которую он предположил вначале.

– Послушайте, сударь, – сказал он Альберу, – если вы ищете ссоры с графом за то, что я предпочел его вам, то я предупреждаю вас, что передам это дело королевскому прокурору.

– Вы ошибаетесь, сударь, – сказал Альбер с мрачной улыбкой, – мне не до свадеб, и я обратился к господину Кавальканти только потому, что мне показалось, будто у него мелькнуло желание вмешаться в наш разговор. А, впрочем, вы совершенно правы, я готов сегодня поспорить со всяким; но, будьте спокойны, господин Данглар, первенство остается за вами.

– Сударь, – отвечал Данглар, бледный от гнева и страха, – предупреждаю вас, что, когда я встречаю на своем пути бешеного пса, я убиваю его, и не только не считаю себя виновным, но, напротив того, нахожу, что оказываю обществу услугу. Так что, если вы взбесились и собираетесь укусить меня, то предупреждаю вас: я без всякой жалости вас убью. Чем я виноват, что ваш отец обесчещен?

– Да, негодяй! – воскликнул Альбер. – Это твоя вина!

Данглар отступил на шаг.

– Моя вина! Моя? – сказал он. – Да вы с ума сошли! Да разве я знаю греческую историю? Разве я разъезжал по всем этим странам? Разве это я посоветовал вашему отцу продать янинские замки, выдать...

– Молчать! – сказал Альбер сквозь зубы. – Нет, не вы лично вызвали этот скандал, но именно вы коварно подстроили это несчастье.

– Я?

– Да, вы! Откуда пошла огласка?

– Но, мне кажется, в газете это было сказано: из Янины, откуда же еще!

– А кто писал в Янину?

– В Янину?

– Да. Кто писал и запрашивал сведения о моем отце?

– Мне кажется, что никому не запрещено писать в Янину.

– Во всяком случае писало только одно лицо.

– Только одно?

– Да, и этим лицом были вы.

– Разумеется, я писал: мне кажется, что если выдаешь замуж свою дочь за молодого человека, то позволительно собирать сведения о семье этого молодого человека; это не только право, это обязанность.

– Вы писали, сударь, – сказал Альбер, – отлично зная, какой получите ответ.

– Клянусь вам, – воскликнул Данглар с чувством искренней убежденности, исходившим, быть может, не столько даже от наполнявшего его страха, сколько от жалости, которую он в глубине души чувствовал к несчастному юноше, – мне никогда и в голову бы не пришло писать в Янину. Разве я имел представление о несчастье, постигшем Али-пашу?

– Значит, кто-нибудь посоветовал вам написать?

– Разумеется.

– Вам посоветовали?

– Да.

– Кто?.. Говорите... Сознайтесь...

– Извольте; я говорил о прошлом вашего отца, я сказал, что источник его богатства никому не известен. Лицо, с которым я беседовал, спросило, где ваш отец приобрел свое состояние. Я ответил: в Греции. Тогда оно мне сказало: напишите в Янину.

– А кто вам дал этот совет?

– Граф Монте-Кристо, ваш друг.

– Граф Монте-Кристо посоветовал вам написать в Янину?

– Да, и я написал. Хотите посмотреть мою переписку? Я вам ее покажу.

Альбер и Бошан переглянулись.

– Сударь, – сказал Бошан, до сих пор молчавший, – вы обвиняете графа, зная, что его сейчас нет в Париже и он не может оправдаться.

– Я никого не обвиняю, сударь, – отвечал Данглар, – я просто рассказываю, как было дело, и готов повторить в присутствии графа Монте-Кристо все, что я сказал.

– И граф знает, какой вы получили ответ?

– Я ему показал ответ.

– Знал ли он, что моего отца звали Фернан и что его фамилия Мондего?

– Да, я ему давно об этом сказал; словом, я сделал только то, что всякий сделал бы на моем месте, и даже, может быть, гораздо меньше. Когда на следующий день после получения этого ответа ваш отец, по совету графа Монте-Кристо, приехал ко мне и официально просил для вас руки моей дочери, как это принято делать, когда хотят решить вопрос окончательно, я отказал ему, отказал наотрез, это правда, но без всяких объяснений, без скандала. В самом деле, к чему мне была огласка? Какое мне дело до чести или бесчестия господина де Морсер? Это ведь не влияет ни на повышение, ни на понижение курса.

Альбер почувствовал, что краска заливает ему лицо. Сомнений не было, Данглар защищался как низкий, но уверенный в себе человек, говорящий если и не всю правду, то во всяком случае долю правды, не по велению совести, конечно, но из страха. Притом, что нужно было Альберу? Не большая или меньшая степень вины Данглара или Монте-Кристо, а человек, который ответил бы за обиду, человек, который принял бы вызов, а было совершенно очевидно, что Данглар вызова не примет.

И все то, что успело забыться или прошло незамеченным, ясно вставало перед его глазами и воскресало в его памяти. Монте-Кристо знал все, раз он купил дочь Алипаши; а зная все, он посоветовал Данглару написать в Янину. Узнав ответ, он согласился познакомить Альбера с Гайде; как только они очутились в ее обществе, он навел разговор на смерть Али и не мешал Гайде рассказывать (причем, вероятно, в тех нескольких словах, которые он сказал ей по-гречески, он велел ей скрыть от Альбера, что дело идет об его отце); кроме того, разве он не

просил Альбера не произносить при Гайде имени его отца? Наконец, он увез Альбера в Нормандию именно на то время, когда должен был разразиться скандал. Сомнений не было, все это было сделано сознательно, и Монте-Кристо был, несомненно, в заговоре с врагами его отца.

Альбер отвел Бошана в сторону и поделился с ним всеми этими соображениями.

– Вы правы, – сказал тот. – Данглара во всем случившемся касается только грубая, материальная сторона этого дела; объяснений вы должны требовать от графа Монте-Кристо.

Альбер обернулся.

– Сударь, – сказал он Данглару, – вы должны понять, что я еще не прощаюсь с вами; по мне необходимо знать, насколько ваши обвинения справедливы, и, чтобы удостовериться в атом, я сейчас же еду к графу Монте-Кристо.

И, поклонившись банкиру, он вышел вместе с Бошаном, не удостоив Кавальканти даже взглядом.

Данглар проводил их до двери и на пороге еще раз заверил Альбера, что у него нет никакого личного повода питать ненависть к графу де Морсер.

XI. Оскорбление

Выйдя от банкира, Бошан остановился.

– Я вам сказал, Альбер, – произнес он, – что вам следует потребовать объяснений у графа Монте-Кристо.

– Да, и мы едем к нему.

– Одну минуту; раньше, чем ехать к графу, подумайте.

– О чем мне еще думать?

– О серьезности этого шага.

– Но разве он более серьезен, чем мой визит к Данглару?

– Да, Данглар человек деловой, а деловые люди, как вам известно, знают цену своим капиталам и потому дерутся неохотно. Граф Монте-Кристо, напротив, джентльмен, по крайней мере по виду; но не опасаетесь ли вы, что под внешностью джентльмена скрывается убийца?

– Я опасюсь только одного: что он откажется драться.

– Будьте спокойны, – сказал Бошан, – этот будет драться. Я даже боюсь, что он будет драться слишком хорошо, берегитесь!

– Друг, – сказал Альбер с ясной улыбкой, – этого мне и нужно; и самое большое счастье для меня – быть убитым за отца; это всех нас спасет.

– Это убьет вашу матушку!

– Бедная мама, – сказал Альбер, проводя рукой по глазам, – да, я знаю; но пусть уж лучше она умрет от горя, чем от стыда.

– Так ваше решение твердо, Альбер?

– Да.

– Тогда едем! Но уверены ли вы, что мы его застанем?

– Он должен был выехать вслед за мной и, наверное, уже в Париже.

Они сели в кабриолет и поехали на Елисейские Поля.

Бошан хотел войти один, но Альбер заметил ему, что, так как эта дуэль несколько необычна, то он может позволить себе нарушить этикет.

Чувство, одушевлявшее Альбера, было столь священно, что Бошану оставалось только подчиняться всем его желаниям; поэтому он уступил и ограничился тем, что последовал за своим другом.

Альбер почти бегом пробежал от ворот до крыльца. Там его встретил Батистен.

Граф действительно уже вернулся; он предупредил Батистена, что его ни для кого нет дома.

– Его сиятельство принимает ванну, – сказал Батистен Альберу.

– Но после ванны?

– Он будет обедать.

– А после обеда?

– Он будет отдыхать.

– А затем?

– Он поедет в Оперу.

– Вы в этом уверены? – спросил Альбер.

– Совершенно уверен, граф приказал подать лошадей ровно в восемь часов.

– Превосходно, – ответил Альбер, – больше мне ничего не нужно.

Затем он повернулся к Бошану.

– Если вам нужно куда-нибудь идти, Бошан, идите сейчас же; если у вас на сегодняшний вечер назначено какое-нибудь свидание, отложите его на завтра. Вы сами понимаете, я рассчитываю, что вы поедете со мной в Оперу. Если удастся, приведите с собой и Шато-Рено.

Бошан простился с Альбером, обещав зайти за ним без четверти восемь.

Вернувшись домой, Альбер послал предупредить Франца, Дебрэ и Морреля, что очень просит их встретиться с ним в этот вечер в Опере.

Потом он прошел к своей матери, которая после всего того, что произошло накануне, велела никого не принимать и заперлась у себя. Он нашел ее в посмели, потрясенную разыгравшимся скандалом.

Приход Альбера произвел на Мерседес именно то действие, которого следовало ожидать: она сжала руку сына и разразилась рыданиями. Однако эти слезы облегчили ее.

Альбер стоял, безмолвно склонившись над ней. По его бледному лицу и нахмуренным бровям видно было, что принятое им решение отомстить все сильнее овладевало его сердцем.

– Вы не знаете, матушка, – спросил он, – есть ли у господина де Морсер враги?

Мерседес вздрогнула; она заметила, что Альбер не сказал: у моего отца.

– Друг мой, – отвечала она, – у людей, занимающих такое положение, как граф, бывает много тайных врагов. Явные враги, как ты знаешь, еще не самые опасные.

– Да, я знаю, и потому надеюсь на вашу проницательность. Я знаю от вас ничто не ускользает!

– Почему ты мне это говоришь!

– Потому что вы заметили, например, у нас на балу, что граф Монте-Кристо не захотел есть в нашем доме.

Мерседес, вся дрожа, приподнялась на кровати.

– Граф Монте-Кристо! – воскликнула она. – По какое это имеет отношение к тому, о чем ты меня спрашиваешь?

– Вы же знаете, матушка, что граф Монте-Кристо верен многим обычаям Востока, а на Востоке, чтобы сохранить за собой право мести, никогда ничего не пьют и не едят в доме врага.

– Граф Монте-Кристо наш враг? – сказала Мерседес, побледнев, как смерть. – Кто тебе это сказал? Почему? Ты бредишь, Альбер. От графа Монте-Кристо мы видели одно только внимание. Граф Монте-Кристо спас тебе жизнь, и ты сам представил нам его. Умоляю тебя, Альбер, прогони эту мысль. Я советую тебе, больше того, прошу тебя: сохрани его дружбу.

– Матушка, – возразил Альбер, мрачно глядя на нее, – у вас есть какая-то причина щадить этого человека.

– У меня! – воскликнула Мерседес, мгновенно покраснев и становясь затем еще бледнее прежнего.

– Да, – сказал Альбер, – вы просите меня щадить этого человека потому, что мы можем ждать от него только зла, правда?

Мерседес вздрогнула и вперила в сына испытующий взор.

– Как ты странно говоришь, – сказала она, – откуда у тебя такое предубеждение! Что ты имеешь против графа? Три дня тому назад ты гостил у него в Нормандии; три дня тому назад я его считала, и ты сам считал его твоим лучшим другом.

Ироническая улыбка мелькнула на губах Альбера. Мерседес перехватила эту улыбку и инстинктом женщины и матери угадала все; но, осторожная и сильная духом, она скрыла свое смущение и тревогу.

Альбер молчал; немного погодя графиня заговорила снова.

– Ты пришел узнать, как я себя чувствую, – сказала она, – не скрою, друг мой, здоровье мое плохо. Останься со мной, Альбер, мне так тяжело одной.

– Матушка, – сказал юноша, – я бы не покинул вас, если бы не спешное, неотложное дело.

– Что ж делать? – ответила со вздохом Мерседес. – Иди, Альбер, я не хочу делать тебя рабом твоих сыновних чувств.

Альбер сделал вид, что не слышал этих слов, простился с матерью и вышел.

Не успел он закрыть за собой дверь, как Мерседес послала за доверенным слугой и велела ему следовать за Альбером всюду, куда бы тот ни пошел, и немедленно ей обо всем сообщать.

Затем она позвала горничную и, преодолевая свою слабость, оделась, чтобы быть на всякий случай готовой.

Поручение, данное слуге, было не трудно выполнить. Альбер вернулся к себе и оделся с особой тщательностью. Без десяти минут восемь явился Бошан; он уже виделся с Шато-Рено, и тот обещал быть на своем месте, в первых рядах кресел, еще до поднятия занавеса.

Молодые люди сели в карету Альбера, который, не считая нужным скрывать, куда он едет, громко приказал:

– В Оперу!

Сгорая от нетерпения, он вошел в театр еще до начала спектакля.

Шато-Рено сидел уже в своем кресле; так как Бошан обо всем его предупредил, Альберу не пришлось давать ему никаких объяснений. Поведение сына, желающего отомстить за отца, было так естественно, что Шато-Рено и не пытался его отговаривать и ограничился заявлением, что он к его услугам.

Дебрэ еще не было, но Альбер знал, что он редко пропускает спектакль в Опере. Пока не подняли занавес, Альбер бродил по театру. Он надеялся встретить Монте-Кристо либо в коридоре, либо на лестнице. Звонок заставил его вернуться, и он занял свое кресло, между Шато-Рено и Бошаном.

Но его глаза не отрывались от ложи между колоннами, которая во время первого действия упорно оставалась закрытой.

Наконец, в начале второго акта, когда Альбер уже в сотый раз посмотрел на часы, дверь ложи открылась, и Монте-Кристо, весь в черном, вошел и оперся о барьер, разглядывая зрительную залу; следом за ним вошел Моррель, ища глазами сестру и зятя. Он увидел их в ложе бельэтажа и сделал им знак.

Граф, окидывая взглядом залу, заметил бледное лицо и сверкающие глаза, жадно искавшие его взгляда; он, разумеется, узнал Альбера, но, увидев его расстроенное лицо, сделал вид, что не заметил его. Ничем не выдавая своих мыслей, он сел, вынул из футляра бинокль и стал смотреть в противоположную сторону.

Но, притворяясь, что он не замечает Альбера, граф все же не терял его из виду, и когда второй акт кончился и занавес опустился, от его верного и безошибочного взгляда не ускользнуло, что Альбер вышел из партера в сопровождении обоих своих друзей.

Вслед за тем его лицо мелькнуло в дверях соседней ложи. Граф чувствовал, что гроза приближается, и когда он услышал, как повернулся ключ в двери его ложи, то, хотя он в ту минуту с самым веселым видом разговаривал с Моррелем, он уже знал, чего ждать, и был ко всему готов.

Дверь отворилась.

Только тогда граф обернулся и увидел Альбера, бледного и дрожащего; позади него стояли Бошан и Шато-Рено.

– А-а! вот и мой всадник прискакал, – воскликнул он с той ласковой учтивостью, которая обычно отличала его приветствие от условной светской любезности. – Добрый вечер, господин де Морсер.

И лицо этого человека, так превосходно собой владевшего, было полно приветливости.

Только тут Моррель вспомнил о полученном им от виконта письме, в котором тот, ничего не объясняя, просил его быть вечером в Опере; и он понял, что сейчас произойдет.

– Мы пришли не для того, чтобы обмениваться лицемерными любезностями или лживыми выражениями дружбы, – сказал Альбер, – мы пришли требовать объяснения, граф.

Он говорил, стиснув зубы, голос его прерывался.

– Объяснение в Опере? – сказал граф тем спокойным тоном и с тем пронизывающим взглядом, по которым узнается человек, неизменно в себе уверенный. – Хотя я и мало знаком с парижскими обычаями, мне все же кажется, сударь, что это не место для объяснений.

– Однако если человек скрывается, – сказал Альбер, – если к нему нельзя проникнуть, потому что он принимает ванну, обедает или спит, приходится говорить с ним там, где его встретишь.

– Меня не так трудно застать, – сказал Монте-Кристо, – не далее, как вчера, сударь, если память мне не изменяет, вы были моим гостем.

– Вчера, сударь, – сказал Альбер, теряя голову, – я был вашим гостем, потому что не знал, кто вы такой.

При этих словах Альбер возвысил голос, чтобы его могли слышать в соседних ложах и в коридоре; и в самом деле, заслышав ссору, сидевшие в ложах обернулись, а проходившие по коридору остановились за спиной у Бошана и Шато-Рено.

– Откуда вы явились, сударь? – сказал Монте-Кристо, не выказывая никакого волнения. – Вы, по-видимому, не в своем уме.

– У меня достаточно ума, чтобы понимать ваше коварство и заставить вас понять, что я хочу вам отомстить за него, – сказал вне себя Альбер.

– Милостивый государь, я вас не понимаю, – возразил Монте-Кристо, – и во всяком случае я нахожу, что вы слишком громко говорите. Я здесь у себя, милостивый государь, здесь только я имею право повышать голос. Уходите!

И Монте-Кристо повелительным жестом указал Альберу на дверь.

– Я заставлю вас самого выйти отсюда! – возразил Альбер, судорожно комкая в руках перчатку, с которой граф не спускал глаз.

– Хорошо, – спокойно сказал Монте-Кристо, – я вижу, вы ищете ссоры, сударь; но позвольте вам дать совет и постарайтесь его запомнить: плохая манера сопровождать вызов шумом. Шум не для всякого удобен, господин де Морсер.

При этом имени ропот пробежал среди свидетелей этой сцены. Со вчерашнего дня имя Морсера было у всех на устах.

Альбер лучше всех и прежде всех понял намек и сделал движение, намереваясь бросить перчатку в лицо графу, но Моррель остановил его руку, в то время как Бошан и Шато-Рено, боясь, что эта сцена перейдет границы дозволенного, схватили его за плечи.

Но Монте-Кристо, не вставая с места, протянул руку и выхватил из судорожно сжатых пальцев Альбера влажную и смятую перчатку.

– Сударь, – сказал он грозным голосом, – я считаю, что эту перчатку вы мне бросили, и верну вам ее вместе с пулей. Теперь извольте выйти отсюда, не то я позову своих слуг и велю им вышвырнуть вас за дверь.

Шатаясь, как пьяный, с налитыми кровью глазами, Альбер отступил на несколько шагов.

Моррель воспользовался этим и закрыл дверь.

Монте-Кристо снова взял бинокль и поднес его к глазам, словно ничего не произошло.

Сердце этого человека было отлито из бронзы, а лицо высечено из мрамора.

Моррель наклонился к графу.

– Что вы ему сделали? – шепотом спросил он.

– Я? Ничего, по крайней мере лично, – сказал Монте-Кристо.

– Однако эта странная сцена должна иметь причину?

– После скандала с графом де Морсер несчастный юноша сам не свой.

– Разве вы имеете к этому отношение?

– Гайде сообщила Палате о предательстве его отца.

– Да, я слышал, что гречанка, ваша невольница, которую я видел с вами в этой ложе, – дочь Али-паши, – сказал Моррель. – Но я не верил.

– Однако это правда.

– Теперь я все понимаю, – сказал Моррель, – эта сцена была подготовлена заранее.

– Почему вы думаете?

– Я получил записку от Альбера с просьбой быть сегодня в Опере; он хотел, чтобы я был свидетелем того оскорбления, которое он собирался вам нанести.

– Очень возможно, – невозмутимо сказал Монте-Кристо.

– Но как вы с ним поступите?

– С кем?

– С Альбером.

– Как я поступлю с Альбером, Максимилиан? – сказал тем же тоном Монте-Кристо. – Так же верно, как то, что я вас вижу и жму вашу руку, завтра утром я убью его. Вот как я с ним поступлю.

Моррель в свою очередь пожал руку Монте-Кристо и вздрогнул, почувствовав, что эта рука холодна и спокойна.

– Ах, граф, – сказал он, – его отец так его любит!

– Только не говорите мне этого! – воскликнул Монте-Кристо, в первый раз обнаруживая, что он тоже может испытывать гнев. – А то я убью его не сразу!

Моррель, пораженный, выпустил руку Монте-Кристо.

– Граф, граф! – сказал он.

– Дорогой Максимилиан, – прервал его граф, – послушайте, как Дюпрэ очаровательно поет эту арию:

О Матильда, кумир души моей... Представьте, я первый открыл в Неаполе Дюпрэ и первый аплодировал ему. Bravo! Bravo!

Моррель понял, что больше говорить не о чем, и замолчал.

Через несколько минут действие кончилось, и занавес опустился. В дверь постучали.

– Войдите, – сказал Монте-Кристо, и в голосе его не чувствовалось ни малейшего волнения.

Вошел Бошан.

– Добрый вечер, господин Бошан, – сказал Монте-Кристо, как будто он в первый раз за этот вечер встречался с журналистом, – садитесь, пожалуйста.

Бошан поклонился, вошел и сел.

– Граф, – сказал он Монте-Кристо, – я, как вы, вероятно, заметили, только что сопровождал господина де Морсер.

– Из чего можно сделать вывод, – смеясь, ответил Монте-Кристо, – что вы вместе обедали. Я рад видеть, господин Бошан, что вы были более воздержаны, чем он.

– Граф, – сказал Бошан, – я признаю, что Альбер был неправ, выйдя из себя, и приношу вам за это свои личные извинения. Теперь, когда я принес вам извинения, – от своего имени, повторяю это, – граф, я надеюсь, что вы, как благородный человек, не откажетесь дать мне кое-какие объяснения по поводу ваших сношений с жителями Янины; потом я скажу еще несколько слов об этой молодой гречанке.

Монте-Кристо взглядом остановил его.

– Вот все мои надежды и разрушились, – сказал он смеясь.

– Почему? – спросил Бошан.

– Очень просто; вы все поспешили наградить меня репутацией эксцентричного человека; по-вашему, я не то Лара, не то Манфред, не то лорд Рутвен; затем, когда моя эксцентричность вам надоела, вы портите созданный вами тип и хотите сделать из меня самого банального человека. Вы требуете, чтобы я стал пошлым, вульгарным; словом, вы требуете от меня объяснений. Помилуйте, господин Бошан, вы надо мной смеетесь.

– Однако, – возразил высокомерно Бошан, – бывают обстоятельства, когда честь требует...

– Сударь, – прервал Бошана его странный собеседник, – от графа Монте-Кристо может чего-нибудь требовать только граф Монте-Кристо. Поэтому, прошу вас, ни слова больше. Я делаю что хочу, господин Бошан, и, поверьте, это всегда прекрасно сделано.

– Сударь, – отвечал Бошан, – так не отделяются от порядочных людей; честь требует гарантий.

– Сударь, я сам – живая гарантия, – невозмутимо возразил Монте-Кристо, но глаза его угрожающе вспыхнули. – У нас обоих течет в жилах кровь, которую мы не прочь пролить, – вот наша взаимная гарантия. Передайте этот ответ виконту и скажите ему, что завтра утром, прежде чем пробьет десять, я узнаю цвет его крови.

– В таком случае, – сказал Бошан, – мне остается обсудить условия поединка.

– Мне они совершенно безразличны, сударь, – сказал граф Монте-Кристо, – и вы напрасно из-за такой малости беспокоите меня во время спектакля. Во Франции дерутся на шпагах или на пистолетах; в колониях предпочитают карабин; в Аравии пользуются кинжалом. Скажите вашему доверителю, что я, хоть и оскорбленный, но, желая быть до конца эксцентричным, предоставляю ему выбор оружия и без споров и возражений согласен на все; на все, вы слышите, на все, даже на дуэль по жребью, что всегда нелепо; но со мной – дело другое; я уверен, что выйду победителем.

– Вы уверены? – повторил Бошан, растерянно глядя на графа.

– Да, разумеется, – сказал Монте-Кристо, пожимая плечами. – Иначе я не принял бы вызова господина де Морсер. Я убью его, так должно быть, и так будет. Прошу вас только дать мне сегодня знать о месте встречи и роде оружия; я не люблю заставлять себя ждать.

– На пистолетах, в восемь часов утра, в Венсенском лесу, – сказал Бошан, не понимая, имеет ли он дело с дерзким фанфароном или со сверхъестественным существом.

– Отлично, сударь, – сказал Монте-Кристо. – Теперь, раз мы обо всем уговорились, разрешите мне, пожалуйста, слушать спектакль и посоветуйте вашему другу Альберу больше

сюда не возвращаться; непристойное поведение только повредит ему. Пусть он едет домой и ложится спать.

Бошан ушел в полном недоумении.

– А теперь, – сказал Монте-Кристо, оборачиваясь к Моррелю, – могу ли я рассчитывать на вас?

– Разумеется, – сказал Моррель, – вы можете мной вполне располагать, граф; но все же...

– Что?

– Мне было бы очень важно, граф, знать истинную причину...

– Другими словами, вы отказываетесь?

– Отнюдь нет.

– Истинная причина? – повторил граф. – Этот юноша сам действует вслепую и не знает ее. Истинная причина известна лишь богу и мне; но я даю вам честное слово, Моррель, что бог, которому она известна, будет за нас.

– Этого достаточно, граф, – сказал Моррель. – Кто будет вашим вторым секундантом?

– Я никого в Париже не знаю, кому мог бы оказать эту честь, кроме вас, Моррель, и вашего зятя, Эммануэля. Думаете ли вы, что Эммануэль согласится оказать мне эту услугу?

– Я отвечаю за него, как за самого себя, граф.

– Отлично! Это все, что мне нужно. Значит, завтра в семь часов утра, у меня?

– Мы явимся.

– Тише! Занавес поднимают, давайте слушать. Я никогда не пропускаю ни одной ноты этого действия. Чудесная опера «Вильгельм Телль»!

XII. Ночь

Граф Монте-Кристо, по своему обыкновению, подождал, пока Дюпрэ спел свою знаменитую арию «За мной!», и только после этого встал и вышел из ложи.

Моррель простился с ним у выхода, повторив обещание явиться к нему вместе с Эммануэлем ровно в семь часов утра.

Затем, все такой же улыбающийся и спокойный, граф сел в карету.

Пять минут спустя он был уже дома.

Но надо было не знать графа, чтобы не услышать сдержанной ярости в его голосе, когда он, входя к себе, сказал Али:

– Али, мои пистолеты с рукоятью слоновой кости!

Али принес ящик, и граф стал заботливо рассматривать оружие, что было вполне естественно для человека, доверяющего свою жизнь кусочку свинца.

Это были пистолеты особого образца, которые Монте-Кристо заказал, чтобы упражняться в стрельбе дома. Для выстрела достаточно было пистона, и, находясь в соседней комнате, нельзя было заподозрить, что граф, как говорят стрелки, набивает себе руку.

Он только что взял в руку оружие и начал вглядываться в точку прицела на железной дощечке, служившей ему мишенью, как дверь кабинета отворилась и вошел Батистен.

Но, раньше чем он успел открыть рот, граф заметил в полумраке за растворенной дверью женщину под вуалью, которая вошла вслед за Батистеном.

Она увидела в руке графа пистолет, увидела, что на столе лежат две шпаги, и бросилась в комнату.

Батистен вопросительно взглянул на своего хозяина.

Граф сделал ему знак, Батистен вышел и закрыл за собой дверь.

– Кто вы такая, сударыня? – сказал граф женщине под вуалью.

Незнакомка окинула взглядом комнату, чтобы убедиться, что они одни, потом склонилась так низко, как будто хотела упасть на колени, и с отчаянной мольбой сложила руки.

– Эдмон, – сказала она, – вы не убьете моего сына!

Граф отступил на шаг, тихо вскрикнул и выронил пистолет.

– Какое имя вы произнесли, госпожа де Морсер? – сказал он.

– Ваше, – воскликнула она, откидывая вуаль, – ваше, которое, быть может, я одна не забыла. Эдмон, к вам пришла не госпожа де Морсер, к вам пришла Мерседес.

– Мерседес умерла, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – и я больше не знаю женщины, носящей это имя.

– Мерседес жива, и Мерседес все помнит, она единственная узнала вас, чуть только увидела, и даже еще не видев, по одному вашему голосу, Эдмон, по звуку вашего голоса; и с тех пор она следует за вами по пятам, она следит за вами, она боится вас, и ей не нужно было доискиваться, чья рука нанесла удар графу де Морсер.

– Фернану, хотите вы сказать, сударыня, – с горькой иронией возразил Монте-Кристо. – Раз уж вы начали припоминать имена, припомним их все.

Монте-Кристо произнес имя «Фернан» с такой ненавистью, что Мерседес содрогнулась от ужаса.

– Вы видите, Эдмон, что я не ошиблась, – воскликнула она, – и что я недаром сказала вам: пощадите моего сына!

– А кто вам сказал, сударыня, что я враг вашему сыну?

– Никто! Но все матери – ясновидящие. Я все угадала, я поехала за ним в Оперу, спряталась в ложе и видела все.

– В таком случае, сударыня, вы видели, что сын Фернана публично оскорбил меня? – сказал Монте-Кристо с ужасающим спокойствием.

– Сжальтесь!

– Вы видели, – продолжал граф, – что он бросил бы мне в лицо перчатку, если бы один из моих друзей, господин Моррель, не схватил его за руку.

– Выслушайте меня. Мой сын также разгадал вас; несчастье, постигшее его отца, он приписывает вам.

– Сударыня, – сказал Монте-Кристо, – вы ошибаетесь: это не несчастье, это возмездие. Не я нанес удар господину де Морсер, его карает провидение.

– А почему вы хотите подменить собой провидение? – воскликнула Мерседес. – Почему вы помните, когда оно забыло? Какое дело вам, Эдмон, до Янины и ее визиря? Что сделал вам Фернан Мондего, предав Али-Тебелина?

– Верно, сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – и всё это касается только французского офицера и дочери Василики. Вы правы, мне до этого нет дела, и если я поклялся отомстить, то не французскому офицеру и не графу де Морсер, а рыбаку Фернану, мужу каталанки Мерседес.

– Какая жестокая месть за ошибку, на которую меня толкнула судьба! – воскликнула графиня. – Ведь виновата я, Эдмон, и если вы должны мстить, так мстите мне, у которой не хватило сил перенести ваше отсутствие и свое одиночество.

– А почему я отсутствовал? – воскликнул Монте-Кристо. – Почему вы были одиноки?

– Потому что вас арестовали, Эдмон, потому что вы были в тюрьме.

– А почему я был арестован? Почему я был в тюрьме?

– Этого я не знаю, – сказала Мерседес.

– Да, вы этого не знаете, сударыня, по крайней мере надеюсь, что не знаете. Но я вам скажу. Я был арестован, я был в тюрьме потому, что накануне того самого дня, когда я должен был на вас жениться, в беседке «Резерва» человек, по имени Данглар, написал это письмо, которое рыбак Фернан взялся лично отнести на почту.

И Монте-Кристо, подойдя к столу, открыл ящик, вынул из него пожелтевшую бумажку, исписанную выцветшими чернилами, и положил ее перед Мерседес.

Это было письмо Данглара королевскому прокурору, которое граф Монте-Кристо, под видом агента фирмы Томсон и Френч, изъял из дела Эдмона Дантеса в кабинете г-на де Бовиль.

Мерседес с ужасом прочла:

«Господина королевского прокурора уведомляет друг престола и веры, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем сегодня из Смирны, с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже.

Арестовав его, можно иметь доказательство его преступления, ибо письмо находится при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».

– Боже мой! – простонала Мерседес, проводя рукой по влажному лбу. – И это письмо...

– Я купил его за двести тысяч франков, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – и это недорого, потому что благодаря ему я сегодня могу оправдаться перед вами.

– И из-за этого письма?..

– Я был арестован; это вы знаете; но вы не знаете, сударыня, сколько времени длилось мое заточение. Вы не знаете, что я четырнадцать лет томился в четверти лье от вас, в темнице замка Иф. Вы не знаете, что четырнадцать долгих лет я ежедневно повторял клятву мщения, которую я дал себе в первый день, а между тем мне но было известно, что вы вышли замуж за Фернана, моего доносчика, и что мой отец умер, умер от голода!

Мерседес пошатнулась.

– Боже милосердный! – воскликнула она.

– Но, когда я вышел из тюрьмы, в которой пробыл четырнадцать лет, я узнал все это, и вот почему жизнью Мерседес и смертью отца я поклялся отметить Фернану, и... и я ищу ему.

– И вы уверены, что на вас донес несчастный Фернан?

– Клянусь вам спасением своей души, сударыня, он это сделал. Впрочем, это немногим гнуснее, чем французскому гражданину – продаться англичанам; испанцу по рождению – сражаться против испанцев; офицеру на службе у Али – предать и убить Али. Что по сравнению с этим письмо, которое я вам показал? Уловка влюбленного, которую, я это признаю и понимаю, должна простить женщина, вышедшая замуж за этого человека, но которую не прощает тот, чьей невестой она была. Французы не отметили предателя, испанцы не расстреляли предателя, Али, лежа в своей могиле, не наказал предателя; но я, преданный им, уничтоженный, тоже брошенный в могилу, я милостью бога вышел из этой могилы, я перед богом обязан отметить; я послан им для мести, и вот я здесь.

Несчастливая женщина закрыла лицо руками и, как подкошенная, упала на колени.

– Простите, Эдмон, – сказала она, – простите ради меня, ради моей любви к вам!

Достоинство замужней женщины остановило порыв истерзанного сердца.

Чело ее склонилось почти до самого пола.

Граф бросился к ней и поднял ее.

И вот, сидя в кресле, она своими затуманенными от слез глазами посмотрела на мужественное лицо Монте-Кристо, на котором еще лежал грозный отпечаток страдания и ненависти.

– Не истребить этот проклятый род! – прошептал он. Ослушаться бога, который повелевает мне покарать его! Нет, не могу!

– Эдмон, – с отчаянием сказала несчастная мать, – боже мой, я называю вас Эдмоном, почему вы не называете меня Мерседес?

– Мерседес! – повторил Монте-Кристо. – Да, вы правы, мне еще сладостно произносить это имя, и сегодня впервые, после стольких лет, оно звучит так внятно на моих устах. Мерседес, я повторял ваше имя со вздохами тоски, со стонами боли, с хрипом отчаяния; я произносил его, коченея от холода, скорчившись на тюремной соломе; я произносил его, изнемогая от жары, катаясь по каменному полу моей темницы. Мерседес, я должен отметить, потому что четырнадцать лет я страдал, четырнадцать лет проливал слезы, я проклинал; говорю вам, Мерседес, я должен отметить!

И граф, страшась, что он не устоит перед просьбами той, которую он так любил, призывал воспоминания на помощь своей ненависти.

– Так отметите, Эдмон, – воскликнула несчастная мать, – но отметите виновным; отомстите ему, отомстите мне, но не мстите моему сыну!

– В Священном писании сказано, – ответил Монте-Кристо: – «Вина отцов падет на их детей до третьего и четвертого колена». Если бог сказал эти слова своему пророку, то почему же мне быть милосерднее бога?

– Потому, что бог владеет временем и вечностью, а у человека их нет.

Из груди Монте-Кристо вырвался не то стон, не то рычание, и он прижал ладони к вискам.

– Эдмон, – продолжала Мерседес, простирая руки к графу. – С тех пор как я вас знаю, я преклонялась перед вами, я чтילה вашу память. Эдмон, друг мой, не омрачайте этот благородный и чистый образ, навеки запечатленный в моем сердце! Эдмон, если бы вы знали, сколько молитв я вознесла за вас богу, пока я еще надеялась, что вы живы, и с тех пор, как поверила, что вы умерли! Да, умерли! Я думала, что ваш труп погребен в глубине какой-нибудь мрачной башни; я думала, что ваше тело сброшено на дно какой-нибудь пропасти, куда тюремщики бросают умерших узников, и я плакала! Что могла я сделать для вас, Эдмон, как не молиться и плакать? Послушайте меня: десять лет подряд я каждую ночь видела один и тот же сон. Ходили слухи, будто вы пытались бежать, заняли место одного из заключенных, завернулись в саван покойника, и будто этот живой труп сбросили с высоты замка Иф; и только услышав крик, который вы испустили, падая на камни, ваши могильщики, оказавшиеся вашими

палачами, поняли подмен. Эдмон, клянусь вам жизнью моего сына, за которого я вас молю, десять лет я каждую ночь видела во сне людей, сбрасывающих что-то неведомое и страшное с вершины скалы; десять лет я каждую ночь слышала ужасный крик, от которого просыпалась, вся дрожа и леденя. И я, Эдмон, поверьте мне, как ни тяжка моя вина, я тоже много страдала!

– А чувствовали ли вы, что ваш отец умирает вдали от вас? – воскликнул Монте-Кристо. – Терзались ли вы мыслью о том, что любимая женщина отдает свою руку вашему сопернику, в то время как вы задыхаетесь на дне пропасти?..

– Нет, – прервала его Мерседес, – но я вижу, что тот, кого я любила, готов стать убийцей моего сына!

Мерседес произнесла эти слова с такой силой горя, с таким отчаянием, что при звуке этих слов у графа вырвалось рыдание.

Лев был укрощен; неумолимый мститель смирился.

– Чего вы требуете? – спросил он. – Чтобы я пощадил жизнь вашего сына? Хорошо, он не умрет.

Мерседес радостно вскрикнула; на глазах Монте-Кристо блеснули две слезы, но они тотчас же исчезли; должно быть, бог послал за ними ангела, ибо перед лицом создателя, они были много драгоценнее, чем самый роскошный жемчуг Гузерата и Офира.

– Благодарю тебя, благодарю, Эдмон! – воскликнула она, схватив руку графа и поднося ее к губам. – Таким ты всегда грезился мне, таким, я всегда любила тебя. Теперь я могу это сказать!

– Тем более, – отвечал Монте-Кристо, – что вам уже недолго любить бедного Эдмона. Мертвец вернется в могилу, призрак вернется в небытие.

– Что вы говорите, Эдмон?

– Я говорю, что, раз вы этого хотите, Мерседес, я должен умереть.

– Умереть? Кто это сказал? Кто говорит о смерти? Почему вы возвращаетесь к мысли о смерти?

– Неужели вы думаете, что, оскорбленный публично, при всей зале, в присутствии ваших друзей и друзей вашего сына, вызванный на дуэль мальчиком, который будет гордиться моим прощением как своей победой, неужели вы думаете, что я могу остаться жить? После вас, Мерседес, я больше всего на свете любил самого себя, то есть мое достоинство, ту силу, которая возносила меня над людьми; в этой силе была моя жизнь. Одно ваше слово сломило ее. Я должен умереть.

– Но ведь эта дуэль не состоится, Эдмон, раз вы прощаете.

– Она состоится, сударыня, – торжественно заявил Монте-Кристо, – только вместо крови вашего сына, которая должна была обогреть землю, прольется моя.

Мерседес громко вскрикнула и бросилась к Монте-Кристо, но вдруг остановилась.

– Эдмон, – сказала она, – есть бог на небе, раз вы живы, раз я снова вас вижу, и я уповаю на него всем сердцем своим. В чаянии его помощи я полагаюсь на ваше слово. Вы сказали, что мой сын не умрет, да, Эдмон?

– Да, сударыня, – сказал Монте-Кристо, уязвленный, что Мерседес, не споря, не пугаясь, без возражений приняла жертву, которую он ей принес.

Мерседес протянула графу руку.

– Эдмон, – сказала она, глядя на него полными слез глазами, – как вы великодушны! С каким высоким благородством вы сжалились над несчастной женщиной, которая пришла к вам почти без надежды! Горе состарило меня больше, чем годы, и я ни улыбкой, ни взглядом уже не могу напомнить моему Эдмону ту Мерседес, которой он некогда так любовался. Верьте, Эдмон, я тоже много выстрадала; тяжело чувствовать, что жизнь проходит, а в памяти не остается ни одного радостного мгновения, в сердце – ни единой надежды; но не все кончается с земной жизнью. Нет! не все кончается с нею, я это чувствую всем, что еще не умерло в моей душе. Я повторяю вам, Эдмон, это прекрасно, это благородно, это великодушно, – простить так, как вы простили!

– Вы это говорите, Мерседес, и все же вы не знаете ей тяжести моей жертвы. Что, если бы всевышний, создав мир, оплодотворив хаос, не завершил сотворения мира, дабы уберечь ангела от тех слез, которые наши злодеяния должны были исторгнуть из его бессмертных очей? Что, если бы, всё обдумав, всё создав, готовый возрадоваться своему творению, бог погасил солнце и столкнул мир в вечную ночь? Вообразите это, и вы поймете, – нет, вы и тогда не поймете, что я теряю, расставаясь сейчас с жизнью.

Мерседес взглянула на графа с изумлением, восторгом и благодарностью.

Монте-Кристо опустил голову на дрожащие руки, словно его чело изнемогало под тяжестью его мыслей.

– Эдмон, – сказала Мерседес, – мне остается сказать вам одно только слово.

Граф горько улыбнулся.

– Эдмон, – продолжала она, – вы увидите, что если лицо мое поблекло, глаза потухли, красота исчезла, словом, если Мерседес ни одной чертой лица не напоминает прежнюю Мерседес, сердце ее все то же!.. Прощайте, Эдмон; мне больше нечего просить у неба... Я снова увидела вас благородным и великодушным, как прежде. Прощайте, Эдмон... прощайте, да благословит вас бог!

Но граф ничего не ответил.

Мерседес отворила дверь кабинета и скрылась раньше, чем он очнулся от глубокого и горестного раздумья.

Часы Дома Инвалидов пробили час, когда граф Монте-Кристо, услышав шум кареты, уносившей г-жу де Морсер по Елисейским Полям, поднял голову.

– Безумец, – сказал он, – зачем в тот день, когда я решил мстить, не вырвал я сердца из своей груди!

ХIII. Дуэль

После отъезда Мерседес дом Монте-Кристо снова погрузился во мрак. Вокруг него и в нем самом все замерло; его деятельный ум охватило оцепенение, как охватывает сон утомленное тело.

– Неужели! – говорил он себе, меж тем как лампа и свечи грустно догорали, а в прихожей с нетерпением ждали усталые слуги. – Неужели это здание, которое так долго строилось, которое воздвигалось с такой заботой и с таким трудом, рухнуло в один миг, от одного слова, от дуновения! Я, который считал себя выше других людей, который так гордился собой, который был жалким ничтожеством в темнице замка Иф и достиг величайшего могущества, завтра превращусь в горсть праха! Мне жаль не жизни: не есть ли смерть тот отдых, к которому все стремится, которого жаждут все страждущие, тот покой материи, о котором я так долго вздыхал, навстречу которому я шел по мучительному пути голода, когда в моей темнице появился Фариа? Что для меня смерть? Чуть больше покоя, чуть больше тишины. Нет, мне жаль не жизни, я сожалею о крушении моих замыслов, так медленно зревших, так тщательно воздвигавшихся. Так провидение отвергло их, а я мнил, что они угодны ему! Значит, бог не дозволил, чтобы они исполнились!

Это бремя, которое я поднял, тяжелое, как мир, и которое я думал донести до конца, отвечало моим желаниям, но не моим силам; отвечало моей воле, но было не в моей власти, и мне приходится бросить его на полпути. Так мне снова придется стать фаталистом, мне, которого четырнадцать лет отчаяния и десять лет надежды научили постигать провидение!

И все это, боже мой, только потому, что мое сердце, которое я считал мертвым, только оледенело; потому что оно проснулось, потому что оно забилося, потому что я но выдержал биения этого сердца, воскресшего в моей груди при звуке женского голоса!

Но не может быть, – продолжал граф, все сильнее растравляя свое воображение картинами предстоящего поединка, – не может быть, чтобы женщина с таким благородным сердцем хладнокровно обрекла меня на смерть, меня, полного жизни и сил! Не может быть, чтобы она так далеко зашла в своей материнской любви, или вернее, в материнском безумии! Есть добродетели, которые, переходя границы, обращаются в порок. Нет, она, наверное, разыграет какую-нибудь трогательную сцену, она бросится между нами, и то, что здесь было исполнено величия, на месте поединка будет смешно.

И лицо графа покрылось краской оскорбленной гордости.

– Смешно, – повторил он, – и смешным окажусь я... Я – смешным! Нет, лучше умереть.

Так, рисуя себе самыми мрачными красками все то, на что он обрек себя, обещав Мерседес жизнь ее сына, граф повторял:

– Глупо, глупо, глупо – разыгрывать великодушие, изображая неподвижную мишень для пистолета этого мальчишки! Никогда он не поверит, что моя смерть была самоубийством, между тем честь моего имени (ведь это не тщеславие, господи, а только справедливая гордость!)... честь моего имени требует, чтобы люди знали, что я сам, по собственной воле,

ником не понуждаемый, согласился остановить уже занесенную руку и что этой рукой, столь грозной для других, я поразил самого себя; так нужно, и так будет.

И, схватив перо, он достал из потайного ящика письменного стола свое завещание, составленное им после прибытия в Париж, и сделал приписку, из которой даже и наименее прозорливые люди могли понять истинную причину его смерти.

– Я делаю это, господь мой, – сказал он, подняв к небу глаза, – столько же ради тебя, сколько ради себя. Десять лет я смотрел на себя как на орудие твоего отмщения, и нельзя, чтобы и другие негодяй, помимо этого Морсера, Данглар, Вильфор, да и сам Морсер вообразили, будто счастливый случай избавил их от врага. Пусть они, напротив, знают, что провидение, которое уже уготовило им возмездие, было остановлено только силой моей воли; что кара, которой они избегли здесь, ждет их на том свете и что для них только время заменилось вечностью.

В то время как он терзался этими мрачными сомнениями, тяжелым забытием человека, которому страдания не дают уснуть, в оконные стекла начал пробиваться рассвет и озарил лежащую перед графом бледно-голубую бумагу, на которой он только что начертил эти предсмертные слова, оправдывающие провидение.

Было пять часов утра.

Вдруг до его слуха донесся слабый стон. Монте-Кристо почудился как бы подавленный вздох; он обернулся, посмотрел кругом и никого не увидел. Но вздох так явственно повторился, что его сомнения перешли в уверенность.

Тогда граф встал, бесшумно открыл дверь в гостиную и увидел в кресле Гайде; руки ее бессильно повисли, прекрасное бледное лицо было запрокинуто; она пододвинула свое кресло к двери, чтобы он не мог выйти из комнаты, не заметив ее, но сон, необоримый сон молодости, сломил ее после томительного бдения.

Она не проснулась, когда Монте-Кристо открыл дверь.

Он остановил на ней взгляд, полный нежности и сожаления.

– Она помнила о своем сыне, – сказал он, – а я забыл о своей дочери!

Он грустно покачал головой.

– Бедная Гайде, – сказал он, – она хотела меня видеть, хотела говорить со мной, она догадывалась и боялась за меня... Я не могу уйти, не простившись с ней, не могу умереть, не поручив ее кому-нибудь.

И он тихо вернулся на свое место и приписал внизу, под предыдущими строчками:

«Я завещаю Максимилиану Моррелю, капитану спаги, сыну моего бывшего хозяина, Пьера Морреля, судовладельца в Марселе, капитал в двадцать миллионов, часть которых он должен отдать своей сестре Жюли и своему зятю Эммануэлю, если он, впрочем, не думает, что такое обогащение может повредить их счастью. Эти двадцать миллионов спрятаны в моей пещере на острове Монте-Кристо, вход в которую известен Бертуччо.

Если его сердце свободно и он захочет жениться па Гайде, дочери Али, янинского паши, которую я воспитал, как любящий отец, и которая любила меня, как нежная дочь, то он исполнит не мою последнюю волю, но мое последнее желание.

По настоящему завещанию Гайде является наследницей всего остального моего имущества, которое заключается в землях, государственных бумагах Англии, Австрии и Голландии, а равно в обстановке моих дворцов и домов, и которое, за вычетом этих двадцати миллионов, так же, как и сумм, завещанных моим слугам, равняется приблизительно шестидесяти миллионам».

Когда он дописывал последнюю строчку, за его спиной раздался слабый возглас, и он выронил перо.

– Гайде, – сказал он, – ты прочла?

Молодую невольницу разбудил луч рассвета, коснувшийся ее век; она встала и подошла к графу своими неслышными легкими шагами по мягкому ковру.

– Господин мой, – сказала она, с мольбой складывая руки, – почему ты это пишешь в такой час? Почему завещаешь ты мне все свои богатства? Разве ты покидаешь меня?

– Я пускаюсь в дальний путь, друг мой, – сказал Монте-Кристо с выражением бесконечной печали и нежности, – и если бы со мной что-нибудь случилось...

Граф замолк.

– Что тогда?.. – спросила девушка так властно, как никогда не говорила со своим господином.

– Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, что бы со мной ни случилось, – продолжал Монте-Кристо.

Гайде печально улыбнулась и медленно покачала головой.

– Ты думаешь о смерти, господин мой, – сказала она.

– Это спасительная мысль, дитя мое, сказал мудрец.

– Если ты умрешь, – отвечала она, – завещаю свои богатства другим, потому что, если ты умрешь... мне никаких богатств не нужно.

И, взяв в руки завещание, она разорвала его и бросила обрывки на пол. После этой вспышки, столь необычайной для невольницы, она без чувств упала на ковер.

Монте-Кристо нагнулся, поднял ее на руки, и, глядя на это прекрасное, побледневшее лицо, на сомкнутые длинные ресницы, на недвижимое, беспомощное тело, он впервые подумал, что, быть может, она любит его не только как дочь.

– Быть может, – прошептал он с глубокой печалью, – я еще узнал бы счастье!

Он отнес бесчувственную Гайде в ее комнаты и поручил ее заботам служанок. Вернувшись в свой кабинет, дверь которого он на этот раз быстро запер за собой, он снова написал завещание.

Не успел он кончить, как послышался стук кабриолета, въезжающего во двор. Монте-Кристо подошел к окну и увидел Максимилиана и Эмманюеля.

– Отлично, – сказал он, – я кончил как раз вовремя.

И он запечатал завещание тремя печатями.

Минуту спустя он услышал в гостиной шаги и пошел отпереть дверь.

Вошел Моррель.

Он приехал на двадцать минут раньше назначенного времени.

– Быть может, я приехал немного рано, граф, – сказал он, – но признаюсь вам откровенно, что не мог заснуть ни на минуту, как и мои домашние. Я должен был увидеть вас, вашу спокойную уверенность, чтобы снова стать самим собою.

Монте-Кристо был тронут этой сердечной привязанностью и, вместо того чтобы протянуть Максимилиану руку, заключил его в свои объятия.

– Моррель, – сказал он ему, – сегодня для меня прекрасный день, потому что я почувствовал, что такой человек, как вы, любит меня. Здравствуйте, Эмманюель. Так вы едете со мной, Максимилиан?

– Конечно! Неужели вы могли в этом сомневаться?

– А если я неправ...

– Я видел всю вчерашнюю сцену, я всю ночь вспоминал ваше самообладание, и я сказал себе, что, если только можно верить человеческому лицу, правда на вашей стороне.

– Но ведь Альбер ваш друг.

– Просто знакомый.

– Вы с ним познакомились в тот же день, что со мной?

– Да, это верно; но вы сами видите, если бы вы не сказали об этом сейчас, я бы и не вспомнил.

– Благодарю вас, Моррель.

И граф позвонил.

– Вели отнести это к моему нотариусу, – сказал он тотчас же явившемуся Али. – Это мое завещание, Моррель. После моей смерти вы с ним ознакомитесь.

– После вашей смерти? – воскликнул Моррель. – Что это значит?

– Надо все предусмотреть, мой друг. Но что вы делали вчера вечером, когда мы расстались?

– Я отправился к Тортони и застал там, как и рассчитывал, Бошана и Шато-Рено. Сознаюсь вам, что я их разыскивал.

– Зачем же, раз всё уже было условлено?

– Послушайте, граф, дуэль серьезная и неизбежная.

– Разве вы в этом сомневались?

– Нет. Оскорбление было нанесено публично, и все уже говорят о нем.

– Так что же?

– Я надеялся уговорить их выбрать другое оружие, заменить пистолет шпагой. Пуля слепа.

– Вам это удалось? – быстро спросил Монте-Кристо с едва уловимой искрой надежды.

– Нет, потому что всем известно, как вы владеете шпагой.

– Вот как! Кто же меня выдал?

- Учителя фехтования, которых вы превзошли.
- И вы потерпели неудачу?
- Они наотрез отказались.
- Моррель, – сказал граф, – вы когда-нибудь видели, как я стреляю из пистолета?
- Никогда.
- Так посмотрите, время у нас есть.

Монте-Кристо взял пистолеты, которые держал в руках, когда вошла Мерседес, и, приклеив туза треф к доске, он четырьмя выстрелами последовательно пробил три листа и ножку трилистника.

При каждом выстреле Моррель все больше бледнел.

Он рассмотрел пули, которыми Монте-Кристо проделал это чудо, и увидел, что они не больше крупных дробинок.

– Это страшно, – сказал он, – взгляните, Эмманюель!

Затем он повернулся к Монте-Кристо.

– Граф, – сказал он, – ради всего святого, не убивайте Альбера! Ведь у несчастного юноши есть мать!

– Это верно, – сказал Монте-Кристо, – а у меня ее нет.

Эти слова он произнес таким тоном, что Моррель содрогнулся.

– Ведь оскорбленный – вы.

– Разумеется; но что вы этим хотите сказать?

– Это значит, что вы стреляете первый.

– Я стреляю первый?

– Да, я этого добился, или вернее, потребовал; мы уже достаточно сделали им уступок, и им пришлось согласиться.

– А расстояние?

– Двадцать шагов.

На губах графа мелькнула страшная улыбка.

– Моррель, – сказал он, – не забудьте того, чему сейчас были свидетелем.

– Вот почему, – сказал Моррель, – я только и надеюсь на то, что ваше волнение спасет Альбера.

– Мое волнение? – спросил Монте-Кристо.

– Или ваше великодушие, мой друг; зная, что вы стреляете без промаха, я могу сказать вам то, что было бы смешно говорить другому.

– А именно?

– Попадите ему в руку, или еще куда-нибудь, но не убивайте его.

– Слушайте, Моррель, что я вам скажу, – отвечал граф, – вам незачем уговаривать меня пощадить Морсера; Морсер будет пощажён, и даже так, что спокойно отправится со своими друзьями домой, тогда как я...

– Тогда как вы?..

– А это дело другое, меня понесут на носилках.

– Что вы говорите, граф! – вне себя воскликнул Максимилиан.

– Да, дорогой Моррель, Морсер меня убьет.

Моррель смотрел на графа в полном недоумении.

– Что с вами произошло этой ночью, граф?

– То, что произошло с Брутом накануне сражения при Филиппах: я видел призрак.

– И?..

– И этот призрак сказал мне, что я достаточно жил па этом свете.

Максимилиан и Эмманюель обменялись взглядом; Монте-Кристо вынул часы.

– Едем, – сказал он, – пять минут восьмого, а дуэль назначена ровно в восемь.

Проходя по коридору, Монте-Кристо остановился у одной из дверей, и Максимилиану и Эмманюелю, которые, не желая быть нескромными, прошли немного вперед, показалось, что они слышат рыдание и ответный вздох.

Экипаж был уже подан; Монте-Кристо сел вместе со своими секундантами.

Ровно в восемь они были на условленном месте.

– Вот мы и приехали, – сказал Моррель, высовываясь в окно кареты, – и притом первые.

– Прошу прощения, сударь, – сказал Батистен, сопровождавший своего хозяина, – но мне кажется, что вон там под деревьями стоит экипаж.

Монте-Кристо легко выпрыгнул из кареты и подал руку Эмманюелю и Максимилиану, чтобы помочь им выйти.

Максимилиан удержал руку графа в своих.

– Слава богу, – сказал он, – такая рука должна быть у человека, который, в сознании своей правоты, спокойно ставит на карту свою жизнь.

– В самом деле, – сказал Эмманюель, – вон там прогуливаются какие-то молодые люди и, по-видимому, кого-то ждут.

Монте-Кристо отвел Морреля на несколько шагов в сторону.

– Максимилиан, – спросил он, – свободно ли ваше сердце?

Моррель изумленно взглянул на Монте-Кристо.

– Я не жду от вас признания, дорогой друг, я просто спрашиваю; ответьте мне, да или нет; это все, о чем я вас прошу.

– Я люблю, граф.

– Сильно любите?

– Больше жизни.

– Еще одной надеждой меньше, – сказал Монте-Кристо со вздохом. – Бедная Гайде.

– Право, граф, – воскликнул Моррель, – если бы я вас меньше знал, я мог бы подумать, что вы малодушны.

– Почему? Потому что я вздыхаю, расставаясь с дорогим мне существом? Вы солдат, Моррель, вы должны бы лучше знать, что такое мужество. Разве я жалею о жизни? Не все ли мне равно – жить или умереть, – мне, который провел двадцать лет между жизнью и смертью. Впрочем, не беспокойтесь, Моррель: эту слабость, если это слабость, видите только вы один. Я знаю, что мир – это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланявшись со всеми и заплатив свои карточные долги.

– Ну, слава богу, – сказал Моррель, – вот это хорошо сказано. Кстати, вы привезли пистолеты?

– Я? Зачем? Я надеюсь, что эти господа привезли свои.

– Пойду узнаю, – сказал Моррель.

– Хорошо, но только никаких переговоров.

– Будьте спокойны.

Моррель направился к Бошану и Шато-Рено. Те, увидав, что Моррель идет к ним, сделали ему навстречу несколько шагов.

Молодые люди раскланялись друг с другом, если и не приветливо, то со всей учтивостью.

– Простите, господа, – сказал Моррель, – по я не вижу господина де Морсер.

– Сегодня утром, – ответил Шато-Рено, он послал предупредить нас, что встретится с нами на месте дуэли.

– Вот как, – заметил Моррель.

Бошан посмотрел на часы.

– Пять минут девятого; это еще не поздно, господин Моррель, – сказал он.

– Я вовсе не это имел в виду, – возразил Максимилиан.

– Да вот, кстати, и карета, – прервал Шато-Рено.

По одной из аллей, сходящихся у перекрестка, где они стояли, мчался экипаж.

– Господа, – сказал Моррель, – я надеюсь, вы позаботились привезти с собой пистолеты? Граф Монте-Кристо заявил мне, что отказывается от своего права воспользоваться своими.

– Мы предвидели это, – отвечал Бошан, – и я привез пистолеты, которые я купил с поделю тому назад, предполагая, что они мне понадобятся. Они совершенно новые и еще ни разу не были в употреблении, не желаете ли их осмотреть?

– Раз вы говорите, – с поклоном ответил Моррель, – что господин де Морсер с этими пистолетами не знаком, то мне, разумеется, достаточно вашего слова.

– Господа, – сказал Шато-Рено, – это совсем не Морсер приехал. Смотрите-ка!

В самом деле к ним приближались Франц и Дебрэ.

– Каким образом вы здесь, господа? – сказал Шато-Рено, пожимая обоим руки.

– Мы здесь потому, – сказал Дебрэ, – что Альбер сегодня утром попросил нас приехать на место дуэли.

Бошан и Шато-Рено удивленно переглянулись.

– Господа, – сказал Моррель, – я, кажется, понимаю, в чем дело.

– Так скажите.

– Вчера дном я получил от господина де Морсер письмо, в котором он просил меня быть вечером в Опере.

– И я, – сказал Дебрэ.

– И я, – сказал Франц.

– И мы, – сказали Шато-Рено и Бошан.

– Он хотел, чтобы вы присутствовали при вызове, – сказал Моррель. – Теперь он хочет, чтобы вы присутствовали при дуэли.

– Да, – сказали молодые люди, – это так и есть, господин Моррель, по-видимому, вы угадали.

– Но тем не менее Альбер не едет, – пробормотал Шато-Рено, – он уже опоздал на десять минут.

– А вот и он, – сказал Бошан, – верхом; смотрите, мчится во весь опор, и с ним слуга.

– Какая неосторожность, – сказал Шато-Рено, – верхом перед дуэлью на пистолетах! А сколько я его наставлял!

– И, кроме того, посмотрите, – сказал Бошан, – воротник с галстуком, открытый сюртук, белый жилет; почему он заодно не нарисовал себе кружок на животе – и проще, и скорее!

Тем временем Альбер был уже в десяти шагах от них; он остановил лошадь, спрыгнул на землю и бросил поводья слуге.

Он был бледен, веки его покраснели и припухли. Видно было, что он всю ночь не спал.

На его лице было серьезное и печальное выражение, совершенно ему не свойственное.

– Благодарю вас, господа, – сказал он, – что вы откликнулись на мое приглашение; поверьте, что я крайне признателен вам за это дружеское внимание.

Моррель стоял поодаль; как только Морсер появился, он отошел в сторону.

– И вам также, господин Моррель, – сказал Альбер. – Подойдите поближе, прошу вас, вы здесь не лишний.

– Сударь, – сказал Максимилиан, – вам, быть может, неизвестно, что я секундант графа Монте-Кристо?

– Я так и предполагал. Тем лучше! Чем больше здесь достойных людей, тем мне приятнее.

– Господин Моррель, – сказал Шато-Рено, – вы можете объявить графу Монте-Кристо, что господин де Морсер прибыл и что мы в его распоряжении.

Моррель повернулся, чтобы исполнить это поручение.

Бошан в это время доставал из экипажа ящик с пистолетами.

– Подождите, господа, – сказал Альбер, – мне надо сказать два слова графу Монте-Кристо.

– Наедине? – спросил Моррель.

– Нет, при всех.

Секунданты Альбера изумленно переглянулись; Франц и Дебрэ обменялись вполголоса несколькими словами, а Моррель, обрадованный этой неожиданной задержкой, подошел к графу, который вместе с Эмманюелем расхаживал по аллее.

– Что ему от меня нужно? – спросил Монте-Кристо.

– Право, не знаю, но он хочет говорить с вами.

– Лучше пусть он не искушает бога каким-нибудь новым оскорблением! – сказал Монте-Кристо.

– Я не думаю, чтобы у него было такое намерение, – возразил Моррель.

Граф в сопровождении Максимилиана и Эмманюеля направился к Альберу. Его спокойное и ясное лицо было полной противоположностью взволнованному лицу Альбера, который шел ему навстречу, сопровождаемый своими друзьями.

В грех шагах друг от друга Альбер и граф остановились.

– Господа, – сказал Альбер, – подойдите ближе, я хочу, чтобы не пропало ни одно слово из того, что я буду иметь честь сказать графу Монте-Кристо; ибо все, что я буду иметь честь ему сказать, должно быть повторено вами всякому, кто этого пожелает, как бы вам ни казались странными мои слова.

– Я вас слушаю, сударь, – сказал Монте-Кристо.

– Граф, – начал Альбер, и его голос, вначале дрожавший, становился более уверенным, по мере того как он говорил. – Я обвинял вас в том, что вы разгласили поведение господина де Морсер в Эпире, потому что, как бы ни был виновен граф де Морсер, я все же не считал вас вправе наказывать его. Но теперь я знаю, что вы имеете на это право. Не предательство, в котором Фернан Мондего повинен перед Али-пашой, оправдывает вас в моих глазах, а предательство, в котором рыбак Фернан повинен перед вами, и те неслыханные несчастья, которые явились следствием этого предательства. И потому я говорю вам и заявляю во всеуслышание: да, сударь, вы имели право мстить моему отцу, и я, его сын, благодарю вас за то, что вы не сделали большего!

Если бы молния ударила в свидетелей этой неожиданной сцены, она ошеломила бы их меньше, чем заявление Альбера.

Монте-Кристо медленно поднял к небу глаза, в которых светилось выражение беспредельной признательности. Он не мог надивиться, как пылкий Альбер, показавший себя таким храбрецом среди римских разбойников, пошел на это неожиданное унижение. И он узнал влияние Мерседес и понял, почему ее благородное сердце не воспротивилось его жертве.

– Теперь, сударь, – сказал Альбер, – если вы считаете те достаточными те извинения, которые я вам принес, прошу вас, – вашу руку. После непогрешимости, редчайшего достоинства, которым обладаете вы, величайшим достоинством я считаю умение признать свою неправоту. Но это признание – мое личное дело. Я поступал правильно по божьей воле. Только ангел мог спасти одного из нас от смерти, и этот ангел спустился на землю не для того, чтобы мы стали друзьями, – к несчастью, это невозможно, – но для того, чтобы мы остались людьми, уважающими друг друга.

Монте-Кристо со слезами на глазах, тяжело дыша, протянул Альберу руку, которую тот схватил и пожал чуть ли не с благоговением.

– Господа, – сказал он, – граф Монте-Кристо согласен принять мои извинения. Я поступил по отношению к нему опрометчиво. Опрометчивость – плохой советчик, Я поступил дурно. Теперь я загладил свою вину. Надеюсь, что люди не сочтут меня трусом за то, что я поступил так, как мне велела совесть. Но, во всяком случае, если мой поступок будет превратно понят, – прибавил он, гордо поднимая голову и как бы посылая вызов всем своим друзьям и недругам, – я постараюсь изменить их мнение обо мне.

– Что такое произошло сегодня ночью? – спросил Бошан Шато-Рено. – По-моему, наша роль здесь незавидна.

– Действительно, то, что сделал Альбер, либо очень низко, либо очень благородно, – ответил барон.

– Что всё это значит? – сказал Дебрэ, обращаясь к Францу. – Граф Монте-Кристо обесчестил Морсера, и его сын находит, что он прав! Да если бы в моей семье было десять Янин, я бы знал только одну обязанность: драться десять раз.

Монте-Кристо, поникнув головой, бессильно опустив руки, подавленный тяжестью двадцатичетырехлетних воспоминаний, не думал ни об Альбере, ни о Бошане, ни о Шато-Рено, ни о ком из присутствующих; он думал о смелой женщине, которая пришла к нему молить его о жизни сына, которой он предложил свою и которая спасла ее ценой страшного признания, открыв семейную тайну, быть может, навсегда убившую в этом юноше чувство сыновней любви.

– Опять рука провидения! – прошептал он. – Да, только теперь я уверовал, что я послан богом!

XIV. Мать и сын

Граф Монте-Кристо с печальной и полной достоинства улыбкой откланялся молодым людям и сел в свой экипаж вместе с Максимилианом и Эмманюелем.

Альбер, Бошан и Шато-Рено остались одни на поле битвы.

Альбер смотрел на своих секундантов испытующим взглядом, который, хоть и не выражал робости, казалось, все же спрашивал их мнение о том, что произошло.

– Поздравляю, дорогой друг, – первым заговорил Бошан, потому ли, что он был отзывчивее других, потому ли, что в нем было меньше притворства, – вот совершенно неожиданная развязка неприятной истории.

Альбер ничего не ответил.

Шато-Рено похлопывал по ботфорту своей гибкой тросточкой.

– Не пора ли нам ехать? – прервал он, наконец, неловкое молчание.

– Как хотите, – отвечал Бошан, – разрешите мне только выразить Морсеру свое восхищение; он выказал сегодня рыцарское великодушие... столь редкое в наше время!

– Да, – сказал Шато-Рено.

– Можно только удивляться такому самообладанию, – продолжал Бошан.

– Несомненно; во всяком случае я был бы на это не способен, – сказал Шато-Рено с недвусмысленной холодностью.

– Господа, – прервал Альбер, – мне кажется, вы не поняли, что между графом Монте-Кристо и мной произошло нечто не совсем обычное...

– Нет, нет, напротив, – возразил Бошан, – но наши сплетники едва ли сумеют оцепить ваш героизм, и, рано или поздно, вы будете вынуждены разъяснить им свое поведение, и притом столь энергично, что это может оказаться во вред вашему здоровью и долголетию. Дать вам дружеский совет? Уезжайте в Неаполь, Гаагу или Санкт-Петербург – места спокойные, где более разумно смотрят на вопросы чести, чем в нашем сумасбродном Париже. А там поусерднее упражняйтесь в стрельбе из пистолета и в фехтовании. Через несколько лет вас основательно забудут, либо слава о вашем боевом искусстве дойдет до Парижа, и тогда мирно возвращайтесь во Францию. Вы согласны со мной, Шато-Рено?

– Вполне разделяю ваше мнение, – сказал барон. – За несостоявшейся дуэлью обычно следуют дуэли весьма серьезные.

– Благодарю вас, господа, – сухо ответил Альбер, – я принимаю ваш совет, не потому, что вы мне его дали, но потому, что я все равно решил покинуть Францию. Благодарю вас также за то, что вы согласились быть моими секундантами. Судите сами, как высоко я ценю эту услугу, если, выслушав ваши слова, я помню только о ней.

Шато-Рено и Бошан переглянулись. Слова Альбера произвели на обоих одинаковое впечатление, а тон, которым он высказал свою благодарность, звучал так решительно, что все трое очутились бы в неловком положении, если бы этот разговор продолжался.

– Прощайте, Альбер! – заторопившись, сказал Бошан и небрежно протянул руку, но Альбер, по-видимому, глубоко задумался; во всяком случае он ничем не показал, что видит эту протянутую руку.

– Прощайте, – в свою очередь сказал Шато-Рено, держа левой рукой свою тросточку и делая правой прощальный жест.

– Прощайте! – сквозь зубы пробормотал Альбер. Но взгляд его был более выразителен: в нем была целая гамма сдержанного гнева, презрения, негодования.

После того как оба его секунданта сели в экипаж и уехали, он еще некоторое время стоял неподвижно; затем стремительно отвязал свою лошадь от деревца, вокруг которого слуга заматал ее поводья, легко вскочил в седло и поскакал к Парижу. Четверть часа спустя он уже входил в особняк на улице Эльдер.

Когда он спешивался, ему показалось, что за оконной занавеской мелькнуло бледное лицо графа де Морсер; он со вздохом отвернулся и прошел в свой флигель.

С порога он окинул последним взглядом всю эту роскошь, которая с самого детства услаждала его жизнь; он в последний раз взглянул на свои картины. Лица на полотнах, казалось, улыбались ему, а пейзажи словно вспыхнули живыми красками.

Затем он снял с дубового подрамника портрет своей матери и свернул его, оставив золоченую раму пустой.

После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями Фешера и Бари; осмотрел шкафы и запер их все на ключ; бросил в ящик стола, оставив его открытым, все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки; составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги.

В начале этой работы его камердинер, вопреки приказанию Альбера не беспокоить его, вошел в комнату.

– Что вам нужно? – спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито.

– Прошу прощения, сударь, – отвечал камердинер, – правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Морсер.

– Ну так что же? – спросил Альбер.

– Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения.

– Почему?

– Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли.

– Возможно, – сказал Альбер.

– И он меня зовет, наверное, чтобы узнать, что там произошло. Что прикажете ему ответить?

– Правду.

– Так я должен сказать, что дуэль не состоялась?

– Вы скажете, что я извинился перед графом Монте-Кристо; ступайте.

Камердинер поклонился и вышел.

Альбер снова принялся за опись.

Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла; он подошел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал.

Не успели ворота особняка закрыться за графом, как Альбер направился в комнаты своей матери; не найдя никого, чтобы доложить о себе, он прошел прямо в спальню Мерседес и остановился на пороге, взволнованный тем, что он увидел.

Словно у матери и сына была одна душа: Мерседес была занята тем же, чем только что был занят Альбер.

Все было убрано; кружева, драгоценности, золотые вещи, белье, деньги были уложены по шкафам, и Мерседес тщательно подбирала к ним ключи.

Альбер увидел эти приготовления; он все понял и, воскликнув: «Мама!», кинулся на шею Мерседес.

Художник, который сумел бы передать выражение их лиц в эту минуту, создал бы прекрасную картину.

Готовясь к смелому шагу, Альбер не страшился за себя, но приготовления матери испугали его.

– Что вы делаете? – спросил он.

– А что делал ты? – ответила она.

– Но я – другое дело! – воскликнул Альбер, задыхаясь от волнения. – Не может быть, чтобы вы приняли такое же решение, потому что я покидаю этот дом... я пришел проститься с вами.

– И я тоже, Альбер, – отвечала Мерседес, – я тоже уезжаю. Я думала, что мой сын будет сопровождать меня, – неужели я ошиблась?

– Матушка, – твердо сказал Альбер, – я не могу позволить вам разделить ту участь, которая ждет меня; отныне у меня не будет ни имени, ни денег; жизнь моя будет трудная, мне придется вначале принять помощь кого-нибудь из друзей, пока я сам не заработаю свой кусок хлеба. Поэтому я сейчас иду к Францу и попрошу его ссудить меня той небольшой суммой, которая, по моим расчетам, мне понадобится.

– Бедный мальчик! – воскликнула Мерседес, – ты – и нищета, голод! Не говори этою, ты заставишь меня отказаться от моего решения!

– Но я не откажусь от своего, – отвечал Альбер. – Я молод, я силен и, надеюсь, храбр; а вчера я узнал, что значит твердая воля. Есть люди, которые безмерно страдали – и они не умерли, по построили себе новую жизнь на развалинах того счастья, которое им сулило небо, на обломках своих надежд! Я узнал это, матушка, я видел этих людей; я знаю, что из глубины той бездны, куда их бросил враг, они поднялись полные такой силы и окруженные такой славой, что восторжествовали над своим победителем и сами сбросили его в бездну. Нет, отныне я рву со своим прошлым и ничего от него не беру, даже имени, потому что, – поймите меня, – ваш сын не может носить имени человека, который должен краснеть перед людьми.

– Альбер, сын мой, – сказала Мерседес, – будь я сильнее духом, я сама бы дала тебе этот совет; мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса твоей совести, Альбер. У тебя были друзья, – порви на время с ними; но, во имя твоей матери, не отчаивайся! В твои годы жизнь еще прекрасна, и так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца, его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер; какое бы поприще ты ни избрал, ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, и перенесенные страдания еще больше возвеличат тебя. Но если, вопреки моим чаяниям, тебе это не суждено, оставь мне по крайней мере надежду; только этой мыслью я и буду жить, ибо для меня нет будущего, и за порогом этого дома начинается моя смерть.

– Я исполню ваше желание, матушка, – сказал Альбер, – я разделяю ваши надежды; божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность... Но раз мы решились, будем действовать. Господин де Морсер уехал из дому с полчаса тому назад; это удобный случай избежать шума и объяснений.

– Я буду ждать тебя, сын мой, – сказала Мерседес.

Альбер вышел из дому и вернулся с фиакром; он вспомнил о небольшом пансионе на улице св. Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещение для матери.

Когда фиакр подъехал к воротам и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо.

Альбер узнал Бертуччо.

– От графа, – сказал управляющий.

Альбер взял письмо и вскрыл его.

Кончив читать, он стал искать глазами Бертуччо, но тот исчез.

Тогда Альбер, со слезами на глазах, вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо.

Мерседес прочла:

«Альбер!

Я угадал намерение, которое вы сейчас приводите в исполнение, – вы видите, что и я не чужд душевной чуткости. Вы свободны, вы покидаете дом графа и увозите с собой свою мать, свободную, как вы. Но подумайте, Альбер: вы обязаны ей большим, чем можете ей дать, бедный, благородный юноша! Возьмите на себя борьбу и страдание, но избавьте ее от нищеты, которая вас неизбежно ждет на первых порах; ибо она не заслуживает даже тени того несчастья, которое ее постигло, и провидение не допустит, чтобы невинный расплачивался за виновного.

Я знаю, вы оба покидаете дом на улице Эльдер, ничего оттуда не взяв. Не допытывайтесь, как я это узнал. Я знаю; этого довольно.

Слушайте, Альбер.

Двадцать четыре года тому назад я, радостный и гордый, возвращался на родину. У меня была невеста, Альбер, святая девушка, которую я боготворил, и я вез своей невесте сто пятьдесят луидоров, скопленных неустанной, тяжелой работой. Эти деньги были ее, я ей их предназначал и, зная, как вероломно море, я зарыл наше сокровище в маленьком садике того дома в Марселе, где жил мой отец, на Мельянских аллеях.

Ваша матушка, Альбер, хорошо знает этот бедный, милый дом.

Не так давно, по дороге в Париж, я был проездом в Марселе. Я пошел взглянуть на этот дом, полный горьких воспоминаний; и вечером, с заступом в руках, я отправился в тот уголок, где зарыл свой клад. Железный ящичек все еще был на том же месте, никто его не тронул; он зарыт в углу, в тени прекрасною фигового дерева, которое в день моего рождения посадил мой отец.

Эти деньги некогда должны были обеспечить жизнь и покой той женщине, которую я боготворил, и ныне, но странной и горестной прихоти случая, они нашли себе то же применение. Поймите меня, Альбер: я мог бы предложить этой несчастной женщине миллионы, но я возвращаю ей лишь кусок хлеба, забытый под моей убогой кровлей в тот самый день, когда меня разлучили с той, кого я любил.

Вы человек великодушный, Альбер, но, может быть, вас еще ослепляет гордость или обида; если вы мне откажете, если вы возьмете от другого то, что я вправе вам предложить, я скажу, что с вашей стороны жестоко отвергать кусок хлеба для вашей матери, когда его предлагает человек, чей отец, по вине вашего отца, умер в муках голода и отчаяния».

Альбер стоял бледный и неподвижный, ожидая решения матери.

Мерседес подняла к небу растроганный взгляд.

– Я принимаю, – сказала она, – он имеет право предложить мне эти деньги.

И, спрятав на груди письмо, она взяла сына под руку и поступью, более твердой, чем, может быть, сама ожидала, вышла на лестницу.

XV. Самоубийство

Тем временем Монте-Кристо вместе с Эмманюелем и Максимилианом тоже вернулся в город.

Возвращение их было веселое. Эмманюель не скрывал своей радости, что все окончилось так благополучно, и откровенно заявлял о своих миролюбивых вкусах. Моррель, сидя в углу

кареты, не мешал зятю изливать свою веселость в словах и молча переживал радость, не менее искреннюю, хоть она и светилась только в его взгляде.

У заставы Трон они встретили Бертуччо; он ждал их, неподвижный, как часовой на посту.

Монте-Кристо высунулся из окна кареты, вполголоса обменялся с ним несколькими словами, и управляющий быстро удалился.

– Граф, – сказал Эмманюель, когда они подъезжали к Пляс-Рояль, – остановите, пожалуйста, карету у моего дома, чтобы моя жена ни одной лишней минуты не волновалась за вас и за меня.

– Если бы не было смешно кичиться своим торжеством, – сказал Моррель, – я пригласил бы графа зайти к нам; но, вероятно, графу тоже надо успокоить чьи-нибудь тревожно бьющиеся сердца. Вот мы и приехали, Эмманюель; простимся с нашим другом и дадим ему возможность продолжать свой путь.

– Погодите, – сказал Монте-Кристо, – я не хочу лишиться так сразу обоих спутников; идите к вашей прелестной жене и передайте ей от меня искренний привет; а вы, Моррель, проводите меня до Елисейских Полей.

– Чудесно, – сказал Максимилиан, – тем более что мне и самому нужно в вашу сторону, граф.

– Ждать тебя к завтраку? – спросил Эмманюель.

– Нет, – отвечал Максимилиан.

Дверца захлопнулась, и карета покатила дальше.

– Видите, я принес вам счастье, – сказал Моррель, оставшись наедине с графом. – Вы не думали об этом?

– Думал, – сказал Монте-Кристо, – потому-то мне и хотелось бы никогда с вами не расставаться.

– Это просто чудо! – продолжал Моррель, отвечая на собственные мысли.

– Что именно? – спросил Монте-Кристо.

– То, что произошло.

– Да, – отвечал с улыбкой граф, – вы верно сказали, Моррель, это просто чудо!

– Как-никак, – продолжал Моррель, – Альбер человек храбрый.

– Очень храбрый, – сказал Монте-Кристо, – я сам видел, как он мирно спал, когда над его головой был занесен кинжал.

– А я знаю, что он два раза дрался на дуэли, и дрался очень хорошо; как же все это вяжется с сегодняшним его поведением?

– Это ваше влияние, – улыбаясь, заметил Монте-Кристо.

– Счастье для Альбера, что он не военный! – сказал Моррель.

– Почему?

– Принести извинение у барьера! – и молодой капитан покачал головой.

– Послушайте, Моррель! – мягко сказал граф. – Неужели и вы разделяете предрас-судки обыкновенных людей? Ведь согласитесь, что если Альбер храбр, то он не мог сделать это из трусости; у него, несомненно, была причина поступить так, как он поступил сегодня, и, таким образом, его поведение скорее всего можно назвать геройским.

– Да, конечно, – отвечал Моррель, – но я скажу, как говорят испанцы: сегодня он был менее храбр, чем вчера.

– Вы позавтракаете со мной, правда, Моррель? – сказал граф, меняя разговор.

– Нет, я расстанусь с вами в десять часов.

– Вы условились с кем-нибудь завтракать вместе?

Моррель улыбнулся и покачал головой.

– Но ведь где-нибудь позавтракать вам надо.

– Я не голоден, – возразил Максимилиан.

– Мне известны только два чувства, от которых человек лишается аппетита, – заметил граф: – горе и любовь.

Я вижу, к счастью, что вы в очень веселом настроении, – значит, это не горе... Итак, судя по тому, что вы мне сказали сегодня утром, я позволю себе думать...

– Ну что ж, граф, – весело отвечал Моррель, – я не отрицаю.

– И вы ничего мне об этом не расскажете, Максимилиан? – сказал граф с такой живостью, что было ясно, как бы ему хотелось узнать тайну Морреля.

– Сегодня утром, граф, вы могли убедиться в том, что у меня есть сердце, не так ли?

Вместо ответа Монте-Кристо протянул Моррелю руку.

– Теперь, – продолжал тот, – когда мое сердце уже больше не в Венсенском лесу, с вами, оно в другом месте, и я иду за ним.

– Идите, – медленно сказал граф, – идите, мой друг; но прошу вас, если на вашем пути встретятся препятствия, вспомните о том, что я многое на этом свете могу сделать, что я счастлив употребить свою власть на пользу тем, кого я люблю, и что я люблю вас, Моррель.

– Хорошо, – сказал Максимилиан, – я буду помнить об этом, как эгоистичные дети помнят о своих родителях, когда нуждаются в их помощи. Если мне это понадобится, – а очень возможно, что такая минута наступит, – я обращусь к вам за помощью, граф.

– Смотрите, вы дали слово. Так до свидания.

– До свидания.

Они подъехали к дому на Елисейских Полях. Монте-Кристо откинул дверцу. Моррель соскочил на мостовую.

На крыльце ждал Бертуччо.

Моррель удалился по авеню Мариньи, а Монте-Кристо быстро пошел навстречу Бертуччо.

– Ну, что? – спросил он.

– Она собирается покинуть свой дом, – отвечал управляющий.

– А ее сын?

– Флорантеп, его камердинер, думает, что он собирается сделать то же самое.

– Идите за мной.

Монте-Кристо прошел с Бертуччо в свой кабинет, написал известное нам письмо и передал его управляющему.

– Ступайте, – сказал он, – поспешите; кстати, пусть Гайде сообщат, что я вернулся.

– Я здесь, – ответила сама Гайде, которая, услышав, что подъехала карета, уже спустилась вниз и сияла от счастья, видя графа здоровым и невредимым.

Бертуччо вышел.

Всю радость нежной дочери, снова увидевшей отца, весь восторг возлюбленной, снова увидевшей любимого, испытала Гайде при этой встрече, которой она ждала с таким нетерпением.

Конечно, и радость Монте-Кристо, хоть и не выказываемая так бурно, была не менее велика; для исстрадавшихся сердец радость подобна росе, падающей на иссушенную зноем землю; сердце и земля впитывают благодатную влагу, но посторонний глаз не заметит этого.

За последние дни Монте-Кристо понял то, что давно уже казалось ему невозможным: на свете есть две Мерседес, он еще может быть счастлив.

Его пылающий радостью взор жадно погружался в затуманенные глаза Гайде, как вдруг открылась дверь.

Граф нахмурился.

– Господин де Морсер! – доложил Батистен, как будто одно это имя служило ему оправданием.

В самом деле лицо графа прояснилось.

– Который? – спросил он. – Виконт или граф?

– Граф.

– Неужели это еще не кончилось? – воскликнула Гайде.

– Не знаю, кончилось ли это, дитя мое, – сказал Монте-Кристо, беря девушку за руки, – но тебе нечего бояться.

– Но ведь этот негодяй...

– Этот человек бессилен против меня, Гайде, – сказал Монте-Кристо, – бояться надо было тогда, когда я имел дело с его сыном.

– Ты никогда не узнаешь, сколько я выстрадала, господин мой, – сказала Гайде.

Монте-Кристо улыбнулся.

– Клянусь тебе могилой моего отца, – сказал он, – если с кем-нибудь и случится несчастье, то во всяком случае не со мной.

– Я верю тебе, как богу, господин мой, – сказала молодая девушка, подставляя графу лоб.

Монте-Кристо запечатлел на этом прекрасном, чистом челе поцелуй, от которого забились два сердца, одно стремительно, другое глухо.

– Боже мой, – прошептал граф, – неужели ты позволишь мне снова полюбить!.. Попросите графа де Морсер в гостиную, – сказал он Батистену, провожая прекрасную гречанку к потайной лестнице.

Нам необходимо объяснить причину этого посещения, которого, быть может, и ждал Монте-Кристо, но, наверное, не ждали наши читатели.

Когда Мерседес, как мы уже говорили, производила у себя нечто вроде описи, сделанной и Альбером; когда она укладывала свои драгоценности, – запирала шкафы, собирала в одно место ключи, желая все оставить после себя в полном порядке, она не заметила, что за стеклянной дверью в коридор появилось мрачное, бледное лицо. Тот, кто смотрел через эту дверь, не будучи сам увиденным и услышанным, мог видеть и слышать все, что происходило у г-жи де Морсер.

Отойдя от этой двери, бледный человек удалился в спальню и поднял судорожно сжатой рукой занавеску окна, выходящего во двор.

Так он стоял минут десять, неподвижный, безмолвный, прислушиваясь к биению собственного сердца. Ему эти десять минут показались вечностью.

Именно тогда Альбер, возвращаясь с места дуэли, заметил в окне своего отца, подстерегавшего его, и отвернулся.

Граф широко раскрыл глаза, он знал, что Альбер нанес Монте-Кристо страшное оскорбление, что во всем мире подобное оскорбление влечет за собою дуэль, в которой одного из противников ожидает смерть. Альбер вернулся живой и невредимый; следовательно, его отец был отомщен.

Непередаваемая радость озарила это мрачное лицо, словно последний луч солнца, опускающегося в затянувшие горизонт тучи, как в могилу.

Но, как мы уже сказали, он тщетно ждал, что Альбер поднимется в его комнаты и расскажет о своем торжестве. Что его сын, идя сражаться, не захотел увидаться с отцом, за честь которого он мстил, это было попятно; но почему, отомстив за честь отца, сын не пришел и не бросился в его объятия?

Тогда-то граф, не имея возможности повидать Альбера, послал за его камердинером. Мы знаем, что Альбер велел камердинеру ничего не скрывать от графа.

Десять минут спустя на крыльце появился граф де Морсер, в черном сюртуке с воротником военного образца, в черных панталонах, в черных перчатках. Очевидно, он уже заранее отдал распоряжения, потому что не успел он спуститься с крыльца, как ему подали карету.

Камердинер сейчас же положил в карету плащ, в который были завернуты две шпаги, затем захлопнул дверцу и сел рядом с кучером.

Кучер ждал приказаний.

– На Елисейские Поля, – сказал генерал, – к графу Монте-Кристо. Живо!

Лошади рванулись под ударом бича; пять минут спустя они остановились у дома графа.

Морсер сам открыл дверцу и, еще на ходу, как юноша, выпрыгнул на аллею, позвонил и вошел вместе со своим камердинером в широко распахнутую дверь.

Через секунду Батистен докладывал Монте-Кристо о графе де Морсер, и Монте-Кристо, проводив Гайде, велел провести Морсера в гостиную.

Генерал уже третий раз отмеривал шагами длину гостиной, когда, обернувшись, он увидел на пороге Монте-Кристо.

– А, это господин де Морсер! – спокойно сказал Монте-Кристо. – Мне казалось, я ослышался.

– Да, это я, – сказал граф; губы его дрожали, он с трудом выговаривал слова.

– Мне остается узнать, – сказал Монте-Кристо, – чему я обязан удовольствием видеть графа де Морсер в такой ранний час.

– У вас сегодня утром была дуэль с моим сыном, сударь? – спросил генерал.

– Вам это известно? – спросил граф.

– Да, и мне известно также, что у моего сына были веские причины драться с вами и постараться убить вас.

– Действительно, сударь, у него были на это веские причины. Но все же, как видите, он меня не убил и даже не дрался.

– Однако вы в его глазах виновник бесчестия, постигшего его отца, виновник страшного несчастья, которое обрушилось на мой дом.

– Это верно, сударь, – сказал Монте-Кристо с тем же ужасающим спокойствием, – виновник, впрочем, второстепенный, а не главный.

– Вы, очевидно, извинились перед ним или дали какие-нибудь объяснения?

– Я не дал ему никаких объяснений, и извинился не я, а он.

– Но что же, по-вашему, означает его поведение?

– Скорее всего он убедился, что кто-то другой виновнее меня.

– Кто же?

– Его отец.

– Допустим, – сказал Морсер, бледнея, – но вы должны знать, что виновный не любит, когда ему указывают на его вину.

– Я это знаю... Потому я ждал того, что произошло.

– Вы ждали, что мой сын окажется трусом?! – воскликнул граф.

– Альбер де Морсер далеко не трус, – сказал Монте-Кристо.

– Если человек держит в руке шпагу, если перед ним стоит его смертельный враг и он не дерется – значит, он трус! Будь он здесь, я бы сказал ему это в лицо!

– Сударь, – холодно ответил Монте-Кристо, – я не думаю, чтобы вы явились ко мне обсуждать ваши семейные дела. Скажите все это своему сыну, может быть он найдет, что вам ответить.

– Нет, нет, – возразил генерал с мимолетной улыбкой, – вы совершенно правы, я приехал не для этого! Я приехал вам сказать, что я тоже считаю вас своим врагом! Я инстинктивно ненавижу вас! У меня такое чувство, будто я вас всегда знал и всегда ненавидел! И раз нынешние молодые люди отказываются драться, то драться надлежит нам... Вы согласны со мной, сударь?

– Вполне; поэтому, когда я сказал вам, что я ждал того, что должно произойти, я имел и виду и ваше посещение.

– Тем лучше... Следовательно, вы готовы?

– Я всегда готов.

– Мы будем биться до тех пор, пока один из нас не умрет, понимаете? – с яростью сказал генерал, стиснув зубы.

– Пока один из нас не умрет, – повторил граф Монте-Кристо, слегка кивнув головой.

– Так едем, секунданты нам не нужны.

– Разумеется, не нужны, – сказал Монте-Кристо, – мы слишком хорошо знаем друг друга!

– Напротив, – сказал граф, – мы совершенно друг друга не знаем.

– Полноте, – сказал Монте-Кристо с тем же убийственным хладнокровием, – что вы говорите! Разве вы не тот самый солдат Фернан, который дезертировал накануне сражения при Ватерлоо? Разве вы не тот самый поручик Фернан, который служил проводником и шпионом французской армии в Испании? Разве вы не тот самый полковник Фернан, который предал, продал, убил своего благодетеля Али? И разве все эти Фернаны, вместе взятые, не обратились в генерал-лейтенанта графа де Морсер, пэра Франции?

– Негодяй, – воскликнул генерал, которого эти слова жгли, как раскаленное железо, – ты коришь меня моим позором перед тем, быть может, как убить меня! Нет, я не хотел сказать, что ты не знаешь меня; я отлично знаю, дьявол, что ты проник в мрак моего прошлого, что ты перечел – но знаю, при свете какого факела, – каждую страницу моей жизни; но, быть может, в моем позоре все-таки больше чести, чем в твоём показном блеске! Да, ты меня знаешь, не сомневаюсь, но я не знаю тебя, авантюрист, купающийся в золоте и драгоценных камнях! В Париже ты называешь себя графом Монте-Кристо; в Италии – Синдбадом-Мореходом; на Мальте – еще как-то, уж не помню. Но я требую, я хочу знать твое настоящее имя, среди этой сотни имен, чтобы выкрикнуть его в ту минуту, когда я всажу шпагу в твое сердце!

Граф Монте-Кристо смертельно побледнел; его глаза вспыхнули грозным огнем; он стремительно бросился в соседнюю комнату, сорвал с себя галстук, сюртук и жилет, накинул матросскую куртку и надел матросскую шапочку, из-под которой ниспадали его длинные черные волосы.

И он вернулся, страшный, неумолимый, и, скрестив руки, направился к генералу. Морсер, удивленный его внезапным уходом, ждал. При виде преобразившегося Монте-Кристо ноги у него подкосились и зубы застучали; он стал медленно отступать и, натолкнувшись на какой-то стол, остановился.

– Фернан, – крикнул ему Монте-Кристо, – из сотни моих имен мне достаточно назвать тебе лишь одно, чтобы сразить тебя; ты отгадал это имя, правда? Ты вспомнил его? Ибо,

невзирая на все мои несчастья, на все мои мучения, я стою перед тобой сегодня помолодевший от радости мщения, такой, каким ты, должно быть, не раз видел меня во сне, с тех пор как женился... на Мерседес, моей невесте!

Генерал, запрокинув голову, протянув руки вперед, остановившимся взглядом безмолвно смотрел на это страшное видение; затем, держась за стену, чтобы не упасть, он медленно добрал до двери и вышел, пятась, испустив один лишь отчаянный, душераздирающий крик:

– Эдмон Дантес!

Затем с нечеловеческими усилиями он дотащился до крыльца, походкой пьяного пересек двор и повалился на руки своему камердинеру, невнятно бормоча:

– Домой, домой!

По дороге свежий воздух и стыд перед слугами помогли ему собраться с мыслями; но расстояние было невелико, и по мере того как граф приближался к дому, отчаяние снова овладевало им.

За несколько шагов от дома граф велел остановиться и вышел из экипажа.

Ворота были раскрыты настежь; кучер фиакра, изумленный, что его позвали к такому богатому особняку, ждал посреди двора; граф испуганно взглянул на него, но не посмел никого расспрашивать и бросился к себе.

По лестнице спускались двое; он едва успел скрыться в боковую комнату, чтобы не столкнуться с ними.

Это была Мерседес, опиравшаяся на руку сына; они вместе покидали дом.

Они прошли совсем близко от несчастного, который, спрятавшись за штофную портьеру, едва не почувствовал прикосновение шелкового платья Мерседес и ощутил на своем лице теплое дыхание сына, говорившего:

– Будьте мужественны, матушка! Идем, идем скорей, мы здесь больше не у себя.

Слова замерли, шаги удалились.

Граф выпрямился, вцепившись руками в штофную занавесь; он старался подавить самое отчаянное рыдание, когда-либо вырывавшееся из груди отца, которого одновременно покинули жена и сын...

Вскоре он услышал, как хлопнула дверца фиакра, затем крикнул кучер, задрожали стекла от грохота тяжелого экипажа; тогда он бросился к себе в спальню, чтобы еще раз взглянуть на все, что он любил в этом мире; но фиакр уехал, и ни Мерседес, ни Альбер не выглянули из его окошка, чтобы послать опустелому дому, покидаемому отцу и мужу последний взгляд прощания и сожаления.

И вот, в ту самую минуту, когда колеса экипажа застучали по камням мостовой, раздался выстрел, и темный дымок вырвался из окна спальни, разлетевшегося от сотрясения.

XVI. Валентина

Читатели, конечно, догадываются, куда спешил Моррель и с кем у него было назначено свидание.

Расставшись с Монте-Кристо, он медленно шел по направлению к дому Вильфора.

Мы сказали – медленно: дело в том, что у Морреля было еще более получаса времени, а пройти ему надо было шагов пятьсот; но хоть у него и было времени более чем достаточно, он все же поспешил расстаться с Монте-Кристо, потому что ему не терпелось остаться наедине со своими мыслями.

Он твердо помнил назначенный ему час: тот самый, когда Валентина кормила завтраком Нуартье и потому могла быть уверена, что никто не потревожит ее при исполнении этого благочестивого долга. Нуартье и Валентина разрешили ему посещать их два раза в неделю, и он собирался воспользоваться своим правом.

Когда Моррель вошел, поджидавшая его Валентина схватила его за руку и подвела к своему деду. Она была бледна и сильно взволнована.

Ее волнение было вызвано скандалом в Опере: все уже знали (свет всегда все знает) о ссоре между Альбером и Монте-Кристо. В доме Вильфоровов никто не сомневался в том, что неизбежным последствием случившегося будет дуэль: Валентина женским чутьем поняла, что Моррель будет секундантом Монте-Кристо, и, зная храбрость Максимилиана, его глубокую привязанность к графу, боялась, что он не ограничится пассивной ролью свидетеля.

Поэтому легко понять, с каким нетерпением спрашивала она о подробностях и выслушивала ответы, и Моррель прочел в глазах своей возлюбленной бесконечную радость, когда она услышала о неожиданно счастливом исходе дуэли.

– А теперь, – сказала Валентина, делая знак Моррелю сесть рядом со стариком и сама усаживаясь на скамеечку, на которой покоились его ноги, – мы можем поговорить и о собственных делах. Вы ведь знаете, Максимилиан, что дедушка одно время хотел уехать из дома господина де Вильфор и поселиться отдельно.

– Да, конечно, – сказал Максимилиан, – я помню этот план, я весьма одобрял его.

– Так я могу вас обрадовать, Максимилиан, – сказала Валентина, – потому что дедушка опять вернулся к этой мысли.

– Отлично! – воскликнул Максимилиан.

– А знаете, – продолжала Валентина, – почему дедушка хочет покинуть этот дом?

Нуартье многозначительно посмотрел на внуку, взглядом приказывая ей замолчать; но Валентина не смотрела на него: ее взоры и ее улыбка принадлежали Моррелю.

– Чем бы ни объяснялось желание господина Нуартье, я присоединяюсь к нему, – воскликнул Моррель.

– Я тоже, от всей души, – сказала Валентина. – Он утверждает, что воздух предместья Сент-Оноре вреден для моего здоровья.

– А вы знаете, Валентина, – сказал Моррель, – я нахожу, что господин Нуартье совершенно прав; вот уже недели две, как вы, по-моему, не совсем здоровы.

– Да, я нехорошо себя чувствую, – отвечала Валентина, – поэтому дедушка решил сам полечить меня; он все знает, и я вполне ому доверяю.

– Но, значит, вы в самом деле больны? – быстро спросил Моррель.

– Это не болезнь. Мне просто не по себе, вот и все; я потеряла аппетит, и у меня такое ощущение, будто мой организм борется с чем-то.

Нуартье не пропускал ни одного слова Валентины.

– А чем вы лечитесь от этой неведомой болезни?

– Просто я каждое утро пью по чайной ложке того лекарства, которое принимает дедушка; я хочу сказать, что я начала с одной ложки, а теперь пью по четыре. Дедушка уверяет, что это средство от всех болезней.

Валентина улыбнулась; но ее улыбка была грустной и страдальческой.

Максимилиан, опьяненный любовью, молча смотрел на нее; она была очень хороша собой, но ее бледность стала какой-то прозрачной, глаза блестели сильнее обыкновенного, а руки, обычно белые, как перламутр, казались вылепленными из воска, слегка пожелтевшего от времени.

С Валентины Максимилиан перевел взгляд на Нуартье; тот смотрел своим загадочным, вдумчивым взглядом на внуку, поглощенную своей любовью; но и он, как Моррель, видел эти признаки затаенного страдания, настолько, впрочем, неуловимые, что никто их не замечал, кроме деда и возлюбленного.

– Но ведь это лекарство прописано господину Нуартье? – спросил Моррель.

– Да, оно очень горькое на вкус, – отвечала Валентина, – такое горькое, что после него я во всем, что пью, чувствую горечь.

Нуартье вопросительно взглянул на внуку.

– Правда, дедушка, – сказала Валентина, – только что, идя к вам, я выпила сахарной воды и даже не могла допить стакана, до того мне показалось горько.

Нуартье побледнел и показал, что он хочет что-то сказать.

Валентина встала, чтобы принести словарь.

Нуартье с явной тревогой следил за ней глазами.

Кровь прилила к лицу девушки, и щеки ее покраснели.

– Как странно, – весело воскликнула она, – у меня закружилась голова! Неужели от солнца?

И она схватилась за край стола.

– Да ведь нет никакого солнца, – сказал Моррель, которого сильнее обеспокоило выражение лица Нуартье, чем недомогание Валентины.

Он подбежал к ней. Валентина улыбнулась.

– Успокойся, дедушка, – сказала она Нуартье, – успокойтесь, Максимилиан. Ничего, все уже прошло; но слушайте, кажется, кто-то въехал во двор?

Она открыла дверь, подбежала к окну в коридоре и сейчас же вернулась.

– Да, – сказала она, – приехала госпожа Данглар с дочерью. Прощайте, я убегу, иначе за мной придут сюда; вернее, до свидания; посидите с бабушкой, Максимилиан, я обещаю вам не удерживать их.

Моррель проводил ее глазами, видел, как за ней закрылась дверь, и слышал, как она стала подниматься по маленькой лестнице, которая вела в комнату г-жи де Вильфор и в ее собственную.

Как только она ушла, Нуартье сделал знак Моррелю взять словарь.

Моррель исполнил его желание; он под руководством Валентины быстро научился понимать старика.

Однако, так как приходилось всякий раз перебирать алфавит и отыскивать в словаре каждое слово, прошло целых десять минут, пока мысль старика выразилась в следующих словах:

«Достаньте стакан с водой и графин из комнаты Валентины».

Моррель немедленно позвонил лакею, заменившему Барруа, и от имени Нуартье передал ему это приказание.

Через минуту лакей вернулся.

Графин и стакан были совершенно пусты.

Нуартье показал, что желает что-то сказать.

– Почему графин и стакан пусты? – спросил он. – Ведь Валентина сказала, что не допила стакана.

Передача этой мысли словами потребовала новых пяти минут.

– Не знаю, – ответил лакей, – но в комнату мадемуазель Валентины прошла горничная; может быть, это она выплеснула.

– Спросите у нее об этом, – сказал Моррель, по взгляду поняв мысль Нуартье.

Лакей вышел и тотчас же вернулся.

– Мадемуазель Валентина заходила сейчас в свою комнату, – сказал он, – и допила все, что осталось в стакане; а из графина все вылил господин Эдуард, чтобы устроить пруд для своих уток.

Нуартье поднял глаза к небу, словно игрок, поставивший на карту все свое состояние.

Затем глаза старика обратились к двери и уже не отрывались от нее.

Валентина не ошиблась, говоря, что приехала г-жа Данглар с дочерью; их провели в комнату г-жи де Вильфор, которая сказала, что примет их у себя; вот почему Валентина и прошла через свою комнату; эта комната была в одном этаже с комнатой мачехи, и их разделяла только комната Эдуарда.

Гости вошли в будуар с несколько официальным видом, очевидно, готовясь сообщить важную новость.

Люди одного круга легко улавливают всякие оттенки в обращении. Г-жа де Вильфор в ответ на торжественность обеих дам также приняла торжественный вид.

В эту минуту вошла Валентина, и приветствия возобновились.

– Дорогой друг, – сказала баронесса, меж тем как девушки взялись за руки, – я приехала к вам вместе с Эжени, чтобы первой сообщить вам о предстоящей в ближайшем будущем свадьбе моей дочери с князем Кавальканти.

Данглар настаивал на титуле князя. Банкир-демократ находил, что это звучит лучше, чем граф.

– В таком случае разрешите вас искренно поздравить, – ответила г-жа де Вильфор. – Я нахожу, что князь Кавальканти – молодой человек, полный редких достоинств.

– Если говорить по-дружески, – сказала, улыбаясь, баронесса, – то я скажу, что князь еще не тот человек, кем обещает стать впоследствии. В нем еще много тех странностей, по которым мы, французы, с первого взгляда узнаем итальянского или немецкого аристократа. Все же у него, по-видимому, доброе сердце, тонкий ум, а что касается практической стороны, то господин Данглар утверждает, что состояние у него грандиозное; он так и выразился.

– А кроме того, – сказала Эжени, перелистывая альбом г-жи де Вильфор, – прибавьте, сударыня, что вы питаете к этому молодому человеку особую благосклонность.

– Мне незачем спрашивать вас, – заметила г-жа де Вильфор, – разделяете ли вы эту благосклонность?

– Ни в малейшей степени, сударыня, – отвечала Эжени с обычной своей самоуверенностью. – Я не чувствую никакой склонности связывать себя хозяйственными заботами или

исполнением мужских прихотей, кто бы этот мужчина ни был. Мое призвание быть артисткой и, следовательно, свободно распоряжаться своим сердцем, своей особой и своими мыслями.

Эжени произнесла эти слова таким решительным и твердым тоном, что Валентина вспыхнула. Робкая девушка не могла понять этой сильной натуры, в которой не чувствовалось и тени женской застенчивости.

– Впрочем, – продолжала та, – раз уж мне суждено выйти замуж, я должна благодарить провидение, избавившее меня по крайней мере от притязаний господина де Морсер; не вмешайся провидение, я была бы теперь женой обесчещенного человека.

– А ведь правда, – сказала баронесса с той странной наивностью, которой иногда отличаются аристократки и от которой их не может отучить даже общение с плебеями, – правда, если бы Морсеры не колебались, моя дочь уже была бы замужем за Альбером; генерал очень хотел этого брака, он даже сам приезжал к господину Данглару, чтобы вырвать его согласие; мы счастливо отделались.

– Но разве позор отца бросает тень на сына? – робко заметила Валентина. – Мне кажется, что виконт несколько не повинен в предательстве генерала.

– Простите, дорогая, – сказала неумолимая Эжени, – виконт недалеко от этого ушел; говорят, что, вызвав вчера в Опере графа Монте-Кристо на дуэль, он сегодня утром принес ему свои извинения у барьера.

– Не может быть! – сказала г-жа де Вильфор.

– Ах, дорогая, – отвечала г-жа Данглар с той же наивностью, которую мы только что отметили, – это наверное так; я это знаю от господина Дебрэ, который присутствовал при объяснении.

Валентина тоже знала все, но промолчала. От дуэли мысль ее перенеслась в комнату Нуартье, где ее ждал Моррель.

Погруженная в задумчивость, Валентина уже несколько минут не принимала участия в разговоре; она даже не могла бы сказать, о чем шла речь, как вдруг г-жа Данглар дотронулась до ее руки.

– Что вам угодно, сударыня? – сказала Валентина, вздрогнув от этого прикосновения, словно от электрического разряда.

– Вы больны, дорогая Валентина? – спросила баронесса.

– Больна? – удивилась девушка, проводя рукой по своему горячему лбу.

– Да; посмотрите на себя в зеркало; за последнюю минуту вы раза четыре менялись в лице.

– В самом деле, – воскликнула Эжени, – ты страшно бледна!

– Не беспокойся, Эжени; со мной это уже несколько дней.

И, несмотря на все свое простодушие, Валентина поняла, что может воспользоваться этим предложением, чтобы уйти. Впрочем, г-жа де Вильфор сама пришла ей на помощь.

– Идите к себе, Валентина, – сказала она, – вы в самом деле нездоровы; наши гости извинят вас; выпейте стакан холодной воды, вам станет легче.

Валентина поцеловала Эжени, поклонилась г-же Данглар, которая уже поднялась с места и начала прощаться, и вышла из комнаты.

– Бедная девочка, – сказала г-жа де Вильфор, когда дверь за Валентиной закрылась, – она не на шутку меня беспокоит, и я боюсь, что она серьезно заболит.

Между тем Валентина в каком-то безотчетном возбуждении прошла через комнату Эдуарда, не ответив на злую выходку, которой он ее встретил, и, миновав свою спальню, вышла на маленькую лестницу. Ей оставалось спуститься только три ступени, она уже слышала голос Морреля, как вдруг туман застлал ей глаза, ее онемевшая нога оступилась, перила выскользнули из-под руки, и, припав к стене, она уже не сошла, а скатилась по ступеням.

Моррель стремительно открыл дверь и увидел Валентину, лежащую на площадке.

Он подхватил ее на руки и усадил в кресло.

Валентина открыла глаза.

– Какая я неловкая! – сказала она с лихорадочной живостью. – Я, кажется, разучилась держаться на ногах. Как я могла забыть, что до площадки оставалось еще три ступеньки.

– Вы не ушиблись, Валентина? – воскликнул Моррель.

Валентина окинула взглядом комнату; в глазах Нуартье она прочла величайший испуг.

– Успокойся, дедушка, – сказала она, пытаясь улыбнуться, – это пустяки... у меня просто закружилась голова.

– Опять головокружение! – сказал Моррель, в отчаянии сжимая руки. – Поберегите себя, Валентина, умоляю вас!

– Да ведь всё уже прошло, – сказала Валентина, – говорю же я вам, что это пустяки. А теперь послушайте, я скажу вам новость: через педеля Эжени выходит замуж, а через три дня назначено большое пиршество в честь обручения. Мы все приглашены – мой отец, госпожа де Вильфор и я... Так я по крайней мере поняла.

– Когда же, наконец, настанет наша очередь? Ах, Валентина, вы имеете такое влияние на своего дедушку, постарайтесь, чтобы он ответил вам: скоро!

– Так вы рассчитываете на меня, чтобы торопить дедушку и напоминать ему? – отвечала Валентина.

– Да, – воскликнул Моррель. – Ради бога поспешите. Пока вы не будете моей, Валентина, мне всегда будет казаться, что я вас потеряю.

– Право, Максимилиан, – отвечала Валентина, судорожно вздрогнув, – вы слишком боязливы. Вы же офицер, про которого говорят, что он не знает страха. Ха-ха-ха!

И она разразилась резким, болезненным смехом; руки ее напряглись, голова запрокинулась, и она осталась недвижима.

Крик ужаса, который не мог сорваться с уст Нуартье, застыл в его взгляде.

Моррель понял: нужно звать на помощь.

Он изо всех сил дернул звонок; горничная, находившаяся в комнате Валентины, и лакей, заступивший место Барруа, вместе вбежали в комнату.

Валентина была так бледна, так холодна и неподвижна, что, не слушая того, что им говорят, они поддались царившему в этом проклятом доме страху и с воплями бросились бежать по коридорам.

Госпожа Данглар и Эжени как раз в эту минуту уезжали; они еще успели узнать причину переполоха.

– Я вам говорила! – воскликнула г-жа де Вильфор. – Бедняжка!

XVII. Признание

В эту минуту послышался голос Вильфора, кричавшего из своего кабинета:

– Что случилось?

Моррель взглянул на Нуартье, к которому вернулось все его хладнокровие, и тот глазами указал ему на пишу, где однажды, при сходных обстоятельствах, он уже скрывался.

Он едва успел схватить шляпу и спрятаться за портьерой. В коридоре уже раздавались шаги королевского прокурора.

Вильфор вбежал в комнату, бросился к Валентине и схватил ее в объятия.

– Доктора! Доктора!.. Д'Авриньи! – крикнул Вильфор. – Нет, я лучше сам поеду за ним.

И он стремглав выбежал из комнаты.

В другую дверь выбежал Моррель.

Его поразило в самое сердце ужасное воспоминание: ему вспомнился разговор между Вильфором и доктором, который он случайно подслушал той ночью, когда умерла г-жа де Сен-Меран; симптомы, хоть и более слабые, были такие же, какие предшествовали смерти Барруа.

И ему почудилось, будто в ушах у него звучит голос Монте-Кристо, сказавшего ему не далее как два часа тому назад:

«Что бы вам ни понадобилось, Моррель, приходите ко мне, я многое могу сделать».

Он стрелой помчался по предместью Сент-Оноре к улице Матиньон, а с улицы Матиньон на Елисейские Поля.

Тем временем Вильфор подъехал в наемном кабриолете к дому Д'Авриньи; он так резко позвонил, что швейцар открыл ему с перепуганным лицом. Вильфор бросился па лестницу, не в силах вымолвить ни слова. Швейцар знал его и только крикнул ему вслед:

– Доктор в кабинете, господин королевский прокурор!

Вильфор уже вошел, или, вернее, ворвался к доктору.

– Ах, это вы! – сказал Д'Авриньи.

– Да, доктор, – отвечал Вильфор, закрывая за собой дверь, – и на этот раз я вас спрашиваю, одни ли мы здесь? Доктор, мой дом проклят богом.

– Что случилось? – спросил тот внешне холодно, но с глубоким внутренним волнением. – У вас опять кто-нибудь заболел?

– Да, доктор, – воскликнул Вильфор, хватаясь за голову, – да!

Взгляд Д'Авриньи говорил:

«Я это предсказывал».

Он медленно и с ударением произнес:

– Кто же умирает на этот раз? Кто эта новая жертва, которая предстанет перед богом, обвиняя нас в преступной слабости?

Мучительное рыдание вырвалось из груди Вильфора; он схватил доктора за руку.

– Валентина! – сказал он. – Теперь очередь Валентины!

– Ваша дочь! – с ужасом и изумлением воскликнул д'Авриньи.

– Теперь вы видите, что вы ошибались, – прошептал Вильфор, – помогите ей и попросите у страдальцы прощения за то, что вы подозревали ее.

– Всякий раз, когда вы посылали за мной, – сказал д'Авриньи, – бывало уже поздно, но все равно, я иду; только поспешим, с вашими врагами медлить нельзя.

– На этот раз, доктор, вам уже не придется упрекать меня в слабости. На этот раз я узнаю, кто убийца, и не пощажу его.

– Прежде чем думать о мщении, сделаем все возможное, чтобы спасти жертву, – сказал д'Авриньи. – Едем.

И кабриолет, доставивший Вильфора, рысью домчал его обратно вместе с д'Авриньи в то самое время, как Моррель стучался в дверь Монте-Кристо.

Граф был у себя в кабинете и, очень озабоченный, читал записку, которую ему только что спешно прислал Бертуччо.

Услышав, что ему докладывают о Морреле, который расстался с ним за каких-нибудь два часа перед этим, граф с удивлением поднял голову.

Для Морреля, как и для графа, за эти два часа изменилось, по-видимому, многое: он покинул графа с улыбкой, а теперь стоял перед ним, как потерянный.

Граф вскочил и бросился к нему.

– Что случилось, Максимилиан? – спросил он. – Вы бледны, задыхаетесь!

Моррель почти упал в кресло.

– Да, – сказал он, – я бежал, мне нужно с вами поговорить.

– У вас дома все здоровы? – спросил граф самым сердечным тоном, не оставлявшим сомнений в его искренности.

– Благодарю вас, граф, – отвечал Моррель, видимо, не зная, как приступить к разговору, – да, дома у меня все здоровы.

– Я очень рад; но вы хотели мне что-то сказать? – заметил граф с возрастающей тревогой.

– Да, – сказал Моррель, – я бежал к вам из дома, куда вошла смерть.

– Так вы от Морсеров? – спросил Монте-Кристо.

– Нет, – отвечал Моррель, – а разве у Морсеров кто-нибудь умер?

– Генерал пустил себе пулю в лоб, – отвечал Монте-Кристо.

– Какое ужасное несчастье! – воскликнул Максимилиан.

– Не для графини, не для Альбера, – сказал Монте-Кристо, – лучше потерять отца и мужа, чем видеть его бесчестие; кровь смоем позор.

– Несчастливая графиня! – сказал Максимилиан. – Больше всего мне жаль эту благородную женщину!

– Пожалейте и Альбера, Максимилиан; поверьте, он достойный сын графини. Но вернемся к вам; вы хотели меня видеть; я очень рад, если могу быть вам полезен.

– Да, я пришел к вам в безумной надежде, что вы можете помочь мне в таком деле, где один бог может помочь.

– Говорите же!

– Я даже не знаю, – сказал Моррель, – имею ли я право хоть одному человеку на свете открыть такую тайну; но меня вынуждает рок, я не могу иначе.

И он замолчал в нерешительности.

– Вы знаете, что я вас люблю, – сказал Монте-Кристо, сжимая руку Морреля.

– Ваши слова придают мне смелости, и сердце говорит мне, что я не должен иметь тайн от вас.

– Да, Моррель, сам бог внушил вам это. Скажите же мне всё, как вам велит сердце.

– Граф, разрешите мне послать Батистена справиться от вашего имени о здоровье одной особы, которую вы знаете.

– Я сам в вашем распоряжении, что же говорить о моих слугах?

– Я должен узнать, что ей лучше, не то я с ума сойду.

– Хотите, чтобы я позвонил Батистену?

– Нет, я сам ему скажу.

Моррель вышел, позвал Батистена и вполголоса сказал ему несколько слов. Камердинер спешно вышел.

– Ну, что? Послали? – спросил Монте-Кристо возвратившегося Морреля.

– Да, теперь я буду немного спокойнее.

– Я жду вашего рассказа, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо.

– Да, я все скажу вам. Слушайте. Однажды вечером я очутился в одном саду; меня скрывали кусты, никто не подозревал о моем присутствии. Мимо меня прошли двое; разрешите мне пока не называть их; они разговаривали тихо, но мне было так важно знать, о чем они говорят, что я напряг слух и не пропустил ни слова.

– Начало довольно зловещее, если судить по вашей бледности.

– Да, мой друг, все это ужасно! В этом доме кто-то только что умер; один из собеседников был хозяин, другой – врач. И первый поверял второму свои опасения и горести, потому что уже второй раз за этот месяц смерть, быстрая и неожиданная, поражала его дом, словно ангел мщения призвал на него божий гнев.

– Вот что! – сказал Монте-Кристо, пристально глядя на Морреля и неуловимым движением поворачивая свое кресло так, чтобы оказаться в тени, в то время как свет падал прямо на лицо гостя.

– Да, – продолжал Максимилиан, – смерть дважды за один месяц посетила этот дом.

– А что отвечал доктор? – спросил Монте-Кристо.

– Он отвечал... он отвечал, что смерть эта кажется ему неестественной и что ее можно объяснить только одним...

– Чем?

– Ядом!

– В самом деле? – сказал Монте-Кристо с тем легким покашливанием, которое в минуты сильного волнения помогало ему скрыть румянец, или бледность, или просто то внимание, с каким он слушал собеседника. – В самом деле, Максимилиан? И вы все это слышали?

– Да, дорогой граф, я все это слышал, и доктор даже прибавил, что, если что-либо подобное повторится, он будет считать себя обязанным обратиться к правосудию.

Монте-Кристо слушал с величайшим спокойствием, быть может, притворным.

– Потом, – продолжал Максимилиан, – смерть нагрянула в третий раз, но ни хозяин дома, ни доктор никому ничего не сказали; теперь смерть, может быть, нагрянет в четвертый раз. Скажите, граф, к чему меня обязывает знание этой тайны?

– Дорогой друг, – сказал Монте-Кристо, – вы рассказываете о случае, о котором знают решительно все. Дом, где вы все это слышали, мне знаком, или по крайней мере я знаю точь-в-точь такой же; там имеется сад, отец семейства, доктор, там одна за другой случились три странных и неожиданных смерти. Взгляните на меня: я не слышал ничьих признаний и тем не менее знаю все это не хуже вас. Но разве меня мучает совесть? Нет, меня это ничуть не касается. Вы говорите: словно ангел мщения призвал божий гнев на этот дом; а кто вам сказал, что это не так? Закройте глаза на преступления, которых не хотят видеть те, кому надлежало бы их видеть. Если в этом доме бог творит свой суд, Максимилиан, то отвернитесь и не мешайте божьему правосудию.

Моррель вздрогнул. Голос графа звучал мрачно, грозно и торжественно.

– Впрочем, – продолжал граф, так резко меняя тон, что казалось, будто заговорил совсем другой человек, – откуда вы знаете, что это должно повториться?

– Это повторилось, граф! – воскликнул Моррель. – Вот почему я здесь.

– Что же я могу сделать, Моррель? Может быть, вы хотите, чтобы я предупредил королевского прокурора?

Монте-Кристо произнес последние слова так выразительно, с такой недвусмысленной интонацией, что Моррель вскочил.

– Граф, – воскликнул он, – вы знаете, о ком я говорю!

– Да, разумеется, мой друг, и я докажу вам это, поставив точки над и, то есть назову всех действующих лиц. Вы гуляли в саду Вильфора; из ваших слов я заключаю, что это было в вечер смерти маркизы де Сен-Меран. Вы слышали, как Вильфор и д'Авриньи беседовали о смерти маркиза де Сен-Меран и о не менее удивительной смерти маркизы. Д'Авриньи говорил, что предполагает отравление и даже два отравления; и вот вы, на редкость порядочный человек, с тех пор терзаете свое сердце, пытаете совесть, не зная, следует ли вам открыть эту тайну или промолчать. Мы живем не в средние века, дорогой друг, теперь уже нет ни святой инквизиции, ни вольных судей; что вы с ними сделаете? «Совесть, чего ты хочешь от меня?» – сказал Стерн. Полно, друг мой, пусть они спят, если им спится, пусть чахнут от бессонницы, если она их мучит, а сами бога ради спите спокойно, благо у вас совесть чиста.

Лицо Морреля страдальчески исказилось; он схватил Монте-Кристо за руку.

– Но ведь это повторилось! Вы слышите?

– Так что же? Пусть, – сказал граф и, удивленный этой непонятной ему настойчивостью, испытующе посмотрел на Максимилиана. – Это семья Атридов; бог осудил их, и они несут свою кару; они сгинут все, как бумажные человечки, которых вырезают дети и которые валяются один за другим, хотя бы их было двести, от дуновения их создателя. Три месяца тому назад умер маркиз де Сен-Меран; спустя несколько дней – маркиза; на днях – Барруа; сегодня – старик Нуартье или юная Валентина.

– Вы знали об этом? – воскликнул Моррель с таким ужасом, что Монте-Кристо вздрогнул, – он, который не шевельнулся бы, если бы обрушилась твердь небесная. – Вы знали об этом и молчали?

– Что мне до этого? – возразил, пожав плечами Монте-Кристо. – Что мне эти люди, и зачем мне губить одного, чтобы спасти другого? Право, я не отдаю предпочтения ни жертве, ни убийце.

– Но я, я! – в исступлении крикнул Моррель. – Ведь я люблю ее!

– Любите? Кого? – воскликнул Монте-Кристо, вскакивая с места и хватая Морреля за руки.

– Я люблю страстно, безумно, я отдал бы всю свою кровь, чтобы осушить одну ее слезу. Вы слышите! Я люблю Валентину де Вильфор, а ее убивают! Я люблю ее, и я молю бога и вас научить меня, как ее спасти!

Монте-Кристо вскрикнул, и этот дикий крик был подобен рычанию раненого льва.

– Несчастный! – воскликнул он, ломая руки. – Ты любишь Валентину! Ты любишь дочь этого проклятого рода!

Никогда в своей жизни Моррель не видел такого лица, такого страшного взора. Никогда еще Ужас, чей лик не раз являлся ему и на полях сражения, и в смертоубийственные ночи Алжира, не опалял его глаз столь зловещими молниями.

Он отступил в страхе.

После этой страстной вспышки Монте-Кристо на миг закрыл глаза, словно ослепленный внутренним пламенем; он сделал нечеловеческое усилие, чтобы овладеть собой; и понемногу буря в его груди утихла, подобно тому как после грозы смиряются под лучами солнца разъяренные, вспененные волны.

Это напряженное молчание, эта борьба с самим собой длилась не более двадцати секунд.

Граф поднял свое побледневшее лицо.

– Вы видите, друг мой, – сказал он почти не изменившимся голосом, – как господь карает кичливых и равнодушных людей, безучастно вззирающих на ужасные бедствия, которые он им являет. С бесстрастным любопытством наблюдал я, как разыгрывается на моих глазах эта мрачная трагедия; подобно падшему ангелу, я смеялся над злом, которое совершают люди под покровом тайны (а богатым и могущественным легко сохранить тайну); и вот теперь и меня ужалила эта змея, за извилистым путем которой я следил, ужалила в самое сердце!

Моррель глухо застонал.

– Довольно жалоб, – сказал граф, – мужайтесь, соберитесь с силами, надейтесь, ибо я с вами, и я охраняю вас.

Моррель грустно покачал головой.

– Я вам сказал – надейтесь! – воскликнул Монте-Кристо. – Знайте, я никогда не лгу, никогда не ошибаюсь. Сейчас полдень, Максимилиан; благодарите небо, что вы пришли ко мне сегодня в полдень, а не вечером или завтра утром. Слушайте меня, Максимилиан, сейчас полдень: если Валентина еще жива, она не умрет.

– Боже мой! – воскликнул Моррель. – И я оставил ее умирающей!

Монте-Кристо прикрыл глаза рукой.

Что происходило в этом мозгу, отягченном страшными тайнами? Что шепнули этому разуму, неумолимому и человеческому, светлый ангел или ангел тьмы?

Только богу это ведомо!

Монте-Кристо снова поднял голову; на этот раз лицо его было безмятежно, как у младенца, пробудившегося от сна.

– Максимилиан, – сказал он, – идите спокойно домой; я приказываю вам ничего не предпринимать, не делать никаких попыток и ничем не выдавать своей тревоги. Ждите вестей от меня; ступайте.

– Ваше хладнокровие меня пугает, граф, – сказал Моррель. – Вы имеете власть над смертью? Человек ли вы? Или вы ангел? бог?

И молодой офицер, никогда не отступавший перед опасностью, отступил перед Монте-Кристо, объятый невыразимым ужасом.

Но Монте-Кристо взглянул на него с такой печальной и ласковой улыбкой, что слезы увлажнили глаза Максимилиана.

– Многое в моей власти, друг мой, – отвечал граф. – Идите, мне нужно побыть одному.

Моррель, покоренный той непостижимой силой, которой Монте-Кристо подчинял себе всех окружающих, даже не пытался ей противиться. Он пожал руку графа и вышел.

Но, дойдя до ворот, он остановился, чтобы подождать Батистена, который показался на углу улицы Матиньон.

Тем временем Вильфор и д'Авриньи спешно прибыли в дом королевского прокурора. Они нашли Валентину все еще без чувств, и доктор осмотрел больную со всей тщательностью, которой требовали обстоятельства от врача, посвященного в страшную тайну.

Вильфор, не отрывая глаз от лица д'Авриньи, ждал его приговора. Нуартье, еще более бледный, чем Валентина, еще нетерпеливее жаждущий ответа, чем Вильфор, тоже ждал, и все силы его души и разума сосредоточились в его взгляде.

Наконец д'Авриньи медленно проговорил:

– Она еще жива.

– Еще! – воскликнул Вильфор... – Какое страшное слово, доктор!

– Да, я повторяю: она еще жива, и это очень меня удивляет.

– Но она спасена? – спросил отец.

– Да, раз она жива.

В эту минуту глаза д'Авриньи встретились с глазами Нуартье; в них светилась такая бесконечная радость, такая глубокая и всепроникающая мысль, что доктор был поражен.

Он снова опустил в кресло больную, чьи бескровные губы едва выделялись на бледном лице, и стоял неподвижно, глядя на Нуартье, который внимательно следил за каждым его движением.

– Господин де Вильфор, – сказал, наконец, доктор, – позовите, пожалуйста, горничную мадемуазель Валентины.

Вильфор опустил голову дочери, которую поддерживал рукой, и сам пошел за горничной.

Как только Вильфор закрыл за собой дверь, д'Авриньи подошел к Нуартье.

– Вы желаете мне что-то сказать? – спросил он.

Старик выразительно закрыл глаза; как нам известно, в его распоряжении был только этот единственный утвердительный знак.

– Мне одному?

– Да, – показал Нуартье.

– Хорошо, я постараюсь остаться с вами наедине.

В эту минуту вернулся Вильфор в сопровождении горничной; следом за горничной шла г-жа де Вильфор.

– Что случилось с бедной девочкой? – воскликнула она. – Она только что была у меня; правда, она жаловалась на недомогание, но я не думала, что это так серьезно.

И молодая женщина со слезами на глазах и с чисто материнской нежностью подошла к Валентине и взяла ее за руку.

Д'Авриньи наблюдал за Нуартье; старик широко раскрыл глаза, его щеки побледнели, а лоб покрылся испариной.

– Вот оно что! – невольно сказал себе д'Авриньи, следя за направлением взгляда Нуартье, – другими словами, взглянув на г-жу де Вильфор, твердившую:

– Бедной девочке надо лечь в постель. Давайте, Фанни, мы с вами ее уложим.

Д'Авриньи, которому это предложение давало возможность остаться наедине с Нуартье, одобрительно кивнул головой, но строго запретил давать больной что бы то ни было без его предписания.

Валентину унесли; она пришла в сознание, но не могла ни пошевелинуться, ни даже говорить, настолько она была разбита перенесенным припадком. Все же у нее хватило сил взглядом проститься с дедушкой, который смотрел ей вслед с таким отчаянием, словно у него вырывали душу из тела.

Д'Авриньи проводил больную, написал рецепты и велел Вильфору самому поехать в аптеку, лично присутствовать при изготовлении лекарств, привезти их и ждать его в комнате дочери.

Затем, снова повторив свое приказание ничего не давать Валентине, он спустился к Нуартье, тщательно закрыл за собою дверь и, убедившись в том, что никто их не подслушивает, сказал:

– Вы что-нибудь знаете о болезни вашей внучки?

– Да, – показал старик.

– Нам нельзя терять времени; я буду предлагать вам вопросы, а вы отвечайте.

Нуартье показал, что готов отвечать.

– Вы предвидели болезнь Валентины?

– Да.

Д'Авриньи на секунду задумался; затем подошел ближе к Нуартье.

– Простите меня за то, что я сейчас скажу, но ничто не должно быть упущено в том страшном положении, в котором мы находимся. Вы видели, как умирал несчастный Барруа?

Нуартье поднял глаза к небу.

– Вы знаете, от чего он умер? – спросил д'Авриньи, кладя руку на плечо Нуартье.

– Да, – показал старик.

– Вы думаете, что это была естественная смерть?

Подобие улыбки мелькнуло на безжизненных губах Нуартье.

– Так вы подозревали, что Барруа был отравлен?

– Да.

– Вы думаете, что яд, от которого он погиб, предназначался ему?

– Нет.

– Думаете ли вы, что та же рука, которая по ошибке поразила Барруа, сегодня поразила Валентину?

– Да.

– Значит, она тоже погибнет? – спросил д'Авриньи, не спуская с Нуартье пытливого взгляда.

Он ждал действия этих слов на старика.

– Нет! – показал тот с таким торжеством, что самый искусный отгадчик был бы сбит с толку.

– Так у вас есть надежда? – сказал удивленный д'Авриньи.

– Да.

– На что вы надеетесь?

Старик показал глазами, что не может ответить.

– Ах, верно, – прошептал д'Авриньи.

Потом снова обратился к Нуартье:

– Вы надеетесь, что убийца, отступится?

– Нет.

– Значит, вы надеетесь, что яд не окажет действия на Валентину?

– Да.

– Вы, конечно, знаете не хуже меня, что ее пытались отравить, – продолжал д'Авриньи.

Взгляд старика показал, что у него на этот счет нет никаких сомнений.

– Почему же вы надеетесь, что Валентина избежит опасности?

Нуартье упорно смотрел в одну точку; д'Авриньи проследил направление его взгляда и увидел, что он устремлен на склянку с лекарством, которое ему приносили каждое утро.

– Ах, вот оно что! – сказал д'Авриньи, осененный внезапной мыслью. – Неужели вы...

Нуартье не дал ему кончить.

– Да, – показал он.

– Предохранили ее от действия яда...

– Да.

– Приучая ее мало-помалу...

– Да, да, да, – показал Нуартье, в восторге оттого, что его поняли.

– Вы, должно быть, слышали, как я говорил, что в лекарства, которые я вам даю, входит бруцин?

– Да.

– И, приучая ее к этому яду, вы хотели нейтрализовать действие яда?

Глаза Нуартье сияли торжеством.

– И вы достигли этого! – воскликнул д'Авриньи. – Не прими вы этой предосторожности, яд сегодня убил бы Валентину, убил мгновенно, безжалостно, до того силен был удар; по делу кончилось потрясением, и во всяком случае на этот раз Валентина не умрет.

Неземная радость светилась в глазах старика, возведенных к небу с выражением бесконечной благодарности.

В эту минуту вернулся Вильфор.

– Вот лекарство, которое вы прописали, доктор, – сказал он.

– Его приготовили при вас?

– Да, – отвечал королевский прокурор.

– Вы его не выпускали из рук?

– Нет.

Д'Авриньи взял склянку, отлил несколько капель жидкости на ладонь и проглотил их.

– Хорошо, – сказал он, – пойдите к Валентине, я дам предписания, и вы сами проследите за тем, чтобы они никем не нарушались.

В то самое время, когда д'Авриньи в сопровождении Вильфора входил в комнату Валентины, итальянский священник, с размеренной походкой, со спокойной и уверенной речью, нанимал дом, примыкающий к особняку Вильфора.

Неизвестно, в чем заключалась сделка, в силу которой все жильцы этого дома выехали два часа спустя; но прошел слух, будто фундамент этого дома не особенно прочен и дому угрожает обвал, что не помешало новому жильцу около пяти часов того же дня переехать в него со всей своей скромной обстановкой.

Новый жилец взял его в аренду на три, шесть или девять лет и, как полагается, заплатил за полгода вперед; этот новый жилец, как мы уже сказали, был итальянец и звали его синьор Джакомо Бузони.

Немедленно были призваны рабочие, и в ту же ночь редкие прохожие, появлявшиеся в этом конце улицы, с изумлением наблюдали, как плотники и каменщики подводили фундамент под ветхое здание.

XVIII. Банкир и его дочь

Из предыдущей главы мы знаем, что г-жа Данглар приезжала официально объявить г-же де Вильфор о предстоящей свадьбе мадемуазель Эжени Данглар с Андреа Кавальканти.

Это официальное уведомление как будто доказывало, что все заинтересованные лица пришли к соглашению; однако ему предшествовала сцена, о которой мы должны рассказать нашим читателям.

Поэтому мы просим их вернуться немного назад и утром этого знаменательного дня перенестись в ту пышную золоченую гостиную, которую мы уже описывали и которой так гордился ее владелец, барон Данглар.

По этой гостиной, часов в десять утра, шагал взад и вперед, погруженный в задумчивость и, видимо, чем-то обеспокоенный, сам барон, поглядывая на двери и останавливаясь при каждом шорохе.

Когда в конце концов его терпение истощилось, он позвал камердинера.

– Этьен, – сказал он, – пойдите узнайте, для чего мадемуазель Данглар просила меня ждать ее в гостиной, и по какой причине она заставляет меня ждать так долго.

Дав, таким образом, волю своему дурному настроению, барон немного успокоился.

В самом деле мадемуазель Данглар, едва проснувшись, послала свою горничную испросить у барона аудиенцию и назначила местом ее золоченую гостиную. Необычайность этой просьбы, а главное – ее официальность немало удивили банкира, который не замедлил исполнить желание своей дочери и первым явился в гостиную.

Этьен вскоре вернулся с ответом.

– Горничная мадемуазель Эжени, – сказал он, – сообщила мне, что мадемуазель Эжени кончает одеваться и сейчас придет.

Данглар кивнул головой в знак того, что он удовлетворен ответом. В глазах света и даже в глазах слуг Данглар слыл благодушным человеком и снисходительным отцом; этого требовала роль демократического деятеля в той комедии, которую он разыгрывал; ему казалось, что это ему подходит; так в античном театре у масок отцов правый угол рта был приподнятый и смеющийся, а левый – опущенный и плаксивый.

Поспешим добавить, что в интимном кругу смеющаяся губа опускалась до уровня плаксивой; так что в большинстве случаев благодушный человек исчезал, уступая место грубому мужу и деспотическому отцу.

– Почему эта сумасшедшая девчонка, если ей нужно со мной поговорить, не придет просто ко мне в кабинет? – бормотал Данглар. – И о чем это ей понадобилось со мной говорить?

Он в двадцатый раз возвращался к этой беспокоившей его мысли, как вдруг дверь отворилась и вошла Эжени, в черном атласном платье, затканном черными же цветами, без шляпы, но в перчатках, как будто она собиралась занять свое кресло в Итальянской опере.

– В чем дело, Эжени? – воскликнул отец. – И к чему эта парадная гостиная, когда можно так уютно посидеть у меня в кабинете?

– Вы совершенно правы, сударь, – отвечала Эжени, знаком приглашая отца сестру, – вы задали мне два вопроса, которые исчерпывают предмет предстоящей нам беседы. Поэтому я вам сейчас отвечу на оба; и, вопреки обычаю, начну со второго, ибо он менее сложен. Я избрала местом нашей встречи гостиную, чтобы избежать неприятных впечатлений и воздействий кабинета банкира. Кассовые книги, как бы они ни были раззолочены, ящики, запертые, как крепостные ворота, огромное количество кредитных билетов, берущихся неведомо откуда, и груды писем, пришедших из Англии, Голландии, Испании, Индии, Китая и Перу, всегда как-то странно действуют на мысли отца и заставляют его забывать, что в мире существуют более важные и священные вещи, чем общественное положение и мнение его доверителей. Вот почему я избрала эту гостиную, где на стенах висят в своих великолепных рамах, счастливые и улыбающиеся, наши портреты – ваш, мой и моей матери, и всевозможные идиллические пейзажи и умилительные пастушеские сцены. Я очень верю в силу внешних впечатлений. Быть может, особенно в отношении вас, я и ошибаюсь; но что поделать? Я не была бы артистической натурой, если бы не сохраняла еще некоторых иллюзий.

– Отлично, – ответил Данглар, прослушавший эту тираду с невозмутимым хладнокровием, но ни слова в ней не понявший, так как был занят собственными мыслями и старался найти им отклик в мыслях своего собеседника.

– Итак, мы более или менее разрешили второй вопрос, – сказала Эжени, нимало не смущаясь и с той почти мужской самоуверенностью, которая отличала ее речь и движения, – мне кажется, вы вполне удовлетворены моим объяснением. Теперь вернемся к первому вопросу. Вы спрашиваете меня, для чего я просила у вас аудиенции; я вам отвечу в двух словах: я не желаю выходить замуж за графа Андреа Кавальканти.

Данглар подскочил на своем кресле.

– Да, сударь, – все так же спокойно продолжала Эжени. – Я вижу, вы изумлены? Правда, за все время, что идут разговоры об этом браке, я не противоречила ни словом, я была, как всегда, убеждена, что в нужную минуту сумею открыто и решительно воспротивиться воле людей, не спросивших моего согласия. Однако на этот раз мое спокойствие, моя пассивность, как говорят философы, имела другой источник; как любящая и послушная дочь... (легкая улыбка мелькнула на румяных губах девушки), я старалась подчиниться вашему желанию.

– И что же? – спросил Данглар.

– А то, сударь, – отвечала Эжени, – я старалась изо всех сил, но теперь, когда настало время, я чувствую, что, несмотря на все мои усилия, я не в состоянии быть послушной.

– Однако, – сказал Данглар, который, как человек недалекий, был совершенно ошеломлен неумолимой логикой дочери и ее хладнокровием – свидетельством твердой воли и дальновидного ума, – в чем причина твоего отказа, Эжени?

– Причина? – отвечала Эжени. – Бог мой! Андреа Кавальканти не безобразнее, не глупее и не противнее всякого другого. В глазах людей, которые судят о мужчине по его лицу и фигуре, он может даже сойти за довольно привлекательный образец; я даже не скажу, что он меньше мил моему сердцу, чем любой другой, – так могла бы рассуждать институтка, но я выше этого. Я никого не люблю, сударь, вам это известно? И я не вижу, зачем мне, без крайней необходимости стеснять себя спутником на всю жизнь. Разве не сказал один мудрец: «Ничего лишнего»; а другой: «Все мое несу с собой»? Меня даже выучили этим двум афоризмам по-латыни и по-гречески; один из них принадлежит, если не ошибаюсь, Федру, а другой Бианту. Так вот, дорогой отец, в жизненном крушении, – ибо жизнь, это вечное крушение наших надежд, – я просто выбрасываю за борт ненужный балласт, вот и все. Я оставляю за собой право остаться в одиночестве и, следовательно, сохранить свою свободу.

– Несчастливая! – пробормотал Данглар, бледнея, ибо он знал по опыту, как непреодолимо то препятствие, которое неожиданно встало на его пути.

– Несчастливая? – возразила Эжени. – Вот уж несколько! Ваше восклицание, сударь, кажется мне театральным и напыщенным. Напротив, счастливая. Скажите, чего мне недостает? Люди находят меня красивой, а это уже кое-что: это обеспечивает мне повсюду благосклонный прием. А я люблю, когда меня хорошо принимают, – приветливые лица не так уродливы. Я не глупа, одарена известной восприимчивостью, благодаря чему я извлекаю для себя из жизни все, что мне нравится, как делает обезьяна, когда она разгрызает орех и вынимает ядро. Я богата, ибо вы обладаете одним из самых крупных состояний во Франции, а я ваша единственная дочь, и вы не столь упрямы, как театральные отцы, которые лишают дочерей наследства за то, что те не желают подарить им внучат. К тому же предусмотрительный закон отнял у вас право лишить меня наследства, по крайней мере полностью, так же как он отнял у вас право принудить меня выйти замуж. Таким образом, красивая, умная, блестящая талантами, как выражаются в комических операх, и богатая! Да ведь это счастье, сударь! А вы называете меня несчастной.

Видя дерзкую, высокомерную улыбку дочери, Данглар не сдержался и повысил голос. Но под вопросительным взглядом Эжени, удивленно нахмурившей красивые черные брови, он благоразумно отвернулся и тотчас же овладел собой, укрощенный железной рукой осторожности.

– Всё это верно, – улыбаясь, ответил он, – ты именно такая, какой себя изображаешь, дочь моя, за исключением одного пункта: я не хочу прямо назвать его; я предпочитаю, чтобы ты сама догадалась.

Эжени взглянула на Данглара, немало удивленная, что у нее оспаривают право на одну из жемчужин венца, который она так гордо возложила на свою голову.

– Ты превосходно объяснила мне, – продолжал банкир, – какие чувства вынуждают такую дочь, как ты, отказаться от замужества. Теперь моя очередь сказать тебе, какие побуждения заставили такого отца, как я, настаивать на твоём замужестве.

Эжени поклонилась, не как покорная дочь, которая слушает своего отца, но как противник, который готов возражать.

– Когда отец предлагает своей дочери выйти замуж, – продолжал Данглар, – у него всегда имеется какое-нибудь основание желать этого брака. Одни обуреваемы той навязчивой мыслью, о которой ты только что говорила, – то есть хотят продолжать жить в своих внуках. Скажу сразу, что этой слабостью я не страдаю; к семейным радостям я довольно равнодушен. Я могу в этом сознаться дочери, которая достаточно философски смотрит на вещи, чтобы понять это равнодушие и не считать его преступлением.

– Прекрасно, – сказала Эжени, – будем говорить откровенно, так гораздо лучше.

– Ты сама видишь, – сказал Данглар, – что, не разделяя в целом твоего пристрастия к излишней откровенности, я все же прибегаю к ней, когда этого требуют обстоятельства. Итак, я продолжаю. Я предложил тебе мужа не ради твоего счастья, потому что, по совести говоря, я меньше всего думал в ту минуту о тебе. Ты любишь откровенность, – надеюсь, это достаточно откровенно. Просто мне было необходимо, чтобы ты как можно скорее вышла замуж за этого человека ввиду некоторых коммерческих соображений.

Эжени подняла брови.

– Дело обстоит именно так, как я имею честь тебе докладывать; не прогневайся, ты сама виновата. Поверь, я вовсе не по своей охоте вдаюсь в эти финансовые расчеты в разговоре с такой артистической натурой, которая боится войти в кабинет банкира, чтобы не набраться неприятных и непоэтических впечатлений.

– Но в этом кабинете банкира, – продолжал он, – в который позавчера ты, однако, вошла, чтобы получить от меня тысячу франков, которую я ежемесячно даю тебе на булавки, – да будет тебе это известно, моя дорогая, можно научиться многому, что пригодилось бы даже молодым особам, не желающим выходить замуж. Например, там можно узнать – и, щадя твои чувствительные нервы, я охотно скажу тебе это здесь, в гостиной, – что для банкира кредит – что душа для тела: кредит поддерживает его, как дыхание оживляет тело, и граф Монте-Кристо прочел мне однажды на этот счет лекцию, которую я никогда не забуду. Там можно узнать, что, по мере того как исчезает кредит, тело банкира превращается в труп, и в очень непродолжительном будущем это произойдет с тем банкиром, который имеет честь быть отцом столь логично рассуждающей дочери.

Но Эжени, вместо того чтобы согнуться под ударом, гордо выпрямилась.

– Вы разорились! – сказала она.

– Ты очень точно выразилась, дочь моя, – сказал Данглар, сжимая кулаки, но все же сохраняя на своем грубом лице улыбку бессердечного, но неглупого человека. – Да, я разорен.

– Вот как! – сказала Эжени.

– Да, разорен! Итак, поведена убийственная тайна, как сказал поэт. А теперь выслушай, дочь моя, каким образом ты можешь помочь этой беде – не ради меня, но ради себя самой.

– Вы плохой психолог, сударь, – воскликнула Эжени, – если воображаете, что эта катастрофа очень огорчает меня.

Я разорена? Да не все ли мне равно? Разве у меня не остался мой талант? Разве я не могу, подобно Пасте, Малибран или Гризи, обеспечить себе то, чего вы, при всем вашем богатстве, никогда не могли бы мне дать: сто или сто пятьдесят тысяч ливров годового дохода, которыми я буду обязана только себе? И вместо того чтобы получать их, как я получала от вас эти жалкие двенадцать тысяч франков, вынося хмурые взгляды и упреки в расточительности, я буду получать эти деньги, осыпанная цветами, под восторженные крики и рукоплескания. И даже не будь у меня моего таланта, в который вы, судя по вашей улыбке, не верите, разве мне не остается моя страсть к независимости, которая мне дороже всех сокровищ мира, дороже самой жизни?

Нет, я не огорчена за себя, я всегда сумею устроить свою судьбу; у меня всегда останутся мои книги, мои карандаши, мой рояль, все это стоит недорого, и это я всегда сумею приобрести. Быть может, вы думаете, что я огорчена за госпожу Данглар; но и этого нет; если я не заблуждаюсь, она приняла все меры предосторожности, и грозящая вам катастрофа ее не заденет; я надеюсь, что она в полной безопасности, – во всяком случае не заботы обо мне мешали ей упрочить свое состояние, слава богу, под предлогом того, что я люблю свободу, она не вмешивалась в мою жизнь.

Нет, сударь, с самого детства я видела все, что делалось вокруг меня; я все слишком хорошо понимала, и ваше банкротство производит на меня не больше впечатления, чем оно заслуживает; с тех пор как я себя помню, меня никто не любил, тем хуже! Естественно, что и я никого не люблю; тем лучше! Теперь вы знаете мой образ мыслей.

– Следовательно, – сказал Данглар, бледный от гнева, вызванного отнюдь не оскорбленными чувствами отца, – следовательно, ты упорствуешь в желании довершить мое разорение.

– Довершить ваше разорение? Я? – сказала Эжени. – Не понимаю.

– Очень рад, это дает мне луч надежды; выслушай меня.

– Я слушаю, – сказала Эжени, пристально глядя на отца; ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не опустить глаза под властным взглядом девушки.

– Князь Кавальканти, – продолжал Данглар, – хочет жениться на тебе и при этом согласен поместить у меня три миллиона.

– Очень мило, – презрительно заявила Эжени, поглаживая свои перчатки.

– Ты, кажется, думаешь, что я собираюсь воспользоваться твоими тремя миллионами? – сказал Данглар. – Ничуть не бывало, эти три миллиона должны принести по крайней мере десять. Я и еще один банкир добились железнодорожной концессии; это единственная отрасль промышленности, которая в наше время дает возможность мгновенного баснословного

успеха, подобного тому, который имел некогда Лоу у наших добрых парижан, у этих ротозеев-спекулянтов, со своим фантастическим Миссисипи. По моим расчетам, достаточно владеть миллионной долей рельсового пути, как некогда владели акром целины на берегах Огайо. Это – помещение денег под залог, что уж прогресс, так как взамен своих денег получаешь пятнадцать, двадцать, сто фунтов железа Ну, так вот, через неделю, считая от сегодняшнего дня, я должен внести в счет своей доли четыре миллиона! Эти четыре миллиона, как я уже сказал, принесут десять или двенадцать.

– Но когда я позавчера была у вас, о чем вы так хорошо помните, – возразила Эжени, – я видела, как вы инкассировали, – так, кажется, говорят? – пять с половиной миллионов, вы даже показали мне эти две облигации казначейства и были несколько изумлены, что бумаги такой ценности не ослепили меня, как молния.

– Да, но эти пять с половиной миллионов не мои и являются только доказательством доверия, которым я пользуюсь; моя репутация демократа снискала мне доверие Управления приютов, и эти пять с половиной миллионов принадлежат ему; во всякое другое время я, не задумываясь, воспользовался бы ими, но сейчас всем известно, что я понес большие потери и, как я уже сказал, я теряю свой кредит. В любую минуту Управление приютов может потребовать свой вклад, и если окажется, что я пустил его в оборот, мне придется объявить себя банкротом. Я не против банкротства, но банкротство должно обогащать, а не разорять. Если ты выйдешь замуж за Кавальканти и я получу его три миллиона, или даже если люди просто будут думать, что я их получу, кредит мой немедленно восстановится. Тогда мое состояние упрочится и я, наконец, вздохну свободно, ибо вот уже второй месяц меня преследует злой рок, и я чувствую, что бездна разверзается у меня под ногами. Ты меня поняла?

– Вполне. Вы отдаете меня под залог трех миллионов.

– Чем выше сумма, тем более это лестно; ее размеры определяют твою ценность.

– Благодарю вас, сударь. Еще одно слово: обещаете ли вы мне пользоваться только номинально вкладом господина Кавальканти, но не трогать самого капитала? Я говорю об этом не из эгоизма, но из щепетильности. Я согласна помочь вам восстановить ваше состояние, но не желаю быть вашей сообщницей в разорении других людей.

– Но ведь я тебе говорю, – воскликнул Данглар, – что с помощью этих трех миллионов...

– Считаете ли вы, что вы можете выпутаться, не трогая этих трех миллионов?

– Я надеюсь, но опять-таки при том условии, что этот брак состоится.

– Вы можете выплатить Кавальканти те пятьсот тысяч франков, которые вы обещали мне в приданое?

– Он получит их, как только вы вернетесь из мэрии.

– Хорошо!

– Что это значит: хорошо?

– Это значит, что я даю свою подпись, но оставляю за собой право распоряжаться своей особой.

– Безусловно.

– В таком случае – хорошо; я заявляю вам, сударь, что готова выйти замуж за господина Кавальканти.

– Но что ты думаешь делать?

– Это уж моя тайна. В чем же было бы мое преимущество перед вами, если я, узнав вашу тайну, открыла бы вам свою?

Данглар закусил губу.

– Итак, ты согласна, – сказала он, – сделать все официальные визиты?

– Да, – ответила Эжени.

– И подписать через три дня договор?

– Да.

– В таком случае я в свою очередь скажу тебе: хорошо!

И Данглар взял руку дочери и пожал ее.

Но странное дело – отец при этом рукопожатии не решился сказать: «Благодарю тебя», а дочь даже не улыбнулась отцу.

– Наши переговоры окончены? – спросила Эжени, вставая.

Данглар кивнул, давая понять, что говорить больше не о чем.

Пять минут спустя под руками мадемуазель д'Армиллы зазвучал рояль, а мадемуазель Данглар запела проклятие Брабанцио Дездемоне.

Как только ария была окончена, вошел Этьен и доложил Эжени, что лошади поданы и баронесса ждет ее.

Мы уже присутствовали при том, как обе дамы побывали у Вильфоров, откуда они вышли, чтобы ехать дальше с визитами.

ХІХ. Брачный договор

Прошло три дня после описанной нами сцены, и настал день, назначенный для подписания брачного договора между мадемуазель Эжени Данглар и Андреа Кавальканти, которого банкир упорно продолжал называть князем. Было около пяти часов вечера, свежий ветерок шелестел листвою в садике перед домом Монте-Кристо; граф собирался выехать, и поданные ему лошади били копытами землю, едва сдерживаемые кучером, уже четверть часа сидевшим на козлах. В это время в ворота быстро въехал элегантный фаэтон, с которым мы уже несколько раз встречались, хотя бы, например, в известный нам вечер в Отейле; из него не вышел, а скорее выпрыгнул на ступени крыльца Андреа Кавальканти, такой блестящий, такой сияющий, как будто и он собирался породниться с княжеским домом.

Он с обычной фамильярностью осведомился о здоровье графа и, легко взбежав на второй этаж, столкнулся на площадке лестницы с ним самим.

При виде посетителя граф остановился. Но Андреа Кавальканти взял разгон, и его уже ничто не могло остановить.

– Здравствуйте, дорогой граф! – сказал он Монте-Кристо.

– А, господин Андреа! – сказал тот своим обычным полунасмешливым тоном. – Как поживаете?

– Чудесно, как видите. Тысячу вещей надо вам сказать. Но прежде всего скажите, вы собирались выехать или только что вернулись?

– Собираюсь выехать.

– В таком случае, чтобы не задерживать вас, я, если разрешите, сяду к вам в коляску, а Том будет следовать за нами.

– Нет, – сказал с неуловимо презрительной улыбкой граф, – отнюдь не желавший показываться в обществе этого молодого человека, – я предпочитаю выслушать вас здесь, дорогой господин Андреа; в комнате разговаривать удобнее, и нет кучера, который на лету подхватывает ваши слова.

И граф вошел в маленькую гостиную второго этажа, сел и, закинув ногу на ногу, пригласил гостя тоже сесть.

– Вам известно, дорогой граф, – сказал Андреа, весь сияя, – что обручение назначено на сегодня: в девять часов вечера у моего тестя подписывают договор.

– Вот как! – ответил Монте-Кристо.

– Как, разве это для вас новость? И разве Данглар не уведомил вас?

– Как же, – сказал граф, – я вчера получил письмо, по, насколько помню, там не указан час.

– Вполне возможно; мой тесть, должно быть, рассчитывал, что это всем известно.

– Ну, что ж, поздравляю, господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – вы делаете хорошую партию; к тому же мадемуазель Данглар очень недурна собой.

– О да, – скромно ответил Кавальканти.

– А главное, она очень богата; так я по крайней мере слышал, – сказал Монте-Кристо.

– Вы думаете, она очень богата?

– Несомненно; говорят, что Данглар скрывает по меньшей мере половину своего состояния.

– А он сознается в пятнадцати или двадцати миллионах, – сказал Андреа, и глаза его блеснули от радости.

– И кроме того, – прибавил Монте-Кристо, – он еще собирается заняться одной денежной операцией, довольно обычной в Соединенных Штатах и в Англии, но совершенно новой во Франции.

– Да, я знаю, вы говорите о железнодорожной концессии, которую он только что получил?

– Вот именно. По общему мнению, он наживет на этом по крайней мере десять миллионов.

– Десять миллионов! Вы думаете? Это великолепно! – сказал Кавальканти, опьяняясь металлическим звоном этих золотоносных слов.

– Не говоря уже о том, – продолжал Монте-Кристо, – что все это состояние достанется вам; это вполне справедливо, раз мадемуазель Данглар единственная дочь. Впрочем, ваше собственное состояние, как мне говорил ваш отец, немногим меньше состояния вашей невесты. Но оставим эти денежные вопросы. Знаете, господин Андреа, я нахожу, что вы очень быстро и ловко повели это дело.

– Да, недурно, – сказал Андреа, – я прирожденный дипломат.

– Ну, что ж, вы и будете дипломатом; дипломатии, знаете, нельзя выучиться, – для этого нужно чутье... Так ваше сердце в плену?

– Боюсь, что да, – отвечал Андреа тем тоном, которым на подмостках Французского театра Альцесту отвечают Дорант или Валер.

– И вам отвечают взаимностью?

– Очевидно, раз за меня выходят замуж, – отвечал Андреа, победоносно улыбаясь. – Но все же не следует забывать об одном существенном обстоятельстве.

– О каком же?

– О том, что мне в этом деле необыкновенно помогли.

– Да что вы!

– Несомненно.

– Обстоятельства?

– Нет, вы.

– Я? Да полно, князь, – сказал Монте-Кристо, подчеркивая титул. – Что такого мог я для вас сделать? Разве недостаточно было вашего имени, вашего общественного положения и ваших личных достоинств?

– Нет, – отвечал Андреа, – что бы вы ни говорили, граф, я продолжаю утверждать, что то место, которое вы занимаете в свете, сделало больше, чем мое имя, мое общественное положение и мои личные достоинства.

– Вы глубоко заблуждаетесь, сударь, – сказал Монте-Кристо, почувствовав коварный намек в словах Андреа, – я начал вам покровительствовать только после того, как узнал о богатстве и положении вашего уважаемого отца. Кому я обязан удовольствием быть с вами знакомым? Ведь я никогда не видел ни вас, ни вашего достойного родителя! Двум моим друзьям, лорду Уилмору и аббату Бузони. Что заставило меня – не говорю ручаться за вас, а ввести вас в общество? Имя вашего отца, столь известное и уважаемое в Италии; лично вас я не знаю.

Спокойствие графа, его непринужденность заставили Андреа понять, что его в данную минуту держит сильная рука и что ему не так легко будет избавиться от этих тисков.

– Скажите, граф, – спросил он, – мой отец в самом деле так богат?

– По-видимому, да, – отвечал Монте-Кристо.

– А вы не знаете – деньги, которые я должен внести Данглару, уже прибыли?

– Я получил уведомление.

– Значит, три миллиона...

– Три миллиона в пути, по всей вероятности.

– И я их получу?

– Мне кажется, – ответил граф, – что до сих пор вы получали все, что вам было обещано!

Андреа был до того изумлен, что на минуту даже задумался.

– В таком случае, сударь, – сказал он, помолчав, – мне остается обратиться к вам с просьбой, и, надеюсь, вы меня поймете, даже если она и будет вам неприятна.

– Говорите, – сказал Монте-Кристо.

– Благодаря моему состоянию я познакомился со многими людьми, у меня, по крайней мере сейчас, куча друзей. Но, вступая в такой брак, перед лицом всего парижского общества, я должен опереться на человека с громким именем, и если меня поведет к алтарю не рука моего отца, то это должна быть чья-нибудь могущественная рука; а мой отец не придет, ведь правда?

– Он дряхл, и его старые раны ноют, когда он путешествует.

– Понимаю. Так вот, я и обращаюсь к вам с просьбой.

– Ко мне?

– Да, к вам.

– С какой же, бог мой?

– Заменить его.

– Как, дорогой мой? После того как я имел удовольствие часто беседовать с вами, вы еще так мало меня знаете, что обращаетесь ко мне с подобной просьбой? Попросите у меня займы полмиллиона, и хотя подобная ссуда довольно необычна, но, честное слово, вы меня этим меньше стесните. Я уже, кажется, говорил вам, что граф Монте-Кристо, даже когда он участвует в жизни здешнего общества, никогда не забывает правил морали, более того – предубеждений Востока. У меня гарем в Каире, гарем в Смирне и гарем в Константинополе, и мне быть посаженным отцом! Ни за что!

– Так вы отказываетесь?

– Наотрез; и будь вы моим сыном, будь вы моим братом, я бы все равно вам отказал.

– Какая неудача! – воскликнул разочарованный Андреа. – Но что же мне делать?

– У вас сотня друзей, вы же сами сказали.

– Да, но ведь вы ввели меня в дом Данглара.

– Ничуть! Восстановим факты; вы обедали вместе с ним у меня в Отейле, и там вы сами с ним познакомились, это большая разница.

– Да, по моя женитьба... вы помогли...

– Я? Да ни в малейшей мере, уверяю вас; вспомните, что я вам ответил, когда вы явилась ко мне с просьбой сделать от вашего имени предложение; нет, я никогда не устраиваю никаких браков, милейший князь, это мой принцип.

Андреа закусил губу.

– Но, все-таки, – сказал он, – вы там будете сегодня?

– Там будет весь Париж?

– Разумеется!

– Ну, значит, и я там буду, – сказал граф.

– Вы подпишете брачный договор?

– Против этого я ничего не имею; так далеко мои предубеждения не простираются.

– Что делать! Если вы не желаете согласиться на большее, я должен удовлетвориться тем, на что вы согласны. Но еще одно слово, граф.

– Пожалуйста.

– Дайте мне совет.

– Это не шутка! Совет – больше, чем услуга.

– Такой совет вы можете мне дать, это вас ни к чему не обязывает.

– Говорите.

– Приданое моей жены равняется пятистам тысячам ливров?

– Эту цифру мне назвал сам барон Данглар.

– Должен я взять его или оставить у нотариуса?

– Вот как принято поступать: при подписании договора оба нотариуса уславливаются встретиться на следующий день или через день; при этой встрече они обмениваются приданым, в чем и выдают друг другу расписку; затем, после венчания, они выдают все эти миллионы вам, как главе семьи.

– Дело в том, – сказал Андреа с плохо скрытым беспокойством, – что мой тесть как будто собирается поместить наши капиталы в эту пресловутую железнодорожную концессию, о которой вы мне только что говорили.

– Так что же! – возразил Монте-Кристо. – Этим способом, – так по крайней мере все уверяют, – ваши капиталы в течение года утратятся. Барон Данглар хороший отец и умеет считать.

– В таком случае, – сказал Андреа, – все прекрасно, если не считать, конечно, вашего отказа, который меня огорчает до глубины души.

– Не приписывайте его ничему другому, как только вполне естественной в подобном случае щепетильности.

– Что делать, – сказал Андреа, – пусть будет по-вашему. До вечера!

– До вечера.

И, невзирая на едва ощутимое сопротивление Монте-Кристо, губы которого побелели, хоть и продолжали учтиво улыбаться, Андреа схватил руку графа, пожал ее, вскочил в свой фэтон и умчался.

Оставшееся до вечера время Андреа употребил на разъезды и визиты, которые должны были возбудить у его друзей желание появиться у банкира во всем своем великолепии, ибо он ослеплял их обещаниями предоставить им те самые волшебные акции, которые в ближайшие месяцы вскружили всем голову и которые пока что были в руках Данглара.

Вечером, в половине девятого, парадная гостиная Дангларов, примыкающая к этой гостинной галерея и три остальных гостиных этого этажа были переполнены раздушенной толпой, привлеченной отнюдь не симпатией, но непреодолимым желанием быть там, где можно увидеть нечто новое.

Член Академии сказал бы, что званые вечера суть цветники, привлекающие к себе непостоянных бабочек, голодных пчел и жужжащих шмелей.

Нечего и говорить, что гостиные ослепительно сияли множеством свечей, золоченая резьба и штофная обивка стен были залиты потоками света, и вся эта безвкусная обстановка, говорившая только о богатстве, красовалась во всем своем блеске.

Мадемуазель Эжени была одета с самой изысканной простотой; белое шелковое платье, затканное белыми же цветами, белая роза, полускрытая в ее черных, как смоль, волосах, составляли весь ее наряд, не украшенный ни одной драгоценностью.

Только бесконечная самоуверенность, читавшаяся в ее взгляде, противоречила этому девственному наряду, который сама она находила смешным и пошлым.

В нескольких шагах от нее г-жа Данглар беседовала с Дебрэ, Бошаном и Шато-Рено. По случаю торжественного дня Дебрэ снова появился в этом доме, но на положении рядового гостя, без каких-либо особых привилегий.

Данглар, окруженный депутатами и финансистами, излагал им новую систему налогов, которую он намеревался провести в жизнь, когда силою обстоятельств правительство будет вынуждено призвать его на пост министра.

Андреа, взяв под руку одного из самых элегантных завсегдатаев Оперы, излагал ему, не без развязности – так как для того, чтобы не казаться смущенным, ему приходилось быть наглым – свои планы на будущее и рисовал ту утонченную роскошь, которую он, обладая ста семьдесятю пятью тысячами годового дохода, собирался привить парижскому свету.

Вся остальная толпа гостей перекатывалась из гостиной в гостиную волнами бирюзы, рубинов, изумрудов, опалов и бриллиантов.

Как всегда, наиболее пышно разодеты были пожилые женщины, а дурнушки упорнее всех выставляли себя напоказ. Если и попадалась прекрасная белая лилия или нежная благоухающая роза, то ее надо было искать где-нибудь в уголке, за спиной мамыши в чалме или тетки, увенчанной райской птицей.

Среди этой толкотни, жужжания, смеха поминутно раздавались голоса лакеев, выкрикивавших имена, известные в мире финансов, уважаемые в военных кругах или знаменитые в литературе; тогда легкое колыхание толпы отдавало дань вновь прибывшему.

Но если иные имена и обладали привилегией волновать это людское море, то сколько было таких, которые встречали полное равнодушие или презрительное зубоскальство.

В ту минуту, когда на золотом циферблате стрелка массивных часов, изображающих спящего Эндимиона, показывала девять, и колокольчик, точный выразитель механической мысли, пробил девять раз, раздалось имя графа Монте-Кристо, и, словно пронизанная электрической искрой, вся толпа повернулась лицом к дверям.

Граф был, по своему обыкновению, в простом черном фраке; белый жилет обрисовывал его широкую грудь; черный воротник казался особенно черен, столь резко он оттенял мужественную бледность лица; единственная драгоценность – часовая цепочка – была так тонка, что едва выделялась золотой нитью на белом пике жилета.

У дверей в тот же миг образовался круг.

Граф сразу заметил в одном конце гостиной г-жу Данглар, в другом – Данглара, а напротив двери – мадемуазель Эжени.

Он начал с того, что подошел к баронессе, которая разговаривала с г-жой де Вильфор, явившейся в одиночестве, потому что Валентина все еще не оправилась от болезни, затем сквозь расступившуюся перед ним толпу гостей к Эжени, которую поздравил в таких сухих и сдержанных выражениях, что гордая артистка была поражена.

Рядом с ней стояла Луиза д'Армилль; она поблагодарила графа за рекомендательные письма, которые он ей дал для поездки в Италию и которыми она, по ее словам, собиралась немедленно воспользоваться.

Расставшись с девушками, он обернулся и увидел Данглара, подошедшего пожать ему руку.

Исполнив все требования этикета, Монте-Кристо остановился, окидывая окружающих уверенным взглядом, с тем особым выражением, присущим людям известного круга и имеющим в обществе вес, которое словно говорит: «Я сделал всё, что нужно; пусть теперь другие выполняют свои обязанности по отношению ко мне».

Андреа, находившийся в смежной гостиной, почувствовал по движению толпы присутствие Монте-Кристо и поспешил навстречу графу.

Он нашел его окруженным плотным кольцом гостей; к его словам жадно прислушивались, как всегда бывает, когда человек говорит мало и ничего не говорит попусту.

В эту минуту вошли нотариусы и разложили свои испещренные каракулями бумаги на бархатной скатерти, покрывавшей стол золоченого дерева, приготовленный для подписания договора.

Один из нотариусов сел, другой остался стоять.

Предстояло оглашение договора, который должны были подписать присутствующие на торжестве – другими словами, пол-Парижа.

Все сели – вернее, женщины сели в кружок, тогда как мужчины, более равнодушные к «энергичному стилю», как говорил Буало, обменивались замечаниями по поводу лихорадочного возбуждения Андреа, внимательной сосредоточенности Данглара, невозмутимости Эжени и той легкомысленной веселости, с которой баронесса относилась к этому важному делу.

Договор был прочитан при всеобщем молчании. Но как только чтение было окончено, в гостиных снова поднялся гул голосов, вдвое громче прежнего. Эти огромные суммы, эти миллионы, которыми блистало будущее молодой четы, и в довершение всего устроенная в особой комнате выставка приданого и бриллиантов невесты, поразили воображение завистливой толпы.

В глазах молодых людей красота мадемуазель Данглар возросла вдвое, и в этот миг она для них затмевала солнце.

Что касается женщин, то они, разумеется, хоть и завидовали миллионам, но считали, что их собственная красота в них не нуждается.

Андреа, окруженный друзьями, осыпaeмый поздравлениями и льстивыми речами, начинавший и сам верить в действительность этого сна, почти потерял голову.

Нотариус торжественно взял в руку перо, поднял его над головой и сказал:

– Господа, приступим к подписанию договора.

Первым должен был подписать барон, затем уполномоченный Кавальканти-отца, затем баронесса, затем брачующиеся, как принято выражаться на том отвратительном языке, которым исписывается гербовая бумага.

Барон взял перо и подписал; вслед за ним уполномоченный.

Баронесса подошла к столу под руку с г-жой де Вильфор.

– Друг мой, – сказала она мужу, беря в руки перо, – какая досада. Неожиданный случай, имеющий отношение к убийству и ограблению, жертвой которого едва не стал граф Монте-Кристо, лишил нас присутствия господина де Вильфор.

– Ах, боже мой! – сказал Данглар таким же тоном, каким сказал бы: «Вот уже мне все равно!»

– Боюсь, – сказал, подходя к ним, Монте-Кристо, – не являюсь ли я невольной причиной этого отсутствия.

– Вы, граф? Каким образом? – сказала, подписывая, г-жа Данглар. – Если так, берегитесь, я вам этого никогда не прощу.

Андреа насторожился.

– Но право, я здесь ни при чем, – сказал граф, – и я докажу вам это.

Все обратились в слух: Монте-Кристо собирался говорить, а это бывало не часто.

– Вы, вероятно, помните, – сказал граф среди всеобщего молчания, – что именно у меня в доме умер этот несчастный, который забрался ко мне, чтобы меня ограбить, и, выходя от меня, был убит, как предполагают, своим сообщником?

– Да, – сказал Данглар.

– Чтобы оказать ему помощь, его раздели, а его одежду бросили в угол, где ее и подобрали следственные власти; они взяли куртку и штаны, но забыли жилет.

Андреа заметно побледнел и стал подбираться ближе к двери; он видел, что на горизонте появилась туча, и опасался, что она сулит бурю.

– И вот сегодня этот злополучный жилет нашелся, весь покрытый кровью и разрезанный против сердца.

Дамы вскрикнули, и иные из них уже приготовились упасть в обморок.

– Мне его принесли. Никто не мог догадаться, откуда взялась эта тряпка; мне единственному пришло в голову, что это, по всей вероятности, жилет убитого. Вдруг мой камердинер, осторожно и с отвращением исследуя эту зловещую реликвию, нащупал в кармане бумажку и вытащил ее оттуда; это оказалось письмо, адресованное – кому бы вы думали? Вам, барон.

– Мне? – воскликнул Данглар.

– Да, представьте, вам; мне удалось разобрать ваше имя, сквозь кровь, которой эта записка была запачкана, – отвечал Монте-Кристо среди возгласов изумления.

– Но каким же образом это могло помешать господину де Вильфор приехать? – спросила, с беспокойством глядя на мужа, г-жа Данглар.

– Очень прошу, сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – этот жилет и это письмо являются тем, что называется уликой; я отослал и то и другое господину королевскому прокурору. Вы понимаете, дорогой барон, в уголовных делах всего правильнее действовать законным порядком; быть может, здесь кроется какой-нибудь преступный умысел против вас.

Андреа пристально посмотрел на Монте-Кристо и скрылся во вторую гостиную.

– Очень возможно, – сказал Данглар, – ведь, кажется, этот убитый – бывший каторжник?

– Да, – отвечал граф, – это бывший каторжник, по имени Кадрусс.

Данглар слегка побледнел; Андреа выбрался из второй гостиной и перешел в переднюю.

– Но что же вы не подписываете? – сказал Монте-Кристо. – Я вижу, мой рассказ всех взволновал, и я смиренно прошу за это прощения у вас, баронесса, и у мадемуазель Данглар.

Баронесса, только что подписавшая договор, передала перо нотариусу.

– Князь Кавальканти, – сказал нотариус, – князь Кавальканти, где же вы!

– Андреа, Андреа! – крикнуло несколько молодых людей, которые уже настолько сдружились со знатным итальянцем, что называли его по имени.

– Позовите же князя, доложите ему, что его ждут для подписи! – крикнул Данглар одному из лакеев.

Но в ту же самую минуту толпа гостей в ужасе хлынула в парадную гостиную, словно в комнате появилось страшное чудовище, *quaerens quem devoret*.²

И в самом деле, было от чего попятиться, испугаться, закричать.

Жандармский офицер, расставив у дверей каждой гостиной по два жандарма, направлялся к Данглару, предшествуемый полицейским комиссаром в шарфе.

Госпожа Данглар вскрикнула и лишилась чувств.

Данглар, который испугался за себя (у некоторых людей совесть никогда не бывает вполне спокойной), явил своим гостям искаженное страхом лицо.

– Что вам угодно, сударь? – спросил Монте-Кристо, делая шаг навстречу комиссару.

– Кого из вас, господа, – спросил полицейский комиссар, не отвечая графу, – зовут Андреа Кавальканти?

Единый крик изумления огласил гостиную.

Стали искать; стали спрашивать.

– Но кто же он такой, этот Андреа Кавальканти? – спросил окончательно растерявшийся Данглар.

– Беглый каторжник из Тулона.

– А какое преступление он совершил?

– Он обвиняется в том, – заявил комиссар невозмутимым голосом, – что убил некоего Кадрусса, своего товарища по каторге, когда тот выходил из дома графа Монте-Кристо.

Монте-Кристо бросил быстрый взгляд вокруг себя.

Андреа исчез.

² Ища, кого пожрать (лат.).

XX. Дорога в Бельгию

Тотчас же после замешательства, которое вызвало в доме Данглара неожиданное появление жандармского офицера и последовавшее за этим разоблачение, просторный особняк опустел с такой быстротой, как если бы среди присутствующих появилась чума или холера; через все двери, по всем лестницам устремились гости, спеша удалиться или, вернее, сбежать; это был один из тех случаев, когда люди и не пытаются говорить банальные слова утешения, которые при больших катастрофах так тягостно выслушивать из уст даже лучших друзей.

Во всем доме остались только сам Данглар, который заперся у себя в кабинете и давал показания жандармскому офицеру; перепуганная г-жа Данглар, в знакомом нам будуаре; и Эжени, которая с гордым и презрительным видом удалилась в свою комнату вместе со своей неразлучной подругой Луизой д'Армильи.

Что касается многочисленных слуг, еще более многочисленных в этот вечер, чем обычно, так как, по случаю торжественного дня, были наняты мороженщики, повара и метрдотели из Кафе-де-Пари, то, обратив на хозяев весь свой гнев за то, что они считали для себя оскорблением, они толпились в буфетной, в кухнях, в людских и очень мало интересовались своими обязанностями, исполнение которых, впрочем, само собою прервалось.

Среди всех этих различных людей, взволнованных самыми разнообразными чувствами, только двое заслуживают нашего внимания: это Эжени Данглар и Луиза д'Армильи. Невеста, как мы уже сказали, удалилась с гордым и презрительным видом, походкой оскорбленной королевы, в сопровождении подруги, гораздо более взволнованной, чем она сама. Придя к себе в комнату, Эжени заперла дверь на ключ, а Луиза бросилась в кресло.

– О боже мой, какой ужас! – сказала она. – Кто бы мог подумать? Андреа Кавальканти обманщик... убийца... беглый каторжник!..

Губы Эжени искривились насмешливой улыбкой.

– Право, меня преследует какой-то рок, – сказала она. – Избавиться от Морсера, чтобы налететь на Кавальканти!

– Как ты можешь их равнять, Эжени?

– Молчи, все мужчины подлецы, и я счастлива, что могу не только ненавидеть их; теперь я их презираю.

– Что мы будем делать? – спросила Луиза.

– Что делать?

– Да.

– То, что собирались сделать через три дня. – Мы уедем.

– Ты все-таки хочешь уехать, хотя свадьбы не будет?

– Слушай, Луиза. Я ненавижу эту светскую жизнь, размеренную, расчерченную, разграфленную, как наша нотная бумага. К чему я всегда стремилась, о чем мечтала – это о жизни артистки, о жизни свободной, независимой, где надеешься только на себя, и только себе обязана отчетом. Оставаться здесь? Для чего? Чтобы через месяц меня опять стали выдавать замуж? За кого? Может быть, за Дебрэ? Об этом одно время поговаривали. Нет, Луиза, нет; то, что произошло сегодня, послужит мне оправданием; я его не искала, я его не просила; сам бог мне его посылает, и я его приветствую.

– Какая ты сильная и храбрая! – сказала хрупкая белокурая девушка своей черноволосой подруге.

– Разве ты меня не знала? Ну, вот что, Луиза, поговорим о наших делах. Дорожная карета...

– К счастью, уже три дня как куплена.

– Ты велела ее доставить на место?

– Да.

– А наш паспорт?

– Вот он!

Эжени с обычным хладнокровием развернула документ и прочла: «Господин Леон д'Армильи, двадцать лет, художник, волосы черные, глаза черные, путешествует вместе с сестрой».

– Чудесно! Каким образом ты достала паспорт?

– Когда я просила графа Монте-Кристо дать мне рекомендательные письма к директорам театров в Риме и Неаполе, я сказала ему, что боюсь ехать в женском платье; он вполне согласился со мной и взялся достать мне мужской паспорт; через два дня я его получила и сама приписала: «Путешествует вместе с сестрой».

– Таким образом, – весело сказала Эжени, – нам остается только уложить вещи; вместо того чтобы уехать в вечер свадьбы, мы уедем в вечер подписания договора, только и всего.

– Подумай хорошенько, Эжени.

– Мне уже больше не о чем думать; мне надоели вечные разговоры о повышении, понижении, испанских фондах, гаитийских займах. Подумай, Луиза, вместо всего этого – чистый воздух, свобода, пение птиц, равнины Ломбардии, каналы Венеции, дворцы Рима, берег Неаполя. Сколько у нас всего денег?

Луиза вынула из письменного стола запертый на замок бумажник и открыла его: в нем было двадцать три кредитных билета.

– Двадцать три тысячи франков, – сказала она.

– И по крайней мере на такую же сумму жемчуга, бриллиантов и золотых вещей, – сказала Эжени. – Мы с тобой богаты. На сорок пять тысяч мы можем жить два года, как принцессы, или четыре года вполне прилично. Но не пройдет и полгода, как мы нашим Искусством удвоим этот капитал. Вот что, ты бери деньги, а я возьму шкатулку; таким образом, если одна из нас вдруг потеряет свое сокровище, у другой все-таки останется половина. А теперь давай укладываться!

– Подожди, – сказала Луиза; она подошла к двери, ведущей в комнату г-жи Данглар и прислушалась.

– Чего ты боишься?

– Чтобы нас не застали врасплох.

– Дверь заперта на ключ.

– Нам могут велеть открыть ее.

– Пусть велят, а мы не откроем.

– Ты настоящая амазонка, Эжени.

И обе девушки энергично принялись укладывать в чемодан все то, что они считали необходимым в дороге.

– Вот и готово, – сказала Эжени, – теперь, пока я буду переодеваться, закрывай чемодан.

Луиза изо всех сил нажимала своими маленькими белыми ручками на крышку чемодана.

– Я не могу, – сказала она, – у меня не хватает сил, закрой сама.

– Я и забыла, что я Геркулес, а ты только бледная Омфала, – сказала, смеясь, Эжени.

Она надавила коленом на чемодан, и до тех пор напрягала свои белые и мускулистые руки, пока обе половинки не сошлись и Луиза не защелкнула замок. Когда все это было проделано, Эжени открыла комод, ключ от которого она носила с собой, и вынула из него теплую дорожную накидку.

– Видишь, – сказала она, – я обо всем подумала; в этой накидке ты не озябнешь.

– А ты?

– Ты знаешь, мне никогда не бывает холодно; кроме того, этот мужской костюм...

– Ты здесь и переоденешься?

– Разумеется.

– А успеешь?

– Да не бойся же, трусишка; все в доме поглощено скандалом. А кроме того, никто не станет удивляться, что я заперлась у себя. Подумай, ведь я должна быть в отчаянии!

– Да, конечно, можно не беспокоиться.

– Ну, помоги мне.

И из того же комода, откуда она достала накидку, она извлекла полный мужской костюм, начиная от башмаков и кончая сюртуком, и запас белья, где не было ничего лишнего, но имелось все необходимое. Потом, с проворством, которое ясно указывало, что она не в первый раз переодевалась в платье другого пола, Эжени обулась, натянула панталоны, завязала галстук, застегнула доверху закрытый жилет и надела сюртук, красиво облегавший ее тонкую и стройную фигуру.

– Как хорошо! Правда, очень хорошо! – сказала Луиза, с восхищением глядя на нее. – Но твои чудные косы, которым завидуют все женщины, как ты их запрядешь под мужскую шляпу?

– Вот увидишь, – сказала Эжени.

И, зажав левой рукой густую косу, которую с трудом охватывали ее длинные пальцы, она правой схватила большие ножницы, и вот в этих роскошных волосах закрипела сталь, и они тяжелой волной упали к ногам девушки, откинувшейся назад, чтобы предохранить сюртук.

Затем Эжени срезала пряди волос у висков; при этом она не выказала ни малейшего сожаления, – напротив, ее глаза под черными, как смоль, бровями блестели еще ярче и задорнее, чем всегда.

– Ах, твои чудные волосы! – с грустью сказала Луиза.

– А разве так не во сто раз лучше? – воскликнула Эжени, приглаживая свои короткие кудри, – и разве, по-твоему, я так не красивее?

– Ты красавица, ты всегда красавица! – воскликнула Луиза. – Но, куда же мы теперь направимся?

– Да хоть в Брюссель, если ты ничего не имеешь против; это самая близкая граница. Мы проедем через Брюссель, Льеж, Аахен, поднимемся по Рейну до Страсбурга, проедем через Швейцарию и спустимся через Сен-Готар в Италию. Ты согласна?

– Ну разумеется.

– Что ты так смотришь на меня?

– Ты очаровательна в таком виде; право, можно подумать, что ты меня похищаешь.

– Черт возьми, так оно и есть!

– Ты, кажется, браниться научилась, Эжени?

И обе девушки, которым, по общему мнению, надлежало заливаться слезами, одной из-за себя, другой из любви к подруге, покатались со смеху и принялись уничтожать наиболее заметные следы беспорядка, оставленного их сборами.

Потом, потушив свечи, зорко осматриваясь, насторожив слух, беглянки открыли дверь будуара, выходящую на черную лестницу, которая вела прямо во двор. Эжени шла впереди, взявшись одной рукой за ручку чемодана, который за другую ручку едва удерживала обеими руками Луиза. Двор был пуст. Пробыло полночь. Привратник еще не ложился. Эжени тихонько прошла вперед и увидела, что почтенный страж дремлет, растянувшись в кресле. Она вернулась к Луизе, снова взяла чемодан, который поставила было на землю, и обе, прижимаясь к стене, вошли в подворотню. Эжени велела Луизе спрятаться в темном углу, чтобы привратник, если бы ему вздумалось открыть глаза, увидел только одного человека, а сама стала так, чтобы свет фонаря падал прямо на нее.

– Откройте! – крикнула она звучным контральто, стуча в стеклянную дверь.

Привратник, как и ожидала Эжени, встал с кресла и даже сделал несколько шагов, чтобы взглянуть, кто это выходит; но, увидав молодого человека, который нетерпеливо похлопывал тросточкой по ноге, он поспешил дернуть шнур. Луиза тотчас же проскользнула в приотворенные ворота и легко выскочила наружу. Эжени, внешне спокойная, хотя, вероятно, ее сердце и билось учащеннее, чем обычно, в свою очередь вышла на улицу.

Чемодан они передали проходившему мимо посыльному и, дав ему адрес – улица Виктуар, дом № 36, – последовали за этим человеком, чье присутствие успокоительно действовало на Луизу; что касается Эжени, то она была бесстрашна, как Юдифь или Далила.

Когда они прибыли к указанному дому, Эжени велела посыльному поставить чемодан на землю, расплатилась с ним и, постучав в ставень, отпустила его.

В доме, куда пришли беглянки, жила скромная белошвейка, с которой они заранее условились; она еще не ложилась и тотчас же открыла.

– Мадемуазель, – сказала Эжени, – распорядитесь, чтобы привратник выкатил из сарая карету, и пошлите его на почтовую станцию за лошадьми. Вот пять франков, которые я просила вас передать ему за труды.

– Я восхищаюсь тобой, – сказала Луиза, – я даже начинаю уважать тебя.

Белошвейка с удивлением на них посмотрела; но так как ей было обещано двадцать луидоров, то она ничего не сказала.

Четверть часа спустя привратник вернулся и привел с собой кучера и лошадей, которые немедленно были впряжены в карету; чемодан привязали сзади.

– Вот подорожная, – сказал кучер. – По какой дороге поедет, молодой хозяйин?

– По дороге в Фонтенбло, – отвечала Эжени почти мужским голосом.

– Как? Что ты говоришь? – спросила Луиза.

– Я заметаю след, – сказала Эжени, – эта женщина, которой мы заплатили двадцать луидоров, может нас выдать за сорок; когда мы выедем на Бульвары, мы велим ехать по другой дороге.

И она, почти не касаясь подножки, вскочила в карету.

– Ты, как всегда, права, Эжени, – сказала Луиза, усаживаясь рядом с подругой.

Четверть часа спустя кучер, уже изменив направление по указанию Эжени, проехал, щелкая бичом, заставу СенМартен.

– Наконец-то мы выбрались из Парижа! – сказала Луиза, с облегчением вздыхая.

– Да, моя дорогая, и похищение удалось на славу, – отвечала Эжени.

– Да, и притом без насилия, – сказала Луиза.

– Это послужит смягчающим вину обстоятельством, – отвечала Эжени.

Слова эти потерялись в стуке колес по мостовой Ла-Виллет.

У Данглара больше не было дочери

Часть шестая

I. Гостиница «Колокол и бутылка»

Оставим пока мадемуазель Данглар и ее приятельницу на дороге в Брюссель и вернемся к бедному Андреа Кавальканти, так злополучно задержанному в его полете за счастьем.

Этот Андреа Кавальканти, несмотря на свой юный возраст, был малый весьма ловкий и умный.

Поэтому при первом волнении в гостиной он, как мы видели, стал понемногу приближаться к двери, прошел две комнаты и скрылся.

Мы забыли упомянуть о маленькой подробности, которая между тем я не должна быть пропущена; в одной из комнат, через которые прошел Кавальканти, были выставлены футляры с бриллиантами, кашемировые шали, кружева валансьен, английские ткани – словом, весь тот подбор соблазнительных предметов, одно упоминание о котором заставляет трепетать сердца девиц и который называется приданым.

Проходя через эту комнату, Андреа доказал, что он малый не только весьма умный и ловкий, но и предусмотрительный, и доказал это тем, что захватил наиболее крупные из выставленных драгоценностей.

Снабженный этим подспорьем, Андреа почувствовал, что ловкость его удвоилась, и, выпрыгнув в окно, ускользнул от жандармов.

Высокий, сложенный, как античный атлет, мускулистый, как спартаец, Андреа бежал целых четверть часа, сам не зная, куда он бежит, только чтобы отдалиться от того места, где его чуть не схватили.

Свернув с улицы Мон-Блан и руководимый тем чутьем, которое приводит зайца к норе, а вора – к городской заставе, он очутился в конце улицы Лафайет.

Задыхаясь, весь в поту, он остановился.

Он был совершенно один, слева от него простиралось пустынное поле Сен-Лазар, а направо – весь огромный Париж.

– Неужели я погиб? – спросил он себя. – Нет – если я проявлю большую энергию, чем мои враги. Мое спасение стало просто вопросом расстояния.

Тут он увидел фиакр, едущий от предместья Пуассоньер; хмурый кучер с трубкой в зубах, по-видимому, держал путь к предместью Сен-Дени.

– Эй, дружище! – сказал Бенедетто.

– Что прикажете? – спросил кучер.

– Ваша лошадь устала?

– Устала! Как же! Целый день ничего не делала. Четыре несчастных конца и двадцать су на чай, всего семь франков, и из них я должен десять отдать хозяину.

– Не хотите ли к семи франкам прибавить еще двадцать?

– С удовольствием, двадцатью франками не брезгают. А что нужно сделать?

– Вещь нетрудная, если только ваша лошадь не устала.

– Я же вам говорю, что она полетит, как ветер; скажите только, в какую сторону ехать.

– В сторону Лувра.

– А, знаю, где наливку делают.

– Вот именно, требуется попросту нагнать одного моего приятеля, с которым я условился завтра поохотиться в Шапель-ап-Серваль. Он должен был ждать «меня здесь в своем кабриолете до половины двенадцатого; сейчас – полночь; ему, должно быть, надоело ждать, и он уехал один.

– Наверно.

– Ну, так вот, хотите попробовать его нагнать?

– Извольте.

– Если мы его не нагоним до Бурже, вы получите двадцать франков; а если не нагоним до Лувра – тридцать.

– А если нагоним?

– Сорок, – сказал Андреа, который одну секунду колебался, но решил, что, обещая, он ничем не рискует.

– Идет! – сказал кучер. – Садитесь!

Андреа сел в фиакр, который быстро пересек предместье Сен-Дени, проехал предместье Сен-Мартен, миновал заставу и въехал в бесконечную Ла-Виллет.

Нелегко было нагнать этого мифического приятеля; все же время от времени у запоздалых прохожих и в еще не закрытых трактирах Кавальканти справлялся о зеленом кабриолете и пегой лошади, а так как по дороге в Нидерланды проезжает немало кабриолетов и из десяти кабриолетов девять зеленых, то справки сыпались на каждом шагу.

Все видели этот кабриолет он был не больше, как в пятистах, двухстах или ста шагах впереди, но когда его наконец, нагоняли, оказывалось, что это не тот.

Один раз их самих обогнали, это была каре га, уносимая вскачь парой почтовых лошадей.

«Вот бы мне эту карету, – подумал Кавальканти, – пару добрых коней, а главное – подорожную!»

И он глубоко вздохнул.

Это была та самая карета, которая увозила мадемуазель Данглар и мадемуазель д'Армильи.

– Живей, живей! – сказал Андреа. – Теперь уже мы, должно быть, скоро его нагоним.

И бедная лошадь снова пустилась бешеной рысью, ко торой она бежала от самой заставы, и, вся в мыле, домчалась до Лувра.

– Я вижу, – сказал Андреа, – что не нагоню приятеля и только заморю вашу лошадь. Поэтому лучше мне остановиться. Вот вам ваши тридцать франков, а я переночую в «Рыжем коне» и займу место в первой свободной почтовой карете Доброй ночи, друг.

И Андреа, сунув в руку кучера шесть монет по пять франков, легко спрыгнул на мостовую.

Кучер весело спрятал деньги в карман и шагом направился к Парижу. Андреа сделал вид, будто идет в гостиницу «Рыжий конь»; он постоял у дверей, прислушиваясь к замирающему стуку колес, и, двинувшись дальше, гимнастическим шагом прошел два лье.

Тут он отдохнул, он находился, по-видимому, совсем близко от Шапель-ан-Серваль, куда, по его словам, он и направлялся.

Не усталость принудила Андреа Кавальканти остановиться, а необходимость принять какое-нибудь решение и составить план действий.

Сесть в дилижанс было невозможно, нанять почтовых также невозможно Чтобы путешествовать тем или другим способом, необходим паспорт.

Оставаться в департаменте Уазы, то есть в одном из наиболее видных и наиболее охраняемых департаментов Франции, было опять-таки невозможно, особенно для человека, искушенного, как Андреа, по уголовной части.

Андреа сел на край канавы, опустил голову на руки и задумался.

Десять минут спустя он поднял голову; решение было принято.

Он испачкал пылью пальто, которое он успел снять с вешалки в передней и надеть поверх фрака, и, дойдя до Шапель-ан-Серваль, уверенно постучал в дверь единственной местной гостиницы.

Хозяин отворил ему.

– Друг мой, – сказал Андреа, – я ехал верхом из Морфонтена в Санлис, но моя лошадь с норовом, она заартачилась и сбросила меня. Мне необходимо прибыть сегодня же ночью в Компьень, иначе моя семья будет очень беспокоиться, найдется ли у вас лошадь?

У всякого трактирщика всегда найдется лошадь, плохая или хорошая.

Трактирщик позвал конюха, велел ему оседлать Белого и разбудил своего сына, мальчика лет семи, который должен был сесть позади господина и привести лошадь обратно.

Андреа дал трактирщику двадцать франков и, вынимая их из кармана, выронил визитную карточку.

Эта карточка принадлежала одному из его приятелей по Кафе-де-Пари, так что трактирщик, подняв ее после отъезда Андреа, остался при убеждении, что он дал свою лошадь графу де Молеону, улица Сен-Доминик, 25; то были фамилия и адрес, значившиеся на карточке.

Белый бежал не быстрой, по ровной и упорной рысью; за три с половиной часа Андреа проехал девять лье, отделявших его от Компьеня; на ратуше било четыре часа, когда он выехал на площадь, где останавливаются дилижансы.

В Компьене имеется прекрасная гостиница, о которой помнят даже те, кто останавливался в ней только один раз.

Андреа, разъезжая по окрестностям Парижа, однажды в ней ночевал, он вспомнил о «Колоколе и Бутылке», окинул взглядом площадь, увидел при свете фонаря путеводную вывеску и, отпустив мальчика, которому отдал всю имевшуюся у него мелочь, постучал в дверь, справедливо рассудив, что у него впереди еще часа четыре и что ему не мешает подкрепиться хорошим ужином и крепким сном.

Ему отворил слуга.

– Я пришел из Сен-Жан-о-Буа, я там обедал, – сказал Андреа. – Я рассчитывал на дилижанс, который проезжает в полночь, но я заблудился, как дурак, и целых четыре часа кружил по лесу. Дайте мне одну из комнат, которые выходят во двор, и пусть мне принесут холодного цыпленка и бутылку бордо.

Слуга ничего не заподозрил; Андреа говорил совершенно спокойно, держа руки в карманах пальто, с сигаретой во рту; платье его было элегантно, борода подстрижена, обувь безукоризненна; он имел вид запоздалого горожанина.

Пока слуга готовил ему комнату, вошла хозяйка гостиницы; Андреа встретил ее самой обворожительной улыбкой и спросил, не может ли он получить 3-й номер, который он занимал в свой последний приезд в Компьень; к сожалению, 3-й номер оказался занят молодым человеком, путешествующим с сестрой.

Андреа выразил живейшее огорчение и утешился только тогда, когда хозяйка уверила его, что 7-й номер, который ему готовят, расположен совершенно так же, как и 3-й; грея ноги у камина и беседуя о последних скачках в Шантлильи, он ожидал, пока придут сказать, что комната готова.

Андреа недаром вспомнил о комнатах, выходящих во двор; двор гостиницы «Колокол», с тройным рядом галерей, придающих ему вид зрительной залы, с жасмином и ломоносом, выющимися, как естественное украшение, вокруг легких колоннад, – один из самых прелестных дворов, какой только может быть у гостиницы.

Цыпленок был свежий, вино старое, огонь весело потрескивал; Андреа сам удивился, что ест с таким аппетитом, как будто ничего не произошло.

Затем он лег и тотчас же заснул неодолимым сном, как засыпает человек в двадцать лет, даже когда у него совесть нечиста.

Впрочем, мы должны сознаться, что, хотя Андреа и мог бы чувствовать угрызения совести, он их не чувствовал.

Вот каков был план Андреа, вселивший в него такую уверенность.

Он встанет с рассветом, выйдет из гостиницы, добросовестнейшим образом заплатив по счету, доберется до леса, поселится у какого-нибудь крестьянина под предлогом занятий живописью, раздобудет одежду дровосека и топор, сменив облик светского льва на облик рабочего; потом, когда руки его почернеют, волосы потемнеют от свинцового гребня, лицо покроется загаром, наведенным по способу, которому его когда-то научили товарищи в Тулоне, он проберется лесом к ближайшей границе, шагая ночью, высыпаясь днем в чашах и оврагах и приближаясь к населенным местам лишь изредка, чтобы купить хлеба.

Перейдя границу, он превратит бриллианты в деньги, стоимость их присоединит к десятку кредитных билетов, которые он на всякий случай всегда имел при себе, и у него, таким образом, наберется как-никак пятьдесят тысяч ливров, что на худой конец не так уж плохо.

Вдобавок он очень рассчитывал на то, что Дангларты постараются рассеять молву о постигшей их неудаче.

Вот что, помимо усталости, помогло Андреа так быстро и крепко заснуть.

Впрочем, чтобы проснуться возможно раньше, Андреа не закрыл ставней, а только запер дверь на задвижку и оставил раскрытым на ночном столике свой острый нож, прекрасный закал которого был им испытан и с которым он никогда не расставался.

Около семи часов утра Андреа был разбужен теплым и ярким солнечным лучом, скользнувшим по его лицу.

Во всяком правильно работающем мозгу господствующая мысль, а таковая всегда имеется, засыпает последней и первая озаряет пробуждающееся сознание.

Андреа не успел еще вполне открыть глаза, как господствующая мысль уже овладела им и подсказывала ему, что он спал слишком долго.

Он соскочил с кровати и подбежал к окну.

По двору шел жандарм.

Жандарм вообще одно из самых примечательных явления на свете, даже для самых безгрешных людей; но для пугливой совести, имеющей основания быть таковой, желтый, синий и белый цвет его мундира – самые зловещие цвета на свете.

– Почему жандарм? – спросил себя Андреа.

И тут же сам себе ответил, с той логикой, которую читатель мог уже подметить в нем:

– Нет ничего странного в том, что жандарм пришел в гостиницу: но пора одеваться.

И он оделся с быстротой, от которой его не отучил лакей за несколько месяцев светской жизни, проведенных им в Париже.

– Ладно, – говорил Андреа, одеваясь, – я подожду, пока он уйдет; а когда он уйдет, я улизну.

С этими словами, он, уже одетый, осторожно подошел к окну и вторично поднял кисейную занавеску.

Но не только первый жандарм не ушел, а появился еще второй синий, желтый и белый мундир у единственной лестницы, по которой Андреа мог спуститься, между тем как третий, верхом, с ружьем в руке, охранял единственные ворота, через которые он мог выйти на улицу.

Этот третий жандарм был в высшей степени знаменателен, поэтому перед ним теснились любопытные, плотно загораживая ворота.

«Меня ищут! – было первой мыслью Андреа. – Ах, черт!»

Он побледнел и беспокойно осмотрелся.

Его комната, как и все комнаты этого этажа, имела выход только на наружную галерею, открытую всем взглядам.

«Я погиб!» – было его второй мыслью.

В самом деле для человека в положении Андреа арест означал суд, приговор, смерть, – смерть без пощады и без отлагательств.

Он судорожно сжал голову руками.

В этот миг он чуть с ума не сошел от страха.

Но вскоре в вихре мыслей, бушевавших в его голове, блеснула надежда; слабая улыбка тронула его побледневшие губы.

Он оглядел Комнату; всё, что ему было нужно, оказалось на письменном столе: перо, чернила и бумага.

Он обмакнул перо в чернила и рукой, которую он принудил быть твердой, написал на первой странице следующие строки:

«У меня нет денег, чтобы заплатить по счету, но я честный человек. Я оставляю в залог эту булавку, которая в десять раз превышает мой долг. Пусть мне простят мое бегство: мне было стыдно».

Он вынул из галстука булавку и положил ее на листок.

Затем, вместо того чтобы оставить дверь запертой, он отпер задвижку, даже приотворил дверь, как будто, уходя, он забыл ее прикрыть, влез в камин, как человек, привыкший к такого рода гимнастике, притянул к себе бумажный экран, изображавший Ахилла у Деидамии, замел ногами свои следы на золе и начал подниматься по изогнутой трубе, представлявшей последний путь к спасению, на который он еще мог рассчитывать.

В это самое время первый жандарм, замеченный Андреа, поднимался по лестнице в сопровождении полицейского комиссара, лестницу охранял второй жандарм, который в свою очередь мог ожидать поддержки от жандарма, караулившего у ворот.

Вот каким обстоятельствам Андреа был обязан этим визитом, которого он с таким трудом старался избежать.

С раннего утра парижский телеграф заработал во всех направлениях, и во всех окрестных городах и селениях, тотчас же извещенных, были подняты на ноги власти и брошена вооруженная сила на розыски убийцы Кадрусса.

Компъень, королевская резиденция, Компъень, излюбленное место охоты, Компъень, гарнизонный город, кишит чиновниками, жандармами и полицейскими комиссарами; тотчас же по получении телеграфного приказа начались облавы, и так как гостиница «Колокол и Бутылка» – первая гостиница в городе, то естественно начали с нее.

К тому же согласно донесению часовых, которые в эту ночь охраняли ратушу, – а ратуша примыкает к гостинице «Колокол», – в эту гостиницу ночью прибыло несколько приезжих.

Часовой, который сменился в шесть часов утра, припомнил даже, что, как только он занял пост, то есть в самом начале пятого, он увидел молодого человека на белой лошади, с крестьянским мальчиком позади; молодой человек спешил на площади и, отпустив мальчика с лошадей, постучался в «Колокол», куда его и впустили.

На этого позднего путника и пало подозрение.

Этот путник был не кто иной, как Андреа.

На основании этих данных полицейский комиссар и жандармский унтер-офицер и направились к двери Андреа.

Дверь оказалась приотворенной.

– Ого, – сказал жандарм, старая лиса, искушенная во всяческих уловках, – плохой признак – открытая дверь! Я предпочел бы видеть ее запертой на три замка!

И в самом деле, записка и булавка, оставленные Андреа на столе, подтверждали, или, вернее, указывали на печальную истину.

Андреа сбежал.

Мы говорим «указывали», потому что жандарм был не из тех людей, которые довольствуются первым попавшимся объяснением.

Он осмотрелся, заглянул под кровать, откинул штору, открыл шкафы и, наконец, подошел к камину.

Благодаря предусмотрительности Андреа, на золе не осталось никаких следов.

Но как-никак это был выход, а при данных обстоятельствах всякий выход должен был стать предметом тщательного обследования. Поэтому жандарм велел принести хвороста и соломы, он сунул все это в трубу камина, словно заряжая мортиру, и поджег.

Пламя загудело в трубе, густой дым рванулся в дымоход и столбом взвился к небу, но преступник не свалился в камин, как того ожидал жандарм.

Андреа, с юных лет воюя с обществом, стоил любого жандарма, будь этот жандарм даже в почтенном чине унтер-офицера; предвидя испытание огнем, он выбрался на крышу и прижался к трубе.

У него даже мелькнула надежда на спасение, когда он услышал, как унтер-офицер громко крикнул обоим жандармам:

– Его там нет!

Но, осторожно вытянув шею, он увидел, что жандармы, вместо того чтобы уйти, как это было бы естественно после такого заявления, напротив, удвоили внимание.

Он в свою очередь посмотрел вокруг: ратуша, внушительная постройка XVI века, возвышалась вправо от него, как мрачная твердыня; и из ее окон можно было рассмотреть все углы и закоулки крыши, на которой он притаился, как долину с высокой горы.

Андреа понял, что в одном из этих окон немедленно появится голова жандарма.

Если его обнаружат, он погиб; бегство по крышам не сулило ему никакой надежды на успех.

Тогда он решил спуститься, не тем путем, как поднялся, но путем сходным.

Он поискал трубу, из которой не шел дым, дополз до нее и нырнул в отверстие, никем не замеченный.

В ту же минуту в ратуше отворилось окошко и показалась голова жандарма.

С минуту голова оставалась неподвижной, подобно каменным изваяниям, украшающим здание; потом с глубоким разочарованным вздохом скрылась.

Спокойный и величавый, как закон, который он представлял, унтер-офицер прошел, не отвечая на вопросы, сквозь толпу и вернулся в гостиницу.

– Ну, что? – спросили оба жандарма.

– А то, ребята, – отвечал унтер-офицер, – что разбойник, видно, в самом деле улизнул от нас рано утром; но мы пошлем людей в сторону Вилле-Котре и к Нуайону, обшарим лес и настигнем его непременно.

Не успел почтенный блюститель закона произнести с чисто унтер-офицерской интонацией это энергичное слово, как крики ужаса и отчаянный трезвон колокольчика огласили двор гостиницы.

– Ого, что это такое? – воскликнул жандарм.

– Видно, кто-то торопится не на шутку! – сказал хозяин. – Из какого номера звонят?

– Из третьего.

– Беги, Жан.

В это время крики и трезвон возобновились с удвоенной силой.

Слуга кинулся к лестнице.

– Нет, нет, – сказал жандарм, останавливая его, – тому, кто звонил, требуются, по моему, не ваши услуги, и мы ему услужим сами. Кто стоит в третьем номере?

– Молодой человек, который приехал с сестрой сегодня ночью на почтовых и потребовал помер с двумя кроватями.

В третий раз раздался тревожный звонок.

– Сюда, господин комиссар! – крикнул унтер-офицер – Следуйте за мной, в ногу!

– Пойдите, – сказал хозяин, – в третий номер ведут две лестницы: наружная и внутренняя.

– Хорошо, – сказал унтер-офицер, – я пойду по внутренней, это по моей части. Карабины заряжены?

– Так точно.

– А вы наблюдайте за наружной лестницей и, если он вздумает бежать, стреляйте, это важный преступник, судя по телеграмме.

Унтер-офицер вместе с комиссаром тотчас же исчез на внутренней лестнице, провожаемый гудением толпы, взволнованной его словами.

Вот что произошло.

Андреа очень ловко спустился по трубе на две трети, но здесь сорвался и, несмотря на то, что упирался руками в стенки, спустился быстрее, а главное – с большим шумом, чем хотел.

Это бы еще полбеды, будь комната пустая; но, к сожалению, она была обитаема.

Две женщины спали в одной кровати. Шум разбудил их.

Они посмотрели в ту сторону, откуда послышался шум, и увидели, как в отверстии камина показался молодой человек.

Страшный крик, отдавшийся по всему дому, испустила одна из этих женщин, блондинка, в то время как другая, брюнетка, ухватилась за звонок и подняла тревогу, дергая что было сил.

Злой рок явно преследовал Андреа.

– Ради бога! – воскликнул он, бледный растерянный, – даже не видя, к кому обращается. – Не зовите, не губите меня! Я не сделаю вам ничего дурного.

– Андреа, убийца! – крикнула одна из молодых женщин.

– Эжени! Мадемуазель Данглар! – прошептал Андреа, переходя от ужаса к изумлению.

– На помощь! На помощь! – закричала мадемуазель д'Армилль и, выхватив звонок из опустившихся рук Эжени зазвонила еще отчаяннее.

– Спасите меня, за мной гонятся, – взмолился Андреа. – Сжальтесь, не выдавайте меня!

– Поздно, они уже на лестнице, – ответила Эжени.

– Так спрячьте меня. Скажите, что испугались без причины. Вы отведете подозрение и спасете мне жизнь.

Обе девушки, прижавшись друг к другу и закутавшись в одеяло, молча, со страхом и отвращением внимали этому молящему голосу.

– Хорошо, – сказала Эжени, – уходите той же дорогой, которой пришли; уходите, несчастный, мы ничего не скажем.

– Вот он! Вот он! Я его вижу! – крикнул голос за дверью.

Голос принадлежал унтер-офицеру, который заглянул в замочную скважину и увидел Андреа с умоляюще сложенными руками.

Сильный удар прикладом выбил замок, два других сорвали петли; выломанная дверь упала в комнату.

Андреа бросился к другой двери, выходящей на внутреннюю галерею, и открыл ее.

Стоявшие на галерее жандармы вскинули свои карабины.

Андреа замер на месте; бледный, слегка откинувшись назад, он судорожно сжимал в руке бесполезный нож.

– Бегите же! – крикнула мадемуазель д'Армильи, в сердце которой возвращалась жалость, по мере того как проходил страх. – Бегите!

– Или убейте себя! – сказала Эжени, с видом весталки, подающей в цирке знак гладиатору прикончить поверженного противника.

Андреа вздрогнул и взглянул на девушку с улыбкой презрения, говорящей о том, что его низкой душе непонятны величайшие жертвы, которых требует неумолимый голос чести.

– Убить себя? – сказал он, бросая нож. – Зачем?

– Но вы же сами сказали, – воскликнула Эжени Данглар, – вас приговорят к смерти, вас казнят, как последнего преступника!

– Пустяки, – ответил Кавальканти, скрестив руки, – на то имеются друзья!

Унтер-офицер подошел к нему с саблей в руке.

– Ну, ну, – сказал Кавальканти, – спрячьте саблю, приятель, к чему столько шуму, раз я сдаюсь!

И он протянул руки. На него тотчас же надели наручники. Девушки с ужасом смотрели на это отвратительное превращение: у них на глазах человек сбрасывал личину светскости и снова становился каторжником.

Андреа обернулся к ним с наглой улыбкой.

– Не будет ли каких поручений к вашему отцу, мадемуазель Эжени? – сказал он. – Как видно, я возвращаюсь в Париж.

Эжени закрыла лицо руками.

– Не смущайтесь, – сказал Андреа, – я на вас не в обиде, что вы помчались за мной вдогонку... Ведь я был почти что вашим мужем.

И с этими словами Андреа вышел, оставив беглянок, сгоравших от стыда, подавленных пересудами присутствующих.

Час спустя, обе в женском платье, они садились в свою дорожную карету.

Чтобы оградить их от посторонних взглядов, ворота гостиницы заперли, но когда ворота открылись, им все-таки пришлось проехать сквозь строй любопытных, которые, перешептываясь, провожали их насмешливыми взглядами.

Эжени опустила шторы, но, если она ничего не видела, она все же слышала, и насмешки долетали до ее ушей.

– Отчего мир не пустыня! – вскричала она, бросаясь в объятия подруги; ее глаза сверкали той яростью, которая Заставляла Нерона жалеть, что у римского народа не о дня голова и что нельзя ее отсечь одним ударом.

На следующий день они прибыли в Брюссель и остановились в Отель де Фландр.

Андреа еще накануне был заключен в тюрьму Консьержери.

II. Закон

Мы видели, как благополучно мадемуазель Данглар и мадемуазель д'Армильи совершили свой побег; все были слишком заняты своими собственными делами, чтобы думать о них.

Пока банкир, с каплями холодного пота на лбу, видя перед собой призрак близкого банкротства, выводит огромные столбцы своего пассива, мы последуем за баронессой, которая, едва придя в себя после сразившего ее удара, поспешила к своему постоянному советчику, Люсьену Дебрэ.

Баронесса с нетерпением ждала брака дочери, чтобы освободиться, наконец, от обязанности опекать ее, что, при характере Эжени, было весьма обременительно; по молчаливому соглашению, на котором держится семейная иерархия, мать может надеяться на беспрекословное послушание дочери лишь в том случае, если она неизменно служит ей примером благоразумия и образцом совершенства.

Надо сказать, что г-жа Данглар побаивалась пронизательности Эжени и советов мадемуазель д'Армильи от нее не ускользали презрительные взгляды, которыми ее дочь награждала Дебрэ. Эти взгляды, казалось ей, свидетельствовали о том, что Эжени известна тайна ее

любовных и денежных отношений с личным секретарем министра Однако, будь баронесса более проницательна, она поняла бы, что Эжени ненавидит Дебрэ вовсе не за то, что в доме ее отца он служит камнем преткновения и поводом для сплетен; просто она причисляла его к категории двуногих, которых Диоген не соглашался называть людьми, а Платон иносказательно именовал животными о двух ногах и без перьев.

Таким образом, с точки зрения г-жи Данглар, – а к сожалению, на этом свете каждый имеет свою точку зрения, мешающую ему видеть точку зрения другого, – было весьма печально, что свадьба дочери не состоялась, – не потому, что этот брак был подходящим, удачным и мог составить счастье Эжени, но потому, что этот брак дал бы г-же Данглар полную свободу.

Итак, как мы уже сказали, она бросилась к Дебрэ; Люсьен, как и весь Париж, присутствовал на торжестве у Дангларов и был свидетелем скандала. Он поспешно ретировался в клуб, где его друзья уже беседовали о событии, составлявшем в этот вечер предмет обсуждения для трех четвертей города-сплетника, именуемого столицей мира.

В то время как г-жа Данглар, в черном платье, под густой вуалью, поднималась по лестнице, ведущей в квартиру Дебрэ, несмотря на уверения швейцара, что его нет дома, Люсьен спорил с приятелем, старавшимся доказать ему, что после разразившегося скандала он, как друг дома, обязан жениться на мадемуазель Эжени Данглар и на ее двух миллионах.

Дебрэ слабо защищался, как человек, который вполне готов дать себя убедить; эта мысль не раз приходила в голову ему самому, но, зная Эжени, зная ее независимый и надменный нрав, он время от времени восставал, утверждая, что этот брак невозможен, и вместе с тем невольно дразнил себя грешной мыслью, которая, если верить мора листам, вечно обитает даже в самом честном и непорочном человеке, прячась в глубине его души, как сатана за крестом. Чаепитие, игра, беседа, – как мы видим, занимательная, потому что она касалась столь важных вопросов, – продолжались до часу ночи.

Тем временем г-жа Данглар, проведенная лакеем Люсьена в маленькую зеленую гостиную, ожидала, трепещущая, не снимая вуали, среди цветов, которые она прислала утром и которые Дебрэ, к чести его будь скачано, разместил и расправил с такой заботливостью, что бедная женщина простила ему его отсутствие.

Без двадцати двенадцать г-жа Данглар, устав напрасно ждать, взяла фиакр и поехала домой.

Дамы известного круга имеют то общее с солидно устроившимися гризетками, что они никогда не возвращаются домой позже полуночи.

Баронесса вернулась к себе с такими же предосторожностями, с какими Эжени только что покинула отцовский дом; с бьющимся сердцем она неслышно поднялась в свою комнату, смежную, как мы знаем, с комнатой Эжени.

Она так боялась всяких пересудов Она так твердо верила, – и по крайней мере за это она была достойна уважения, – в чистоту дочери и в ее верность родительскому дому!

Вернувшись к себе, она подошла к дверям Эжени и прислушалась, но не уловив ни малейшего звука, попыталась войти; дверь была заперта.

Госпожа Данглар решила, что Эжени, устав от тягостных волнений этого вечера, легла в постель и заснула.

Она позвала горничную и расспросила ее.

– Мадемуазель Эжени, – отвечала горничная, – вернулась в свою комнату с мадемуазель д'Армильи; они вместе пили чай, а затем отпустили меня, сказав, что я им больше не нужна.

С тех пор горничная не выходила из буфетной и думала, как и все, что обе девушки у себя в комнате.

Таким образом, г-жа Данглар легла без тени какого-либо подозрения; слова горничной рассеяли ее тревогу о дочери.

Чем больше она думала, тем яснее для нее становились размеры катастрофы; это был уже не скандал, но разгром; не позор, но бесчестие.

Тогда г-жа Данглар невольно вспомнила, как она была безжалостна к Мерседес, которую из-за мужа и сына недавно постигло такое же несчастье.

«Эжени погибла, – сказала она себе, – и мы тоже. Эта история в том виде, как ее будут преподносить, погубит нас, потому что в нашем обществе смех наносит страшные, неизлечимые раны».

– Какое счастье, – прошептала она, – что бог наделил Эжени таким странным характером, который всегда так пугал меня!

И она подняла глаза к небу, благодаря провидение, которое неисповедимо направляет грядущее и недостаток, даже порок, обращает на благо человеку.

Затем ее мысль преодолела пространство, как птица, распластав крылья, перелетает пропасть, и остановилась на Кавальканти.

Этот Андреа оказался негодяем, вором, убийцей; и все же чувствовалось, что он недурно воспитан; он появился в свете как обладатель крупного состояния, покровительствуемый уважаемыми людьми.

Как разобраться в этой путанице? Кто поможет найти выход из этого ужасного положения?

Дебрэ, к которому она бросилась в первом порыве как женщина, ищущая поддержки у человека, которого она любит, мог только дать ей совет; нужно было обратиться к кому-то более могущественному.

Тогда баронесса вспомнила о Вильфоре.

Вильфор распорядился арестовать Кавальканти; Вильфор безжалостно внес смятение в ее семью, словно он был ей совсем чужой.

– Нет, – поправила она себя, – королевский прокурор не бессердечный человек – он представитель правосудия, раб своего долга; честный и стойкий друг, который, хотя и безжалостной, но уверенной рукой нанес скальпелем удар по гнойнику; он не палач, а хирург; он сделал все, чтобы честь Дангларов не пострадала от позора, которым покрыл себя этот погибший юноша, представленный ими обществу в качестве будущего зятя.

Раз Вильфор, друг семьи Данглар, действовал так, то нельзя было предположить, чтоб он мог что-либо знать заранее и потворствовать проискам Андреа.

Таким образом, поведение Вильфора начало представляться баронессе в новом свете, и она его истолковала в желательном для себя смысле.

Но на этом королевский прокурор должен остановиться; завтра она поедет к нему и добьется от него, если не нарушения служебного долга, то во всяком случае всей возможной снисходительности.

Баронесса воззовет к прошлому; она воскресит его воспоминания; она будет умолять во имя грешной, но счастливой поры их жизни; Вильфор замнет дело или хотя бы даст Кавальканти возможность бежать, – для этого ему достаточно обратить взор в другую сторону: карая преступление, он поразит только тень преступника заочным приговором.

Успокоившись на этом, она заснула.

На следующий день, в десять часов утра, она встала и, не вызывая горничной, никому не показываясь, оделась с той же простотой, что и накануне, вышла из дому, дошла до улицы Прованс, наняла фиакр и велела везти себя к дому Вильфора.

Уже целый месяц этот проклятый дом имел зловещий вид чумного барака; часть комнат была закрыта снаружи и изнутри, ставни открывались лишь на короткое время, чтобы впустить свежий воздух, и тогда в окне появлялась испуганная голова лакея; потом окно захлопывалось, как могильная плита, и соседи перешептывались!

– Неужели сегодня опять вынесут гроб из дома королевского прокурора?

Госпожа Данглар содрогнулась при виде этого мрачного дома; она вышла из фиакра; колени ее подгибались, когда она позвонила у запертых ворот.

Только после того как она в третий раз дернула колокольчик, чей зловещий звук словно вторил всеобщей печали, появился привратник и чуть-чуть приоткрыл калитку.

Он увидел женщину, светскую даму, элегантно одетую, и, несмотря на это, ворота оставались едва приотворенными.

– Да откройте же! – сказала баронесса.

– Раньше скажите, кто вы, сударыня? – спросил привратник.

– Кто я? Да вы меня отлично знаете.

– Мы теперь никого не знаем, сударыня.

– Да вы с ума сошли, любезный! – воскликнула баронесса.

– От кого вы?

– Нет, это уж слишком!

– Сударыня, простите, но так приказано; ваше имя?

– Баронесса Данглар. Вы меня сто раз видели.

– Возможно, сударыня; а теперь скажите, что вам угодно?

– Какая дерзость! Я пожалуюсь господину де Вильфор!

– Сударыня, это не дерзость, это осторожность: сюда входят только по записке господина д'Авриньи или после доклада господину королевскому прокурору.

– Так вот, у меня как раз дело к королевскому прокурору.

– Спешное дело?

– Очевидно, раз я все еще здесь. Но довольно: вот моя карточка, передайте ее вашему хозяину.

– Вы подождете, пока я вернусь?

– Да, идите.

Привратник закрыл ворота, оставив г-жу Данглар на улице.

Правда, баронесса ждала недолго; вскоре ворота открылись настолько, что она могла войти; как только она вошла, ворота за ней захлопнулись.

Войдя во двор, привратник, не спуская глаз с ворот, вынул из кармана свисток и свистнул.

На крыльце показался лакей Вильфора.

– Сударыня, извините этого честного малого, – сказал он, идя навстречу баронессе, – но так ему приказано, и господин де Вильфор поручил мне сказать вам, что он не мог поступить иначе.

Во дворе стоял впущенный с теми же предосторожностями поставщик, и один из слуг осматривал его товары.

Баронесса вошла на крыльцо; она чувствовала себя глубоко потрясенной этой скорбью, которая усугубляла ее собственную печаль, и в сопровождении лакея, ни на миг не терявшего ее из виду, вошла в кабинет королевского прокурора.

Как ни была озабочена г-жа Данглар тем, что привело ее сюда, но встреча, оказанная ей всей этой челядью, показалась ей до того возмутительной, что она начала с жалоб.

Но Вильфор медленно поднял голову и посмотрел на нее с такой грустной улыбкой, что жалобы замерли у нее на устах.

– Простите моим слугам страх, который я не могу поставить им в вину; заподозренные, они сами стали подозрительными.

Госпожа Данглар часто слышала в обществе разговоры о паническом страхе, царившем в доме Вильфора, но она никогда не поверила бы, что это чувство могло дойти до такой крайности, если бы не убедилась в этом воочию.

– Так вы тоже несчастны? – сказала она.

– Да, сударыня, – ответил королевский прокурор.

– И вам жаль меня?

– Искренно жаль, сударыня.

– Вы понимаете, почему я пришла?

– Вы пришли поговорить со мной о том, что случилось в вашем доме?

– Это ужасное несчастье, сударь.

– То есть неприятность.

– Неприятность! – воскликнула баронесса.

– Сударыня, – отвечал королевский прокурор с невозмутимым своим спокойствием, – я теперь называю несчастьем только то, что непоправимо.

– Неужели вы думаете, что это забудется?

– Все забывается, сударыня; ваша дочь выйдет замуж завтра, если не сегодня, через неделю, если не завтра. А что касается жениха мадемуазель Эжени, то я не думаю, чтобы вы о нем жалели.

Госпожа Данглар посмотрела на Вильфора, изумленная этим почти насмешливым спокойствием.

– К другу ли я пришла? – спросила она со скорбным достоинством.

– Вы же знаете, что да, – ответил Вильфор, и щеки его покрылись легким румянцем.

Ведь это заверение напоминало об иных событиях, чем те, которые волновали обоих в эту минуту.

– Тогда будьте сердечнее, дорогой Вильфор, – сказала баронесса, – обращайтесь со мной, как друг, а не как судья, я глубоко несчастна, не говорите мне, что я должна быть веселой.

Вильфор поклонился.

– За последние три месяца у меня создалась эгоистическая привычка, сударыня, – сказал он. – Когда я слышу о несчастьях, я вспоминаю свои собственные несчастья, это

сравнение приходит мне на ум даже помимо моей воли. Вот почему рядом с моими несчастьями ваши несчастья кажутся мне простыми неприятностями; вот почему рядом с моим трагическим положением ваше положение представляется мне завидным; но вас это сердит, оставим это. Итак, вы говорили, сударыня?..

– Я пришла узнать у вас, мой друг, – продолжала баронесса, – что ждет этого самозванца.

– Самозванца? – повторил Вильфор. – Я вижу, сударыня, вы, как нарочно, то преуменьшаете, то преувеличиваете. Андреа Кавальканти, или, вернее, Бенедетто – самозванец? Вы ошибаетесь, сударыня: Бенедетто самый настоящий убийца.

– Сударь, я не спорю против вашей поправки; но чем суровее вы покараете этого несчастного, тем тяжелее это отзовется на нашей семье. Забудьте о нем ненадолго, не преследуйте его, дайте ему бежать.

– Поздно, сударыня; я уже отдал приказ.

– В таком случае, если его арестуют... Вы думаете, его арестуют?

– Я надеюсь.

– Если его арестуют (а я слышу со всех сторон, что тюрьмы переполнены), оставьте его в тюрьме.

Королевский прокурор покачал головой.

– Хотя бы до тех пор, пока моя дочь не выйдет замуж! – добавила баронесса.

– Невозможно, сударыня; правосудие имеет свой порядок.

– Даже для меня? – сказала баронесса полушутя, полусерьезно.

– Для всех, – отвечал Вильфор, – и для меня, как для других.

– Да... – сказала баронесса, не поясняя словами той мысли, которая вызвала это восклицание.

Вильфор посмотрел на нее своим испытующим взглядом.

– Я знаю, что вы хотите сказать, – продолжал он, – вы намекаете на распространившиеся по городу ужасные слухи, что смерть, которая БОТ уже третий месяц облекает в траур мой дом, смерть, от которой чудом спаслась Валентина, – не случайная смерть.

– Я совсем об этом не думала, – поспешно сказала г-жа Данглар.

– Нет, вы об этом думали, сударыня, и это справедливо, потому что вы не могли не подумать об этом и не сказать себе: ты, карающий преступления, отвечай: почему вокруг тебя преступления совершаются безнаказанно?

Баронесса побледнела.

– Вы себе это говорили, не правда ли, сударыня?

– Да, сознаюсь.

– Я вам отвечу.

Вильфор пододвинул свое кресло к стулу г-жи Данглар; затем, опершись обеими руками о письменный стол, голосом, глуше обычного, заговорил:

– Есть преступления, которые остаются безнаказанными, потому что преступники неизвестны, и вместо виновного мог бы пострадать невинный; но как только эти преступники будут обнаружены (и Вильфор протянул руку к большому распятию, висевшему против его стола), как только они будут обнаружены, – повторил он, – богом живым клянусь, кто бы они ни были, они умрут! Теперь, после клятвы, которую я дал и которую я сдержу, осмейтесь просить у меня пощады этому негодяю!

– Но уверены ли вы, сударь, – возразила г-жа Данглар, – что он такой уж преступник, как это говорят?

– Вот его дело: Бенедетто приговорен к пяти годам каторги за подлог в шестнадцать лет, – как видите, молодой человек подавал надежды, – потом побег, потом убийство.

– Да кто он... этот несчастный?

– Кто знает! Бродяга, корсиканец.

– Никто его не признал?

– Никто; его родители неизвестны.

– А этот человек, который приезжал из Лукки?

– Такой же мошенник, как и он; его сообщник, быть может.

Баронесса умоляюще сложила руки.

– Вильфор! – сказала она своим самым нежным и вкрадчивым голосом.

– Ради бога, сударыня, – отвечал королевский прокурор с твердостью, даже несколько сухо, – никогда не просите у меня пощады виновному!

Кто я? Закон. Разве у закона есть глаза, чтобы видеть вашу печаль? Разве у закона есть уши, чтобы слышать ваш нежный голос? Разве у закона есть память, чтобы отозваться на ваши кроткие мысли? Нет, сударыня, закон повелевает. И когда закон повелел, он разит.

Вы мне скажете, что я живое существо, а не кодекс; человек, а не книга. Посмотрите на меня, сударыня, посмотрите вокруг меня; разве люди видели во мне брата? Они меня любили? Щадили меня? Просил ли кто-нибудь пощады Вильфору и даровал ли ему кто-нибудь пощаду? Нет, еще раз нет! Гонимый, вечно гонимый!

А вы, женщина, сирена, смотрите на меня своим чарующим взором, который напоминает мне то, из-за чего я должен краснеть. Да, краснеть за то, о чем вы знаете, и, быть может, не только за это.

Но с тех пор как сам я пал, ниже, чем другие, быть может, – с тех пор я срываю с людей одежды, чтобы найти гнойник, и нахожу его всегда; скажу больше: я нахожу его с радостью, с восторгом, этот знак человеческой слабости или человеческой злобы!

Ибо каждый человек и каждый преступник, которого я караю, кажется мне живым доказательством, лишним доказательством того, что я не гнусное исключение! Увы! Все люди злы, сударыня; докажем это и поразим злодея.

Вильфор произнес последние слова с иступленной яростью, почти свирепо.

– Но вы говорите, – возразила г-жа Данглар, делая последнюю попытку, – что этот молодой человек – бродяга, сирота, всеми брошенный?

– Тем хуже; вернее, тем лучше. Провидение сделало его таким, чтобы некому было оплакивать его.

– Вы нападаете на слабого, сударь!

– Убийца – слабый?

– Его позор запятнает мой дом.

– А разве мой дом не отмечен смертью?

– Вы безжалостны к другим, – воскликнула баронесса. – Так запомните мои слова: к вам тоже будут безжалостны.

– Пусть так! – сказал Вильфор, угрожающим жестом простирая руки к небу.

– Хотя бы отложите дело этого несчастного, если его арестуют, до следующей сессии; пройдет полгода, и все забудется.

– Нет, – сказал Вильфор, – у меня еще пять дней впереди; следствие закончено; пяти дней для меня больше чем достаточно; и разве вы не понимаете, сударыня, что и мне тоже надо забыться? Когда я работаю, а я работаю день и ночь, бывают минуты, что я ничего не помню, а когда я ничего не помню, я счастлив, как счастливы мертвецы; но все же это лучше, чем страдание.

– Но ведь он скрылся; дайте ему убежать; бездействие – самый легкий способ проявить милосердие.

– Ведь я вам сказал, что уже поздно; телеграф уже на рассвете передал приказ, и теперь...

– Сударь, – сказал входя камердинер, – депеша из министерства внутренних дел.

Вильфор схватил конверт и торопливо его вскрыл.

Госпожа Данглар содрогнулась от ужаса, Вильфор затрепетал от радости.

– Арестован! – воскликнул Вильфор. – Его задержали в Компьене; все кончено.

Госпожа Данглар встала; лицо ее было бледно.

– Прощайте, сударь, – холодно сказала она.

– Прощайте, сударыня, – отвечал королевский прокурор, почти радостно провожая ее до дверей.

Потом он вернулся к письменному столу.

– Так! – сказал он, ударяя рукой по депеше. – У меня есть подлог, три кражи, два поджога, мне не хватало только убийства, вот и оно; сессия будет отличная.

III. Видение

Как говорил королевский прокурор г-же Данглар, Валентина все еще была больна.

Обессиленная, она не вставала с постели; о бегстве Эжени, об аресте Андреа Кавальканти, вернее – Бенедетто, и о предъявленном ему обвинении в убийстве она узнала у себя в комнате, из уст г-жи де Вильфор.

Но Валентина была так слаба, что рассказ этот не произвел на нее того впечатления, которое, вероятно, произвел бы, будь она здорова.

К странным мыслям и мимолетным призракам, рождавшимся в ее больном мозгу или проносившимся перед ее глазами, только прибавилось еще несколько неясных мыслей, несколько смутных образов, да и те вскоре изгладились, вытесненные собственными ощущениями.

Днем Валентину еще связывало с действительностью присутствие Нуартье, который требовал, чтобы его кресло переносили в комнату внучки, и там проводил весь день, не спуская с больной отеческого взора; Вильфор, вернувшись из суда, проводил час или два с отцом и дочерью.

В шесть часов Вильфор удалялся к себе в кабинет; в восемь часов приходил д'Авриньи, приносил сам микстуру, приготовленную для Валентины на ночь, затем уносили Нуартье.

Сиделка, приглашенная доктором, заменяла всех и уходила лишь в десять или одиннадцать часов, когда Валентина засыпала.

Уходя, она отдавала ключ от комнаты Валентины самому Вильфору, так что в комнату больной можно было пройти только из спальни г-жи де Вильфор, через комнату маленького Эдуарда.

Каждое утро Моррель приходил к Нуартье справиться о здоровье Валентины; как ни странно, с каждым днем он казался все спокойнее.

Прежде всего Валентина, хотя она все еще была в сильном нервном возбуждении, чувствовала себя с каждым днем лучше; а потом, разве Монте-Кристо не сказал ему, когда он прибежал к нему сам не свой, что если через два часа Валентина не умрет, то она спасена?

И вот, Валентина жива, и уже прошло четыре дня.

Нервное возбуждение, о котором мы говорили, не покидало Валентину даже во сне, или, вернее, в той дремоте, которая вечером овладевала ею; тогда, в ночной тишине, при тусклом свете ночника, который теплился на камине, под алебастровым колпачком, перед нею проходили тени, населяющие комнаты больных и колеблемые порывистыми взмахами незримых крыльев лихорадки.

Тогда ей чудились то мачеха с грозно сверкающим взором, то Моррель, простирающий к ней руки, то люди, почти чужие ей, как граф Монте-Кристо; даже мебель казалось ей в бреду, оживала и двигалась по комнате; и так продолжалось часов до трех ночи, когда ею овладевал свинцовый сон, не покидавший ее уже до утра.

Вечером того дня, когда Валентина узнала о бегстве Эжени и об аресте Бенедетто, после ухода Вильфора, д'Авриньи и Нуартье, как только на церкви св. Филиппа Рульского пробило одиннадцать, сиделка поставила возле больной приготовленное питье и, затворив дверь, направилась в буфетную, где, содрогаясь, слушала рассказы о мрачных событиях, третий месяц волновавших умы прислуги королевского прокурора. И в это самое время в тщательно запертой комнате Валентины разыгралась неожиданная сцена.

После ухода сиделки прошло около десяти минут.

Валентина уже час лежала в лихорадке, возвращавшейся к ней каждую ночь, и в ее мозгу, независимо от ее воли, продолжалась упорная, однообразная и неумолимая работа, беспрестанно и бесплодно воспроизводя все те же мысли и порождая все те же образы.

И вдруг в таинственном, неверном свете ночника Валентине почудилось, что книжный шкаф, стоявший в углублении стены у камина, медленно и бесшумно открылся.

В другое время Валентина схватила бы за звонок и позвала бы на помощь, но она была в полузабытьи, и ничто ее не удивляло.

Она Понимала, что видения, окружавшие ее, – порождение ее бреда: ведь утром от всех этих ночных призраков, исчезавших с первыми лучами солнца, не оставалось и следа.

Из шкафа вышел человек.

Валентина так привыкла к лихорадочным видениям, что не испугалась; она только широко раскрыла глаза, надеясь увидеть Морреля.

Видение приблизилось к кровати, затем остановилось, – словно прислушиваясь.

В этот миг луч ночника скользнул по лицу ночного посетителя.

– Нет, не он, – прошептала она.

И, уверенная в том, что это сон, она стала ждать, чтобы этот человек, как бывает во сне, исчез или принял другой облик.

Она пощупала себе пульс и, слыша его частые удары, вспомнила, что эти назойливые видения исчезают, если выпить немного микстуры; освежающий напиток, приготовленный доктором, которому Валентина жаловалась на лихорадку, понижал жар и прояснял сознание; всякий раз, когда она его пила, ей на некоторое время становилось легче.

Валентина протянула дрожащую от слабости руку, чтобы взять стакан с хрустального блюда; но видение быстро шагнуло к кровати и остановилось так близко от Валентины, что она услышала его дыхание и даже почувствовала прикосновение его руки.

Никогда еще призраки, посещавшие Валентину, не были столь похожи на действительность; она начала понимать, что все это наяву, что рассудок ее не помрачен, и содрогнулась.

Прикосновение, которое она почувствовала, остановило ее протянутую руку.

Валентина медленно отняла ее.

Тогда видение, от которого она не могла отвести глаз и которое, впрочем, внушало ей скорее доверие, чем страх, взяло стакан, подошло к ночнику и посмотрело на питье, словно определяя его прозрачность и чистоту.

Но этого беглого исследования, по-видимому, оказалось недостаточно.

Этот человек, или, вернее, призрак, ибо он ступал так легко, что ковер совершенно заглушал его шаги, зачерпнул ложкой немного напитка и проглотил.

Валентина смотрела на происходящее с глубочайшим изумлением.

Она все еще надеялась, что видение сейчас исчезнет и уступит место другому; но таинственный гость, вместо того чтобы рассеяться, как тень, подошел к ней и, подавая ей стакан, сказал взволнованным голосом:

– Теперь можете пить!..

Валентина вздрогнула.

В первый раз призрак говорил с ней, как живой человек.

Она хотела крикнуть.

Человек приложил палец к губам.

– Граф Монте-Кристо! – прошептала она.

По испугу, отразившемуся в глазах девушки, по дрожи ее рук, по тому, как она поспешно натянула на себя одеяло, видно было, что последние сомнения готовы отступить перед очевидностью; вместе с тем присутствие Монте-Кристо у нее в комнате, в такой час, его таинственное, фантастическое, необъяснимое появление через стену казалось невозможным ее потрясенному рассудку.

– Не пугайтесь, не зовите, – сказал граф, – пусть в сердце вашем не остается ни тени подозрения, ни искры беспокойства: человек, которого вы видите перед собой (вы правы, Валентина, на сей раз это не призрак), – самый нежный отец и самый почтительный друг, о каком вы могли бы мечтать.

Валентина не отвечала на этот голос, подтверждавший, что перед ней не призрак, а живой человек, внушал ей такой страх, что она боялась присоединить к нему свой голос; но ее испуганный взгляд говорил: если ваши намерения чисты, зачем вы здесь?

Со своей необычайной проницательностью Монте-Кристо мгновенно понял все, что происходило в сердце девушки.

– Послушайте меня, – сказал он, – вернее, посмотрите на меня, на мои воспаленные глаза, на мое лицо, еще более бледное, чем всегда: четыре ночи я ни на миг не сомкнул глаз, четыре ночи я вас сторожу, оберегаю, охраняю для нашего Максимилиана.

Радостный румянец залил щеки больной; имя, произнесенное графом, уничтожало последнюю тень недоверия.

– Максимилиан!.. – повторила Валентина, так сладостно ей было произносить это имя.

– Максимилиан! Так он вам во всем признался?

– Во всем. Он сказал мне, что ваша жизнь – его жизнь, и я обещал ему, что вы будете жить.

– Вы ему обещали, что я буду жить?

– Да.

– Вы говорили, что охраняете, оберегаете меня. Разве вы доктор?

– Да, и поверьте, лучшего вам не могло бы послать небо.

– Вы говорите, что не спали ночей, – сказала Валентина. – Где же вы были? Я вас не видела.

Граф указал рукой на книжный шкаф.

– За этой дверью, – сказал он, – она выходит в соседний дом, который я нанял.

Валентина отвернулась, вся вспыхнув от стыда и негодования.

– Сударь, – сказала она с неподдельным ужасом, – ваш поступок – беспримерное безумие, и ваше покровительство весьма похоже на оскорбление.

– Валентина, – сказал он, – в эти долгие бессонные ночи единственное, что я видел, это – кто к вам входит, какую пищу вам готовят, какое питье вам подают; и когда питье казалось мне опасным, я входил, как вошел сейчас, опорожнял ваш стакан и заменял яд благотворным напитком, который вместо смерти, вам уготованной, вливал в вас жизнь.

– Яд! Смерть! – воскликнула Валентина, думая, что она опять во власти лихорадочного бреда. – О чем вы говорите, сударь?

– Тише, дитя мое, – сказал Монте-Кристо, снова приложив палец к губам, – да, я сказал: яд; да, я сказал: смерть; и я повторяю: смерть. Но выпейте это. (Граф вынул из кармана флакон с красной жидкостью и налил несколько капель в стакан). Выпейте это и потом ничего уже больше не пейте всю ночь.

Валентина протянула руку; но, едва коснувшись стакана, испуганно отдернула ее.

Монте-Кристо взял стакан и, отпив половину, подал его Валентине, которая, улыбнувшись, проглотила остальное.

– Я узнаю вкус моего ночного напитка, – сказала она. – Он всегда освежает мне грудь и успокаивает ум. Благодарю вас, сударь.

– Вот как вы прожили четыре ночи, Валентина, – сказал граф. – А как жил я? Какие жестокие часы я здесь провел! Какие ужасные муки я испытывал, когда видел, как наливают в ваш стакан смертоносный яд! Как я дрожал, что вы его выпьете прежде, чем я успею выплеснуть его в камин!

– Вы говорите, сударь, – продолжала Валентина в невыразимом ужасе, – что вы пережили тысячу мук, видя, как наливают в мой стакан смертоносный яд? Но тогда, значит, вы видели и того, кто его наливал?

– Да.

Валентина приподнялась на постели; и, прикрывая грудь, бледнее снега, вышитой сорочкой, еще влажной от холодного пота лихорадки, спросила:

– Вы видели?

– Да, – повторил граф.

– Это ужасно, сударь; вы хотите заставить меня поверить в какие-то адские измышления. Как, в доме моего отца, в моей комнате, на ложе страданий, меня продолжают убивать? Уйдите, сударь, вы смущаете мою совесть, вы клевете на божественное милосердие, это немислимо, этого быть не может!

– Разве вы первая, кого разит эта рука, Валентина? Разве вы не видели, как погибли маркиз де Сен-Меран, маркиза де Сен-Меран, Барруа? Разве не погиб бы и господин Нуартье, если бы то лекарство, которым его пользуют уже три года, не предохраняло его, побеждая яд привычкой к яду?

– Боже мой, – сказала Валентина, – так вот почему дедушка последнее время требует, чтобы я пила все то, что он пьет?

– И у этих напитков горький вкус, как у сушеной апельсиновой корки?

– Да, да!

– Теперь мне все понятно – сказал Монте-Кристо. – Он знает, что здесь отравляют, и может быть, даже знает, кто. Он начал вас приучать – вас, свое любимое дитя, – к убийственному снадобью, и действие этого снадобья было ослаблено. Вот почему вы еще живы, – чего я никак не мог себе объяснить, – после того как четыре дня тому назад вас отравили ядом, который обычно беспощаден.

– Но кто же убийца, кто отравитель?

– Теперь я вас спрошу: видели вы, чтобы кто-нибудь входил ночью в вашу комнату?

– Да. Часто мне казалось, что я вижу какие-то тени; вижу, как тени подходят, удаляются, исчезают; но я их принимала за видения, и сегодня, когда вы вошли, мне долго казалось, что я брежу или вижу сон.

– Так вы не знаете, кто посягает на вашу жизнь?

– Нет, – сказала Валентина, – кто может желать моей смерти?
– Сейчас узнаете, – сказал Монте-Кристо, прислушиваясь.
– Каким образом? – спросила Валентина, со страхом озираясь по сторонам.
– Потому что сейчас у вас нет лихорадки, нет бреда, потому что сознание ваше прояснилось, потому что бьет полночь, а это час убийц.

– Господи! – сказала Валентина, проводя рукой по влажному лбу.

Медленно и уныло пробило полночь, и каждый удар молотом падал на сердце девушки.

– Валентина, – продолжал граф, – соберите все свои силы, подавите в груди биение сердца, сдержите крик в груди, притворитесь спящей, и вы увидите.

Валентина схватила графа за руку.

– Я слышу шум, – сказала она, – уходите!

– Прощайте, или, вернее, до свидания, – отвечал граф.

И с грустной, отеческой улыбкой, от которой сердце девушки преисполнилось благодарности, граф неслышными шагами направился к нише, где стоял шкаф.

Но прежде чем закрыть за собой дверцу, он обернулся к Валентине.

– Ни движения, ни слова, – сказал он, – пусть думают, что вы спите, иначе вас могут убить раньше, чем я подспею.

И, произнеся это страшное наставление, граф исчез за дверью, бесшумно закрывшейся за ним.

IV. Локуста

Валентина осталась одна, двое других часов, отстававших от часов Филиппа Рульского, тоже друг за другом пробили полночь. Потом все затихло, и только изредка доносился далекий стук колес.

Все внимание Валентины сосредоточилось на часах в ее комнате, маятник которых отбивал секунды.

Она принялась считать секунды и заметила, что ее сердце бьется вдвое скорее.

Но она все еще сомневалась, кроткая Валентина не могла поверить, что кто-то желает ее смерти. За что? С какой целью? Что она сделала дурного, чтобы нажить себе врагов?

Она не могла и думать о сне.

Единственная страшная мысль терзала ее: на свете есть человек, который пытался ее убить и опять попытается это сделать.

Что, если на этот раз, видя, что яд бессилен, убийца, как сказал Монте-Кристо, прибегнет к стали? Что, если граф не успеет помешать ему? Что, если это ее последние минуты, и она больше не увидит Морреля?

При этой мысли Валентина похолодела от ужаса и была готова позвонить и позвать на помощь.

Но ей казалось, что сквозь дверь книжного шкафа она видит глаза Монте-Кристо; она не могла не думать об этих глазах и не знала, поможет ли ей когда-нибудь чувство благодарности забыть о тягостном стыде, вызванном нескромной заботливостью графа.

Так прошло двадцать минут, двадцать вечностей; потом еще десять минут; наконец, часы зашипели и громко ударили один раз.

В этот миг еле слышное поскрипывание ногтем о дверцу шкафа дало знать Валентине, что граф бодрствует и советует ей бодрствовать тоже.

И сейчас же с противоположной стороны, где была комната Эдуарда, скрипнул паркет; Валентина насторожилась и замерла, затаив дыхание, щелкнула ручка, и дверь отворилась. Валентина едва успела откинуться на подушку и прикрыть локтем лицо.

Она вся дрожала, сердце ее сжималось от невыразимого ужаса. Она ждала.

Кто-то подошел к кровати и коснулся полога.

Валентина собрала все свое мужество и начала дышать ровно, как спящая.

– Валентина! – тихо позвал чей-то голос.

Девушка вся затрепетала, но не ответила.

– Валентина! – повторил голос.

Молчание. Валентина обещала графу не просыпаться.

И Валентина услышала почти неуловимый звук жидкости, льющейся в стакан, из которого она недавно пила.

Тогда она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть изпод руки.

Женщина в белом пеньюаре наливала в ее стакан какую-то жидкость из флакона.

В это короткое мгновение Валентина, вероятно, задержала дыхание или шевельнулась; женщина испуганно остановилась и нагнулась к постели, проверяя, спит ли она. Это была г-жа де Вильфор.

Валентина, узнав мачеху, так сильно задрожала, что дрожь передалась кровати.

Госпожа де Вильфор прижалась к стене и, спрятавшись за полог, молча, внимательно следила за малейшим движением Валентины.

Девушка вспомнила предостережение Монте-Кристо; ей показалось, что в руке мачехи блеснуло лезвие длинного, острого ножа.

Тогда Валентина огромным усилием воли заставила себя закрыть глаза; и это движение, такое несмелое и обычно столь нетрудное, оказалось почти непосильным; любопытство, жажда узнать правду не давали векам сомкнуться.

Между тем г-жа де Вильфор, успокоенная тишиной, в которой опять слышалось ровное дыхание Валентины, решила, что девушка спит. Она снова протянула руку и, полускрытая пологом, сдвинутым к изголовью кровати, вылила в стакан Валентины остаток жидкости из флакона.

Затем она удалилась так тихо, что Валентина не слышала ее движений.

Она только видела, как исчезла рука, изящная округлая рука красивой двадцатипятилетней женщины, льющая смерть.

Невозможно выразить, что пережила Валентина за те полторы минуты, которые провела в ее комнате г-жа де Вильфор.

Слабое царапанье по шкафу вывело девушку из оцепенения.

Она с усилием приподняла голову.

Дверца бесшумно отворилась, и снова появился граф Монте-Кристо.

– Что же, – спросил он, – вы еще сомневаетесь?

– Боже мой! – прошептала Валентина.

– Вы видели?

– Да!

– Вы узнали?

Валентина застонала.

– Да, – сказала она, – но я не могу поверить.

– Вы предпочитаете умереть и тем убить Максимилиана!..

– Боже мой, боже мой! – повторяла Валентина; ей казалось, что она сходит с ума. – Но разве я не могу уйти из дому, убежать?..

– Валентина, рука, которая вас преследует, настигнет вас повсюду; золото купит ваших слуг, и смерть будет ждать вас во всех обличиях: в глотке воды из ручья, в плоде, сорванном с дерева.

– Но ведь вы сами сказали, что дедушка приучил меня к яду.

– Да, к одному яду, и притом в малой дозе; но яд переменяет или усилят дозу.

Он взял стакан и омочил губы.

– Так и есть! – сказал он. – Вас хотят отравить уже не бруцином, а простым наркотиком. Я узнаю вкус спирта, в котором его растворили. Если бы вы выпили то, что госпожа де Вильфор налила сейчас в этот стакан, Валентина, вы бы погибли!

– Господи! – воскликнула девушка. – Но за что она меня преследует?

– Неужели вы так чисты сердцем, так далеки от всякого зла, что еще не поняли?

– Нет, – сказала Валентина, – я ей ничего не сделала.

– Да ведь вы богаты, Валентина, у вас двести тысяч ливров годового дохода, и эти двести тысяч вы отнимаете у ее сына.

– Но как же это? Ведь это не ее деньги, они достались мне от моих родных.

– Разумеется. Вот почему и умерли маркиз и маркиза де Сен-Меран: нужно было, чтобы вы получили после них наследство; вот почему, в тот день, когда господин Нуартье сделал вас своей наследницей, он был приговорен; вот почему и вы в свою очередь должны умереть, Валентина; тогда ваш отец наследует после вас, а ваш брат, став единственным сыном, наследует после отца.

– Эдуард, бедный мальчик! И все эти преступления совершаются из-за него!

– Наконец вы поняли!

– Боже, только бы все это не пало на него!

– Вы ангел, Валентина.
– А дедушку, значит, пощадили?
– Решили, что после вашей смерти его имущество все равно перейдет к вашему брату, если только дед не лишит его наследства, и что в конце концов преступление это было бы бесполезно, а потому особенно опасно.

– И в уме женщины мог зародиться такой план! Боже, боже мой!

– вспомните Перуджу, виноградную беседку в Почтовой гостинице и человека в коричневом плаще, которого ваша мачеха расспрашивала об аква-тофана. Уже тогда этот адский замысел зрел в ее мозгу.

– Ах, граф, – воскликнула девушка, заливаясь слезами, – если так, я обречена!

– Нет, Валентина, нет. Я все предвидел, и ваш враг побежден, ибо он разгадан; нет, вы будете жить. Валентина, жить – чтобы любить и быть любимой; чтобы стать счастливой и дать счастье благородному сердцу, но для этого вы должны всецело довериться мне.

– Приказывайте, граф, что мне делать?

– Принять то, что я вам дам.

– Видит бог, – воскликнула Валентина, – будь я одинока, я предпочла бы умереть.

– Вы не скажете никому ни слова, даже вашему отцу.

– Но мой отец непричастен к этому злодеянию, правда, граф? – сказала Валентина, умоляюще сложив руки.

– Нет; но ваш отец, человек, искушенный в изобличении преступников, должен был предполагать, что все эти смерти у вас в доме неестественны. Ваш отец сам должен бы вас охранять, он должен был быть в этот час на моем месте; он сам должен был выплеснуть эту жидкость; сам должен был уже подняться против убийцы. Призрак против призрака, – прошептал он, заканчивая свою мысль.

– Я сделаю все, чтобы жить, граф, – сказала Валентина, – потому что есть два человека на свете, которые так меня любят, что умрут, если я умру: дедушка и Максимилиан.

– Я буду их охранять, как охранял вас.

– Скажите, что я должна делать, – спросила Валентина. – Господи, что со мной будет? – шепотом прибавила она.

– Что бы с вами ни произошло, Валентина, не пугайтесь; если вы будете страдать, если вы потеряете зрение, слух, осязание, не страшитесь ничего; если вы очнетесь и не будете знать, где вы, не бойтесь, хотя бы вы проснулись в могильном склепе, в гробу; соберитесь с мыслями и скажите себе: в эту минуту меня охраняет друг, отец, человек, который хочет счастья мне и Максимилиану.

– Боже, неужели так нужно?

– Может быть, вы предпочитаете выдать вашу мачеху?

– Нет, нет, лучше умереть!

– Вы не умрете, Валентина. Что бы с вами ни произошло, обещайте мне не роптать и надеяться!

– Я буду думать о Максимилиане.

– Я люблю вас, как родную дочь, Валентина; я один могу вас спасти, и я вас спасу.

Валентина молитвенно сложила руки, – она чувствовала, что только бог может поддержать ее в этот страшный час. Она шептала бессвязные слова, забыв о том, что ее плечи прикрыты только длинными волосами и что сквозь тонкое кружево пеньюара видно, как бьется ее сердце.

Граф осторожно дотронулся до ее руки, натянул ей на плечи бархатное одеяло и сказал с отеческой улыбкой:

– Дитя мое, верьте моей преданности, как вы верите в милость божью и в любовь Максимилиана.

Валентина взглянула на него благодарно и кротко, словно послушный ребенок.

Тогда граф вынул из жилетного кармана изумрудную бонбоньерку, открыл золотую крышечку и положил на ладонь Валентины пилюлю величиною с горошину.

Валентина взяла ее и внимательно посмотрела на графа, на лице ее неустрашимого защитника сиял отблеск божественного могущества и величия. Взгляд Валентины вопрошал.

– Да, – сказал Монте-Кристо.

Валентина поднесла пилюлю к губам и проглотила ее.

– До свидания, дитя мое, – сказал он – Теперь я попытаюсь уснуть, ибо вы спасены.

– Идите, – сказала Валентина, – я вам обещаю не бояться, что бы со мной ни случилось.

Монте-Кристо долго смотрел на девушку, которая понемногу засыпала, побежденная действием наркотика.

Затем он взял стакан, отлил три четверти в камин, чтобы можно было подумать, что Валентина пила из него, поставил его опять на ночной столик, потом подошел к книжному шкафу и исчез, бросив последний взгляд на Валентину; она засыпала безмятежно, как ангел, покоящийся у ног создателя.

V. Валентина

Ночник продолжал гореть на камине, поглощая последние капли масла, еще плававшие на поверхности воды, уже краснеющий круг окрашивал алебастровый колпачок, уже потрескивающий огонек вспыхивал последними искрами, ибо и у неживых предметов бывают предсмертные судороги, которые можно сравнить с человеческой агонией, тусклый, злоеющий свет бросал опаловые отблески на белый полог постели Валентины.

Уличный шум затих и воцарилось жуткое безмолвие.

И вот дверь из комнаты Эдуарда отворилась, и лицо, которое мы уже видели, отразилось в зеркале, висевшем напротив, то была г-жа де Вильфор, пришедшая посмотреть на действие напитка.

Она остановилась на пороге, прислушалась к треску ночника, единственному звуку в этой комнате, которая казалась необитаемой, и затем тихо подошла к ночному столу, чтобы взглянуть, пуст ли стакан.

Он был еще на четверть полон, как мы уже сказали.

Госпожа де Вильфор взяла его, вылила остатки в камин и помешала золу, чтобы жидкость лучше впиталась; затем старательно выполоскала стакан, вытерла своим платком и поставила на прежнее место.

Она долго не решалась подойти к кровати и посмотреть на Валентину.

Этот мрачный свет, безмолвие, темные чары ночи, должно быть, нашли отклик в кромешных глубинах ее души: отравительница страшилась своего деяния.

Наконец она собралась с духом, откинула полог, склонилась над изголовьем и посмотрела на Валентину.

Девушка не дышала; легчайшая пушинка не заколебалась бы на ее полуоткрытых, неподвижных губах, ее веки подернулись лиловой тенью и слегка припухли, и ее длинные темные ресницы осеняли уже пожелтевшую, как воск, кожу.

Госпожа де Вильфор долго смотрела на это красноречивое в своей неподвижности лицо; наконец отважилась и, приподняв одеяло, приложила руку к сердцу девушки.

Оно не билось.

Трепет, который она ощутила в пальцах, был биением ее собственного пульса; она вздрогнула и отняла руку.

Рука Валентины свесилась с кровати; рука эта, от плеча до запястья, казалась изваянной Жерменом Пилоном; но кисть была слегка искажена судорогой, и тонкие пальцы, оцепенев, застыли на красном дереве кровати.

Лунки ногтей посинели.

У госпожи де Вильфор не оставалось сомнений: все было кончено; страшное дело, последнее из задуманных ею, наконец свершилось.

Отравительнице нечего было больше делать в этой комнате; она, не выпуская полога из рук, осторожно попятилась, видимо, страшась шума собственных шагов по ковру; она была заморожена зрелищем смерти, которое таит в себе неодолимое обаяние, пока смерть еще не разложение, а только неподвижность, пока она еще таинство, а не тлен.

Минуты проходили, а г-жа де Вильфор все не могла выпустить полог, который она простерла, как саван, над головой Валентины. Она платила дань раздумью, а раздумье преступника – муки совести.

Ночник затрещал громче.

Госпожа де Вильфор вздрогнула и выпустила полог.

В ту же секунду ночник погас, и комната погрузилась в непроглядный мрак.

И в этом мраке вдруг ожили часы и пробили половину пятого.

Преступница, затрепетав, ощупью добралась до двери и вернулась к себе с каплями холодного пота на лбу.

Еще два часа комната оставалась погруженной во тьму.

Затем понемногу ее залил бледный свет, проникая сквозь ставни; он стал ярче и вернул предметам, краски и очертания.

Вскоре на лестнице раздалось покашливание, и в комнату Валентины вошла сиделка с чашкой в руках.

Отцу, возлюбленному первый взгляд сказал бы: Валентина умерла; но для этой наемницы Валентина только спала.

– Так, – сказала она, подходя к ночному столику, – она выпила часть микстуры, стакан на две трети пуст.

Затем она подошла к камину, развела огонь, села в кресло и, хотя она только что встала с постели, воспользовалась сном Валентины, чтобы еще немного подремать.

Она проснулась, когда часы били восемь.

Тогда, удивленная непробудным сном больной, испуганная свесившейся рукой, которой спящая так и не шевельнула, сиделка подошла к кровати и только тогда заметила похолодевшие губы и остывшую грудь.

Она хотела поднять руку Валентины, но заочневшая рука была так неподатлива, что сиделка поняла все.

Она в ужасе вскрикнула и бросилась к двери.

– Помогите! – закричала она. – Помогите!

– Что случилось? – ответил снизу голос д'Авриньи. Это был час его ежедневного визита.

– Что случилось? – послышался голос Вильфора, быстро выходящего из кабинета. – Доктор, вы слышите, зовут на помощь?

– Да, да, – отвечал д'Авриньи, – идем, идем скорее к Валентине.

Но прежде чем подоспели отец и доктор, слуги, находившиеся в комнатах и коридорах того же этажа, уже вошли и, увидав Валентину, бледную и неподвижную на кровати, в отчаянии ломали руки.

– Позовите госпожу де Вильфор, разбудите госпожу де Вильфор, – кричал королевский прокурор, стоя на пороге, которого он, казалось, не смел переступить.

Но слуги, не отвечая, смотрели на д'Авриньи, который вошел в комнату, бросился к Валентине и приподнял ее.

– И эта! – прошептал он, опуская ее – О господи, когда же конец!

Вильфор вбежал в комнату.

– Боже мой, что вы сказали, – отчаянно крикнул он. – Доктор! Доктор!..

– Я сказал, что Валентина умерла, – торжественно и сурово ответил д'Авриньи.

Вильфор рухнул на колени, как подкошенный, уронив голову на постель Валентины.

При словах доктора, при возгласе отца охваченные паникой слуги выбежали вон с глухими проклятиями; на лестницах и в коридорах были слышны их торопливые шаги, затем громкий шум во дворе; потом все стихло; все, от первого до последнего, бежали из проклятого дома.

Тогда г-жа де Вильфор в накинутом на плечи пеньюаре приподняла портьеру; она остановилась на пороге, притворяясь удивленной и стараясь выдавить несколько непокорных слезинок.

Вдруг она побледнела и, вытянув руки, подскочила к ночному столику.

Она увидела, что д'Авриньи нагнулся и внимательно рассматривает стакан, который она своими руками опорожнила в эту ночь.

В стакане было ровно столько жидкости, сколько она выплеснула в золу камина.

Если бы дух Валентины встал перед ней, отравительница была бы не так потрясена.

Этот цвет – цвет напитка, который она налила Валентине в стакан и который Валентина выпила, этот яд не может обмануть глаза д'Авриньи, и д'Авриньи внимательно его рассматривает, это – чудо, которое сотворил бог, дабы, вопреки всем уловкам убийцы, остался след, доказательство, улика преступления.

Пока г-жа де Вильфор стояла неподвижно, как воплощение страха, а Вильфор, припав лицом к постели умершей, не видел ничего вокруг, д'Авриньи подошел к окну. Еще раз тщательно рассмотрев содержимое стакана, он обмакнул в жидкость кончик пальца.

– Это уже не бруцин, – прошептал он, – посмотрим, что это такое!

Он подошел к одному из шкафов превращенному в аптечку, и, вынув из серебряного футляра склянку с азотной кислотой, налил несколько капель в опаловую жидкость, тотчас же окрасившуюся в кроваво-красный цвет.

– Так! – сказал д'Авриньи, с отвращением судьи, перед которым открывается истина, и с радостью ученого, разрешившего сложную задачу.

Госпожа де Вильфор оглянулась по сторонам; глаза ее вспыхнули, потом погасли, она, шатаясь, нащупала рукою дверь и скрылась.

Через минуту послышался шум падающего тела.

Но никто не обратил на это внимания. Сиделка следила за действиями доктора, Вильфор пребывал все в том же забытьи.

Один д'Авриньи проводил глазами г-жу де Вильфор и заметил ее поспешный уход.

Он приподнял портьеру, и через комнату Эдуарда его взгляд проник в спальню, г-жа де Вильфор без движения лежала на полу.

– Ступайте туда, – сказал он сиделке, – госпоже де Вильфор дурно.

– Но мадемуазель Валентина? – проговорила она с запинкой.

– Мадемуазель Валентина не нуждается больше в помощи, – сказал д'Авриньи, – она умерла.

– Умерла? Умерла? – стонал Вильфор в пароксизме душевной муки, тем более раздирающей, что она была неизведанной, новой, неслыханной для этого стального сердца.

– Что я слышу! Умерла! – воскликнул третий голос – Кто сказал, что Валентина умерла?

Вильфор и доктор обернулись. В дверях стоял Моррель, бледный, потрясенный, страшный. Вот что произошло.

В обычный час, через маленькую дверь, ведущую к Нуартье, явился Моррель.

Против обыкновения, дверь не была заперта; ему не пришлось звонить, и он вошел.

Он постоял в прихожей, зовя прислугу, чтобы кто-нибудь проводил его к Нуартье.

Но никто не откликнулся; слуги, как известно, покинули дом.

Моррель не имел особых поводов к беспокойству: Монте-Кристо обещал ему, что Валентина будет жить, и до сих пор это обещание не было нарушено. Каждый вечер граф приносил ему хорошие вести, подтверждаемые на следующий день самим Нуартье.

Все же это безлюдье показалось ему странным; он позвал еще раз, в третий раз; та же тишина.

Тогда он решил подняться.

Дверь Нуартье была открыта, как и остальные двери.

Первое, что бросилось ему в глаза, был старик, сидевший в кресле, на своем обычном месте; он был очень бледен, и в его расширенных глазах застыл испуг.

– Как вы поживаете, сударь? – спросил Моррель, не без замиранья сердца.

– Хорошо, – показал старик, – хорошо.

Но его лицо выражало все большую тревогу.

– Вы чем-то озабочены, – продолжал Моррель. – Позвать кого-нибудь из слуг?

– Да, – показал Нуартье.

Моррель стал звонить изо всех сил; по, сколько он ни дергал за шнур, никто не приходил.

Он повернулся к Нуартье; лицо старика становилось все бледнее и тревожнее.

– Боже мой! – сказал Моррель. – Почему никто не идет? Еще кто-нибудь заболел?

Глаза Нуартье, казалось, готовы были выскочить из орбит.

– Да что с вами? – продолжал Моррель. – Вы меня пугаете! Валентина?..

– Да! Да! – показал Нуартье.

Максимилиан открыл рот, но не мог вымолвить ни слова; он зашатался и прислонился к стене.

Затем он указал рукой на дверь.

– Да! Да! Да! – показал старик.

Максимилиан бросился к маленькой лестнице и спустился по ней в два прыжка, между тем как Нуартье, казалось, кричал ему глазами:

– Скорей, скорей!

Моррель в одну минуту пробежал несколько комнат, пустых, как и весь дом, и достиг комнаты Валентины.

Ему не пришлось отворять дверь, она была раскрыта настежь.

Первое, что он услышал, было рыдание. Он увидел, как в тумане, черную фигуру, стоявшую на коленях и зарывшуюся в беспорядочную груды белых покрывал. Страх, смертельный страх пригвоздил его к порогу.

И тут он услышал голос, который говорил: – Валентина умерла, – и другой, который отозвался, как эхо:

– Умерла! Умерла!

VI. Максимилиан

Вильфор поднялся, почти стыдясь того, что его застали в припадке такого отчаяния.

Должность грозного обвинителя, которую он занимал в течение двадцати пяти лет, сделала из него нечто большее или, быть может, меньшее, чем человек.

Его взгляд, в первый миг растерянный и блуждающий, остановился на Максимилиане.

– Кто вы, сударь? – сказал он. – Откуда вы? Так не входят в дом, где обитает смерть. Уйдите!

Моррель не двигался, он не мог оторвать глаз от ужасного зрелища: от смятой постели и бледного лица на подушках.

– Уходите! Слышите? – крикнул Вильфор.

Д'Авриньи тоже подошел, чтобы заставить Максимилиана уйти.

Тот окинул безумным взглядом Валентину, обоих мужчин, комнату, хотел, по-видимому, что-то сказать, – наконец, не находя ни слова, чтобы ответить, несмотря на вихрь горестных мыслей, пронесшихся в его мозгу, он схватился за голову и бросился к выходу; Вильфор и д'Авриньи, на минуту отвлеченные от своих дум, посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, который говорил:

«Это сумасшедший».

Но не прошло и пяти минут, как лестница закричала под тяжелыми шагами, и появился Моррель, который, с нечеловеческой силой подняв кресло Нуартье, внес старика на второй этаж.

Дойдя до площадки, Моррель опустил кресло на пол и быстро вкатил его в комнату Валентины.

Все это он проделал с удесятенной силой иступленного отчаяния.

Но страшнее всего было лицо Нуартье, когда Моррель подвез его к кровати Валентины; на этом лице напряженно жили одни глаза, в них сосредоточились все силы и все чувства паралитика.

И при виде этого бледного лица с горящим взглядом Вильфор испугался.

Всю жизнь, всякий раз, как он сталкивался со своим отцом, происходило что-нибудь ужасное.

– Смотрите, что они сделали! – крикнул Моррель, все еще опираясь одной рукой на спинку кресла, которое он подкатил к кровати, а другой указывая на Валентину. – Смотрите, отец!

Вильфор отступил на шаг и с удивлением смотрел на молодого человека, ему почти незнакомого, который называл Нуартье своим отцом.

Казалось, в этот миг вся душа старика перешла в его налившиеся кровью глаза; жилы на лбу вздулись, синева, вроде той, которая заливает кожу эпилептиков, покрыла шею, щеки и виски; этому внутреннему взрыву, потрясающему все его существо, не хватало только крика.

Этот крик словно выступал из всех пор, страшный в своей немоте, раздирающий в своей беззвучности.

Д'Авриньи бросился к старику и дал ему понюхать спирту.

– Сударь, – крикнул тогда Моррель, схватив недвижную руку паралитика, – меня спрашивают, кто я такой и по какому праву я здесь. Вы знаете, скажите им, скажите!

Рыдания заглушили его голос.

Прерывистое дыхание сотрясало грудь старика. Этовозбуждение было похоже на начало агонии.

Наконец слезы хлынули из глаз Нуартье, более счастливого, чем Моррель, который рыдал без слез. Старик не мог наклонить голову и лишь закрыл глаза.

– Скажите, что я был ее женихом, – продолжал Моррель. – Скажите, что она была моим другом, моей единственной любовью на свете! Скажите ям, что ее бездыханный труп принадлежит мне!

И он бросился на колени перед постелью, судорожно вцепившись в нее руками.

Видеть этого большого, сильного человека, раздавленного горем, было так мучительно, что Д'Авриньи отвернулся, чтобы скрыть волнение; Вильфор, не требуя больше объяснений, покоренный притягательной силой, которая влечет нас к людям, любившим тех, кого мы оплакиваем, протянул Моррелю руку.

Но Максимилиан ничего не видел; он схватил ледяную руку Валентины и, не умея плакать, глухо стонал, сжимая зубами край простыни.

Несколько минут в этой комнате слышались только рыдания, проклятия и молитвы.

И все же один звук господствовал над всем: то было хриплое, страшное дыхание Нуартье. Казалось, при каждом вдохе рвались жизненные пружины в его груди.

Наконец Вильфор, владевший собой лучше других и как бы уступивший на время свое место Максимилиану, решился заговорить.

– Сударь, – сказал он, – вы говорите, что вы любили Валентину, что вы были ее женихом. Я не знал об этой любви, о вашем сговоре; и все же я, ее отец, прощаю вам это; ибо, я вижу, ваше горе велико и неподдельно.

Ведь и мое горе слишком велико, чтобы в душе у меня оставалось место для гнева.

Но вы видите, ангел, который сулил вам счастье, покинул землю; ей не нужно больше земного поклонения, ныне она предстала перед творцом: проститесь же с ее бренными останками, коснитесь в последний раз руки, которую вы ждали, и расстаньтесь с ней навсегда; Валентине нужен теперь только священник, который ее благословит.

– Вы ошибаетесь, сударь, – воскликнул Моррель, подымаясь на одно колено, и его сердце пронзила такая боль, какой он никогда еще не испытывал, – вы ошибаетесь. Валентина умерла, но она умерла такой смертью, что нуждается не только в священнике, но и в мстителе! Посылайте за священником, господин де Вильфор, а мстителем буду я!

– Что вы хотите сказать, сударь! – пробормотал Вильфор; полубезумный выкрик Морреля заставил его содрогнуться.

– Я хочу сказать, что в вас – два человека, сударь! – продолжал Моррель. – Отец довольно плакал – пусть выступит королевский прокурор.

Глаза Нуартье сверкнули; Д'Авриньи подошел ближе.

– Я знаю, что говорю, сударь, – продолжал Моррель, читая по лицам присутствующих все их чувства, – и вы знаете не хуже моего то, что я скажу: Валентину убили!

Вильфор опустил голову; Д'Авриньи подошел еще на шаг; Нуартье утвердительно опустил веки.

– В наше время, – продолжал Моррель, – живое существо, даже не такое юное и прекрасное, как Валентина, не может умереть насильственной смертью без того, чтобы не потребовали отчета в его гибели. Господин королевский прокурор, – закончил Моррель с возрастающим жаром, – здесь нет места жалости! Я вам указываю на преступление, ищите убийцу!

И его неумолимый взгляд вопрошал Вильфора, который в свою очередь искал взгляда то Нуартье, то Д'Авриньи.

Но вместо того чтобы поддержать Вильфора, отец и доктор ответили ему таким же непреклонным взглядом.

– Да! – показал старик.

– Верно! – сказал д'Авриньи.

– Вы ошибаетесь, сударь, – проговорил Вильфор, пытаясь побороть волю трех человек и свое собственное волнение, – в моем доме не совершается преступлений; меня разит судьба, меня тяжело испытывает бог, – но у меня никого не убивают!

Глаза Нуартье сверкнули; д'Авриньи открыл рот, чтобы возразить.

Моррель протянул руку, призывая к молчанию.

– А я вам говорю, что здесь убивают! – сказал он негромко, но грозно.

Я вам говорю, что это уже четвертая жертва за четыре месяца!

Я вам говорю, что четыре дня тому назад уже пытались отравить Валентину, но это не удалось, благодаря предосторожности господина Нуартье!

Я вам говорю, что дозу удвоили или переменили яд, и на этот раз злодеяние удалось!

Я вам говорю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, потому что господин д'Авриньи вас об этом предупредил и как врач и как друг.

– Вы бредите, сударь, – сказал Вильфор, тщетно пытаясь освободиться от захлестнувшей его петли.

– Я брежу? – воскликнул Моррель. – В таком случае я обращаюсь к самому господину д'Авриньи. Спросите у него, сударь, помнит ли он слова, произнесенные им в вашем саду, перед этим домом в вечер смерти госпожи де Сен-Меран; тогда вы оба, думая, что вы одни, говорили об этой трагической смерти; вы ссылаетесь на судьбу, вы несправедливо обвиняете бога, но судьба и бог участвовали в этой смерти только тем, что создали убийцу Валентины!

Вильфор и д'Авриньи переглянулись.

– Да, да, припомните, – сказал Моррель, – вы думали, что эти слова были сказаны в тишине и одиночестве, затерялись во мраке, но они достигли моих ушей.

Конечно, после этого вечера, видя преступную снисходительность господина де Вильфор к своим близким, я должен был все раскрыть властям. Я не был бы тогда одним из виновников твоей смерти, Валентина, любимая! Но виновник превратится в мстителя; это четвертое убийство очевидно для всякого, и если отец твой покинет тебя, Валентина, клянусь тебе, я сам буду преследовать убийцу!

И словно природа сжалилась, наконец, над этим сильным человеком, готовым сломиться под натиском собственной силы, – последние слова Морреля замерли в его гортани, из груди его вырвалось рыдание, непокорные слезы хлынули из глаз, он покачнулся и с плачем вновь упал на колени у кровати Валентины.

Тогда настала очередь д'Авриньи.

– Я разделяю чувства господина Морреля и тоже требую правосудия, – сказал он громко. – У меня сердце разрывается от мысли, что моя малодушная снисходительность поощрила убийцу!

– Боже мой! – еле слышно прошептал Вильфор.

Моррель поднял голову и, читая в глазах старика, горящих нечеловеческим пламенем, сказал:

– Смотрите, господин Нуартье хочет говорить.

– Да, – показал Нуартье, с выражением особенно ужасным, потому что все способности этого несчастного, беспомощного старика были сосредоточены в его взгляде.

– Вы знаете убийцу? – спросил Моррель.

– Да, – ответил Нуартье.

– И вы нам укажете его? – воскликнул Максимилиан, – Мы слушаем! Господин д'Авриньи, слушайте!

Глаза Нуартье улыбнулись несчастному Моррелю грустно и нежно, одной из тех улыбок, которые так часто радовали Валентину.

Затем, как бы приковав глаза собеседника к своим, он перевел взгляд на дверь.

– Вы хотите, чтобы я вышел? – горестно воскликнул Моррель.

– Да, – показал Нуартье.

– Пожалейте меня!

Глаза старика оставались неумолимо устремленными на дверь.

– Но потом мне можно будет вернуться? – спросил Максимилиан.

– Да.

– Я должен выйти один?

– Нет.

– Кого же я должен увести? Господина де Вильфор?

– Нет.

– Доктора?

– Да.

– Вы хотите остаться один с господином де Вильфор?

– Да.

– А он поймет вас?

– Да.

– Будьте спокойны, – сказал Вильфор, радуясь, что следствие будет вестись с глазу на глаз, – я отлично понимаю отца.

Хотя он говорил это с почти радостным выражением, зубы его громко стучали.

Д'Авриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату.

Тогда во всем доме воцарилось молчание, более глубокое, чем молчание смерти.

Наконец через четверть часа послышались нетвердые шаги, и Вильфор появился на пороге гостиной, где находились д'Авриньи и Моррель, один, – погруженный в задумчивость, другой – задыхающийся от горя.

– Идемте, – сказал Вильфор.

И он подвел их к Нуартье.

Моррель внимательно посмотрел на Вильфора.

Лицо королевского прокурора было мертвенно бледно; багровые пятна выступили у него на лбу; его пальцы судорожно теребили перо, ломая его на мелкие куски.

– Господа, – сдавленным голосом сказал он д'Авриньи и Моррелю, – дайте мне честное слово, что эта ужасная тайна останется погребенной в наших сердцах!

У тех вырвалось невольное движение.

– Умоляю вас!.. – продолжал Вильфор.

– А что же виновник!.. – сказал Моррель. – Убийца!.. Отравитель!..

– Будьте спокойны, сударь, правосудие совершится, – сказал Вильфор. – Мой отец открыл мне имя виновного; мой отец жаждет мщения, как и вы; но он, как и я, закликает вас хранить преступление в тайне. Правда, отец?

– Да, – твердо показал Нуартье.

Моррель невольно отшатнулся с жестом ужаса и недоверия.

– Сударь, – воскликнул Вильфор, удерживая Морреля за руку, – вы знаете, мой отец непреклонный человек, и если он обращается к вам с такой просьбой, значит, он верит, что Валентина будет страшно отомщена. Правда, отец?

Старик сделал знак, что да.

Вильфор продолжал:

– Он меня знает, а я дал ему слово. Можете быть спокойны, господа; я прошу у вас три дня, это меньше, чем у вас попросил бы суд; и через три дня мщение, которое постигнет убийцу моей дочери, заставит содрогнуться самое бесчувственное сердце. Правда, отец?

При этих словах он скрипнул зубами и потряс мертвую руку старика.

– Обещание будет исполнено, господин Нуартье? – спросил Моррель; д'Авриньи взглядом спросил о том же.

– Да! – показал Нуартье с мрачной радостью в глазах.

– Так поклянитесь, господа, – сказал Вильфор, соединяя руки д'Авриньи и Морреля, – поклянитесь, что вы пощадите честь моего дома и предоставите мщение мне.

Д'Авриньи отвернулся и неохотно прошептал «да», но Моррель вырвал руку из рук Вильфора, бросился к постели, прижался губами к холодным губам Валентины и выбежал вон с протяжным стоном отчаяния.

Как мы уже сказали, все слуги исчезли.

Поэтому Вильфору пришлось просить д'Авриньи взять на себя все те многочисленные и сложные хлопоты, которые влечет за собой смерть в наших больших городах, особенно смерть при таких подозрительных обстоятельствах.

Что касается Нуартье, то было страшно смотреть на это недвижимое горе, это окаменелое отчаяние, эти беззвучные слезы.

Вильфор заперся в своем кабинете; д'Авриньи пошел за городским врачом, обязанность которого – свидетельствовать смерть и которого выразительно именуют «доктором мертвых».

Нуартье не захотел расставаться с внучкой.

Через полчаса д'Авриньи вернулся со своим собратом; дверь с улицы была заперта, и, так как привратник исчез вместе с остальными слугами, Вильфор сам пошел отворить.

Но у комнаты Валентины он остановился; у него не было сил снова войти туда.

Оба доктора вошли одни.

Нуартье сидел у кровати, бледный, как сама покойница, недвижимый и безмолвный, как она.

Доктор мертвых подошел к постели с равнодушием человека, который полжизни проводит с трупами, откинул с лица девушки простыню и приоткрыл ей губы.

– Да, – сказал д'Авриньи со вздохом, – бедная девушка мертва, сомнений нет.

– Да, – коротко ответил доктор мертвых, снова закрывая простыней лицо Валентины.

Нуартье глухо захрипел.

Д'Авриньи обернулся; глаза старика сверкали.

Д'Авриньи понял, что он хочет видеть свою внучку; он подошел к кровати, и, пока второй врач полоскал в хлористой воде пальцы, которые коснулись губ умершей, он открыл это спокойное и бледное лицо, похожее на лицо спящего ангела.

Слезы, выступившие на глазах Нуартье, сказали Д'Авриньи, как глубоко благодарен ему несчастный старик.

Доктор мертвых написал свидетельство тут же в комнате Валентины, на краю стола, и, совершив эту последнюю формальность, вышел, провожаемый Д'Авриньи.

Вильфор услышал, как они спускались с лестницы, и вышел из своего кабинета.

Сказав несколько слов благодарности доктору, он обратился к Д'Авриньи.

– Теперь нужен священник, – сказал он.

– Есть какой-нибудь священник, которого вы хотели бы пригласить? – спросил Д'Авриньи.

– Нет, – отвечал Вильфор, – обратитесь к ближайшему.

– Ближайший, – сказал городской врач, – это итальянский аббат, поселившийся в доме рядом с вами. Хотите, проходя мимо, я его попрошу?

– Будьте добры, Д'Авриньи, – сказал Вильфор, – пойдите с господином доктором. Вот ключ, чтобы вы могли входить и выходить, когда вам нужно. Приведите священника и устройте его в комнате моей бедной девочки.

– Вы хотите с ним поговорить?

– Я хочу побыть один. Вы меня простите, правда? Священник должен понимать все страдания, тем более страдания отца.

Вильфор вручил Д'Авриньи ключ, поклонился еще раз городскому врачу и, вернувшись к себе в кабинет, принялся за работу.

Есть люди, для которых работа служит лекарством от всех зол.

Выйдя на улицу, оба врача заметили человека в черной сутане, стоящего на пороге соседнего дома.

– Вот тот, о ком я вам говорил, – сказал доктор мертвых.

Д'Авриньи подошел к священнику:

– Сударь, не согласитесь ли вы оказать услугу несчастному отцу, потерявшему только что дочь, королевскому прокурору де Вильфор?

– Да, сударь, – отвечал священник с сильным итальянским акцентом, – я знаю, смерть поселилась в его доме.

– Тогда мне незачем говорить вам, какого рода помощи он от вас ожидает.

– Я шел предложить свои услуги, сударь, – сказал священник, – наше назначение – идти навстречу нашим обязанностям.

– Это молодая девушка.

– Да, знаю; мне сказали слуги, я видел, как они бежали из дома. Я узнал, что ее имя Валентина, и я уже молился за нее.

– Благодарю вас, – сказал Д'Авриньи, – и раз вы уже приступили к вашему святому служению, благоволите его продолжить. Будьте возле усопшей, и вам скажет спасибо безутешная семья.

– Иду, сударь, – отвечал аббат, – и смею сказать, что не будет молитвы горячее, чем моя.

Д'Авриньи взял аббата за руку и, не встретив Вильфора, затворившегося у себя в кабинете, проводил его к покойнице, которую должны были облечь в саван только ночью.

Когда они входили в комнату, глаза Нуартье встретились с глазами аббата; вероятно, Нуартье увидел в них что-то необычайное, потому что взгляд его больше не отрывался от лица священника.

Д'Авриньи поручил попечению аббата не только усопшую, но и живого, и тот обещал Д'Авриньи помолиться о Валентине и позаботиться о Нуартье.

Обещание аббата звучало торжественно; и для того, должно быть, чтобы ему не мешали в его молитве и не беспокоили Нуартье в его горе, он, едва Д'Авриньи удалился, запер на задвижку не только дверь, в которую вышел доктор, но и ту, которая вела к г-же де Вильфор.

VII. Подпись Данглара

Утро настало пасмурное и унылое.

Ночью гробовщики исполнили свою печальную обязанность и зашили лежащее на кровати тело в саван – скорбную одежду усопших, которая, чтобы ни говорили о всеобщем равенстве перед смертью, служит последним напоминанием о роскоши, любимой ими при жизни.

Этот саван был не что иное как кусок тончайшего батиста, купленный Валентиной две недели тому назад.

Нуартье еще вечером перенесли из комнаты Валентины в его комнату; против всяких ожиданий, старик не противился тому, что его разлучают с телом внучки.

Аббат Бузони пробыл до утра и на рассвете ушел, никому не сказав ни слова.

В восемь часов приехал д'Авриньи; он встретил Вильфора, который шел к Нуартье, и отправился вместе с ним, чтобы узнать, как старик провел ночь.

Они застали его в большом кресле, служившем ему кроватью; старик спал спокойным, почти безмятежным сном.

Удивленные, они остановились на пороге.

– Посмотрите, – сказал д'Авриньи Вильфору, – природа умеет успокоить самое сильное горе; конечно, никто не скажет, что господин Нуартье не любил своей внучки, и, однако, он спит.

– Да, вы правы, – с недоумением сказал Вильфор, – он спит, и это очень странно: ведь из-за малейшей неприятности он способен не спать целыми ночами.

– Горе сломило его, – отвечал д'Авриньи.

И оба, погруженные в раздумье, вернулись в кабинет королевского прокурора.

– А вот я не спал, – сказал Вильфор, указывая д'Авриньи на нетронутую постель, – меня горе не может сломить; уже две ночи я не ложились; но зато посмотрите на мой стол: сколько я написал в эти два дня и две ночи!.. Сколько рылся в этом деле, сколько заметок сделал на обвинительном акте убийцы Бенедетто!.. О работа, моя страсть, мое счастье, мое безумие, ты одна можешь победить все мои страдания!

И он судорожно сжал руку д'Авриньи.

– Я вам нужен? – спросил доктор.

– Нет, – сказал Вильфор, – только возвращайтесь, пожалуйста, к одиннадцати часам, в двенадцать часов состоится... вынос... Боже мой, моя девочка, моя бедная девочка!

И королевский прокурор, снова становясь человеком, поднял глаза к небу и вздохнул.

– Вы будете принимать соболезнования?

– Нет, один мой родственник берет на себя эту тягостную обязанность. Я буду работать, доктор; когда я работаю, все исчезает.

И не успел доктор дойти до дверей, как королевский прокурор снова принялся за свои бумаги.

На крыльце д'Авриньи встретил родственника, о котором ему говорил Вильфор, личность незначительную как в этой повести, так и в семье, одно из тех существ, которые от рождения предназначены играть в жизни роль статиста.

Одетый в черное, с крепом на рукаве, он явился в дом Вильфора с подобающим случаю выражением лица, намереваясь его сохранить, пока требуется, и немедленно сбросить после церемонии.

В одиннадцать часов траурные кареты застучали по мощеному Двору, и предместье Сент-Оноре огласилось гулом толпы, которая одинаково жадно смотрит и на радости и на печали богачей и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини.

Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями; сначала явились некоторые наши старые знакомые – Дебрэ, Шато-Рено, Бошан, потом все знаменитости судебного, литературного и военного мира; ибо г-н де Вильфор, не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств, занимал одно из первых мест в парижском свете.

Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих, и для равнодушных людей, надо сознаться, было большим облегчением увидеть равнодушное лицо, не требовавшее лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы в присутствии отца, брата или жениха.

Те, кто были знакомы между собой, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебрэ, Шато-Рено и Бошана.

– Бедняжка, – сказал Дебрэ, невольно, как, впрочем, и все, платя дань печальному событию, – такая богатая! Такая красивая! Могли бы вы подумать об этом, Шато-Рено, когда мы пришли... давно ли?.. да три недели, месяц тому назад самое большое... подписывать ее брачный договор, который так и не был подписан?

– Нет, признаться, – сказал Шато-Рено.

– Вы ее знали?

– Я говорил с ней раза два на балу у госпожи де Морсер; она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. А где мачеха, вы не знаете?

– Она проведет весь день у жены этого почтенного господина, который нас встречал.

– Кто он такой?

– Это вы о ком?

– Да господин, который нас встречал. Он депутат?

– Нет, – сказал Бошан, – я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физиономия мне незнакома.

– Вы упомянули об этой смерти в своей газете?

– Заметка не моя, но она наделала шуму, и я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы четыре смерти последовали одна за другой в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован.

– Но доктор д'Авриньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе, – заметил Шато-Рено.

– Кого вы ищете, Дебрэ?

– Графа Монте-Кристо.

– Я встретил его на Бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать; он ехал к своему банкиру, – сказал Бошан.

– Его банкир – Данглар? – спросил Шато-Рено у Дебрэ.

– Как будто да, – отвечал личный секретарь с некоторым смущением, – но здесь не хватает не только Монте-Кристо. Я не вижу Морреля.

– Морреля? А разве он с ними знаком? – спросил Шато-Рено.

– Мне кажется, он был представлен только госпоже де Вильфор.

– Все равно, ему бы следовало прийти, – сказал Дебрэ, – о чем он будет говорить вечером? Эти похороны – злоба дня. Но тише, помолчим; вот министр юстиции и исповеданий; он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику.

И молодые люди подошли к дверям, чтобы услышать «спич» министра юстиции и исповеданий.

Бошан сказал правду; идя на похороны, он встретил Монте-Кристо, который ехал к Данглару, на улицу Шоссед'Антен.

Банкир из окна увидел коляску графа, въезжающую во двор, и вышел ему навстречу с грустным, но приветливым лицом.

– Я вижу, граф, – сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, – вы заехали выразить мне сочувствие. Да, такое несчастье посетило мой дом, что, увидав вас, я даже задал себе вопрос, не пожелал ли я несчастья этим бедным Морсерам, – это оправдало бы пословицу: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Но нет, честное слово, я не желал Морсеру зла; быть может, он был немного спесив для человека, начавшего с пустыми руками, как и я, обязанного всем самому себе, как и я; но у всякого свои недостатки. Будьте осторожны, граф: людям нашего поколения... впрочем, простите, вы не нашего поколения, вы – человек молодой... Людям моего поколения не везет в этом году: свидетель тому – наш пуританин, королевский прокурор, который только что потерял дочь. Вы посмотрите: у Вильфора странным образом погибает вся семья; Морсер опозорен и кончает самоубийством; я стал посмешищем из-за этого негодяя Бенедетто и вдобавок...

– Что вдобавок? – спросил граф.

– Увы, разве вы не знаете?

– Какое-нибудь новое несчастье?

– Моя дочь...

– Мадемуазель Данглар?

– Эжени нас покидает.

– Да что вы!

– Да, дорогой граф. Ваше счастье, что у вас нет ни жены, ни детей!

– Вы находите?

– Еще бы!

– И вы говорите, что мадемуазель Эжени...

– Она не могла перенести позора, которым нас покрыл этот негодяй, и попросила меня отпустить ее путешествовать.

– И она уехала?

– В прошлую ночь.

– С госпожой Данглар?

– Нет, с одной нашей родственницей... Но как-никак мы потеряли нашу дорогую Эжени: сомневаюсь, чтобы с ее характером она согласилась когда-либо вернуться во Францию!

– Что поделаешь, дорогой барон, – сказал Монте-Кристо. – Все эти семейные горести – катастрофа для какого-нибудь бедняка, у которого ребенок – единственное богатство, но они не так страшны для миллионера. Что бы ни говорили философы, деловые люди всегда докажут им противное; деньги утешают во многих бедах, а вы должны утешиться скорее, чем кто бы то ни было, если вы верите в целительную силу этого бальзама; вы – король финансов, точка пересечения всех могущественных сил.

Данглар искоса взглянул на графа, стараясь понять, смеется ли он, или говорит серьезно.

– Да, – сказал он, – если богатство утешает, я должен быть утешен: я богат.

– Так богаты, дорогой барон, что ваше богатство подобно пирамидам; если бы хотели их разрушить, то не посмели бы; а если бы посмели, то не смогли бы.

Данглар улыбнулся доверчивому простоудию графа.

– Кстати, когда вы вошли, я как раз выписывал пять бумажек; две из них я уже подписал; разрешите мне подписать три остальные?

– Пожалуйста, дорогой барон, пожалуйста.

Наступило молчание, слышно было, как скрипело перо банкира; Монте-Кристо разглядывал раззолоченную лепку потолка.

– Испанские? – сказал Монте-Кристо. – Или гаитийские, или неаполитанские?

– Нет, – отвечал Данглар, самодовольно посмеиваясь, – чеки на предъявителя, чеки на Французский банк. Вот, граф, – прибавил он, – вы – император – финансов, если я – король; часто вам случалось видеть такие вот клочки бумаги стоимостью по миллиону?

Монте-Кристо взял в руку, словно желая их взвесить, пять клочков бумаги, горделиво переданных ему Дангларом, и прочел:

«Господин директор банка, благоволите уплатить предъявителю сего за мой счет один миллион франков. Барон Данглар».

– Один, два, три, четыре, пять, – сказал Монте-Кристо, – пять миллионов! Черт возьми, вот так размах, господин Крез!

– Вот как я делаю дела! – сказал Данглар.

– Это удивительно, особенно, если эта сумма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, будет уплачена наличными.

– Так оно и будет, – сказал Данглар.

– Хорошо иметь такой кредит; в самом деле, только во Франции видишь такие вещи; пять клочков бумаги, которые стоят пять миллионов; нужно видеть это, чтобы поверить.

– А вы сомневаетесь?

– Нет.

– Вы это говорите таким тоном... Хотите, доставьте себе удовольствие: пойдите с моим доверенным в банк, и вы увидите, как он выйдет оттуда с облигациями казначейства на ту же сумму.

– Нет, право, это слишком любопытно, – сказал Монте-Кристо, складывая все пять чеков, – я сам произведу опыт. Мой кредит у вас был на шесть миллионов; я взял девятьсот тысяч франков, за вами остается пять миллионов сто тысяч. Я беру ваши клочки бумаги, которые я принимаю за валюту при одном взгляде на вашу подпись, и вот вам общая расписка на шесть миллионов, которая уравнивает наши счета. Я приготовил ее заранее, так как должен сознаться, что мне очень нужны деньги сегодня.

И, кладя чеки в карман, он другой рукой протянул банкиру расписку.

Молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом.

– Как же так? – пролепетал он. – Вы берете эти деньги, граф? Но, простите, эти деньги я должен приютам, это вклад, и я обещал уплатить сегодня.

– А, это другое дело, – сказал Монте-Кристо. – Мне не нужны непременно эти чеки, заплатите мне какими-нибудь другими ценностями; я их взял просто из любопытства, чтобы иметь возможность рассказывать повсюду, что без всякого предупреждения, не попросив у меня

и пяти минут отсрочки, банк Данглара выплатил мне пять миллионов наличными. Это было бы великолепно! Но вот ваши чеки; повторяю, дайте мне что-нибудь другое.

Он подал чеки Данглару, и тот, смертельно бледный, протянул было руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы вцепиться в мясо, которое у него отнимают.

Но вдруг он спохватился, сделал над собой усилие и сдержался. Затем он улыбнулся, и его искаженное лицо смягчилось.

– Впрочем, – сказал он, – ваша расписка это те же деньги.

– Ну, конечно! Будь вы в Риме, Томсон и Френч платили бы вам по моей расписке с той же легкостью, с какой вы сами сделали это сейчас.

– Извините меня, граф, извините.

– Так я могу оставить эти деньги себе?

– Да, да, оставьте, – сказал Данглар, отирая вспотевший лоб.

Монте-Кристо положил чеки обратно в карман, причем лицо его ясно говорило:

«Что ж, подумайте; если вы раскаиваетесь, еще не поздно».

– Нет, пет, – сказал Данглар, оставьте эти чеки себе. Но, вы знаете, мы, финансисты, очень щепетильны. Я предназначал эти деньги приютам, и мне казалось, что я их обкрадываю, если не плачу именно этими чеками, как будто деньги не все одинаковы. Простите меня!

И он громко, но нервически рассмеялся.

– Прощаю, – любезно отвечал Монте-Кристо, – и кладу деньги в карман.

И он вложил чеки в свой бумажник.

– Но у вас остается еще сто тысяч франков? – сказал Данглар.

– О, пустяки! – сказал Монте-Кристо. – Лаж, вероятно, составляет приблизительно ту же сумму; оставьте ее себе, и мы будем квиты.

– Вы говорите серьезно, граф?

– Я никогда не шучу с банкирами, – отвечал Монте-Кристо с серьезностью, граничащей с дерзостью.

И он направился к двери как раз в ту минуту, когда лакей докладывал:

– Господин де Бовиль, главный казначей Управления приютов.

– Вот видите, – сказал Монте-Кристо, – я пришел как раз вовремя, чтобы воспользоваться вашими чеками; их берут нарасхват.

Данглар снова побледнел и поспешил проститься с графом.

Монте-Кристо обменялся церемонным поклоном с г-ном де Бовиль, который дожидался в приемной и был тотчас же после ухода графа введен в кабинет Данглара.

На лице графа, всегда таком серьезном, мелькнула мимолетная улыбка, когда в руке у казначея приютов он увидел бумажник.

У дверей ею ждала коляска, и он велел тотчас же ехать в банк.

Тем временем Данглар, подавляя волнение, шел навстречу своему посетителю.

Нечего и говорить, что на его губах застыла приветливая улыбка.

– Здравствуйте, дорогой кредитор, – сказал он, – потому что я боюсь об заклад, что ко мне является именно кредитор.

– Вы угадали, барон, – отвечал Бовиль, – в моем лице к вам являются приюты: вдовы и сироты моей рукой просят у вас подаяния в пять миллионов.

– А еще говорят, что сироты достойны сожаления! – сказал Данглар, продолжая шутку. – Бедные дети!

– Вот я и пришел от их имени, – сказал Бовиль. – Вы должны были получить мое письмо вчера...

– Да.

– Вот и я, с распиской в получении.

– Дорогой де Бовиль, – сказал Данглар, – ваши вдовы и сироты, если вы ничего не имеете против, будут добры подождать двадцать четыре часа, потому что граф Монте-Кристо, который только что отсюда вышел... ведь вы с ним встретились, правда?

– Да, так что же?

– Так вот, Монте-Кристо унес их пять миллионов!

– Как так?

– Граф имел у меня неограниченный кредит, открытый римским домом Томсон и Френч. Он попросил у меня сразу пять миллионов, и я дал ему чек на банк; там я держу свои деньги; вы понимаете, я боюсь, что если я потребую у управляющего банком десять миллионов в

один день, это может ему показаться весьма странным. В два дня – другое дело, – добавил Данглар с улыбкой.

– Да что вы! – недоверчиво воскликнул Бовиль. – Пять миллионов этому господину, который только что вышел отсюда и еще раскланялся со мной, как будто я с ним знаком?

– Быть может, он вас знает, хотя вы с ним и не знакомы. Граф Монте-Кристо знает всех.

– Пять миллионов!

– Вот его расписка. Поступите, как апостол Фома: посмотрите и потрогайте.

Бовиль взял бумагу, которую ему протягивал Данглар, и прочел:

«Получил от барона Данглара пять миллионов сто тысяч франков, которые, по его желанию, будут ему возмещены банкирским домом Томсон и Френч в Риме».

– Все верно! – сказал он.

– Вам известен дом Томсон и Френч?

– Да, – сказал Бовиль, – у меня была с ним однажды сделка в двести тысяч франков; но с тех пор я больше ничего о нем не слышал.

– Это один из лучших банкирских домов в Европе, – сказал Данглар, небрежно бросая на стол взятую им из рук Бовиля расписку.

– И на его счету было пять миллионов только у вас? Да это какой-то набоб, этот граф Монте-Кристо!

– Я уж, право, не знаю, кто он такой, но у него было три неограниченных кредита: один у меня, другой у Ротшильда, третий у Лаффита; и, как видите, – небрежно добавил Данглар, – он отдал предпочтение мне и оставил сто тысяч франков на лаж.

Бовиль выказал все признаки величайшего восхищения.

– Нужно будет его навестить, – сказал он. – Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение.

– И это дело верное; он одной милостыни раздает больше, чем на двадцать тысяч франков в месяц.

– Это замечательно! Притом, я ему поставлю в пример госпожу де Морсер и ее сына.

– В каком отношении?

– Они пожертвовали все свое состояние приютам.

– Какое состояние?

– Да их собственное, состояние покойного генерала де Морсер.

– Но почему?

– Потому, что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами.

– Чем же они будут жить?

– Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу.

– Скажите, какая щепетильность! – воскликнул Данглар.

– Я не далее как вчера зарегистрировал дарственный акт.

– И сколько у них было?

– Да не слишком много, миллион двести тысяч с чем-то. Но вернемся к нашим миллионам.

– Извольте, – сказал самым естественным тоном Данглар. – Так вам очень спешно нужны эти деньги?

– Очень: завтра у нас кассовая ревизия.

– Завтра! Почему вы это сразу не сказали? До завтра еще целая вечность! В котором часу ревизия?

– В два часа.

– Пришлите в полдень, – сказал с улыбкой Данглар.

Бовиль в ответ только кивнул головой, теребя свой бумажник.

– Или вот что, – сказал Данглар, – можно сделать лучше.

– Что именно?

– Расписка графа Монте-Кристо – это те же деньги; предъявите эту расписку Ротшильду или Лаффиту; они тотчас же ее примут.

– Несмотря на то, что им придется рассчитываться с Римом?

– Разумеется; вы только потеряете тысяч пять-шесть на учете.

Казначей подскочил.

- Ну нет, знаете: я лучше подожду до завтра. Как вы это просто говорите!
- Прошу прощения, – сказал Данглар с удивительной наглостью, – я было подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу.
- Что вы! – воскликнул казначей.
- Это бывает у нас, и тогда приходится идти на жертвы.
- Слава богу, нет, – сказал Бовиль.
- В таком случае до завтра; согласны, мой дорогой?
- Хорошо, до завтра; но уж наверное?
- Да вы шутите! Пришлите в полдень, банк будет предупрежден.
- Я приду сам.
- Тем лучше, я буду иметь удовольствие увидеться с вами.

Они пожали друг другу руки.

– Кстати, – сказал Бовиль, – разве вы не будете на похоронах бедной мадемуазель де Вильфор? Я встретил процессию на Бульваре.

– Нет, – отвечал банкир, – я еще немного смешон после этой истории с Бенедетто и прячусь.

– Напрасно; чем вы виноваты?

– Знаете, мой дорогой, когда носишь незапятнанное имя, как мое, становишься щепетилен.

– Все сочувствуют вам, поверьте, и все особенно жалеют вашу дочь.

– Бедная Эжени! – произнес Данглар с глубоким вздохом. – Вы знаете, что она возвращается?

– Нет.

– Увы, к несчастью, это так. На следующий день после скандала она решила уехать с подругой-монахиней; она хочет поискать какой-нибудь строгий монастырь в Италии или Испании.

– Это ужасно!

И господин де Бовиль удалился, выражая свои соболезнования несчастному отцу.

Но едва он вышел, как Данглар с выразительным жестом, о котором могут составить себе представление только те, кто видел, как Фредерик играет Робер-Макера³, воскликнул:

– Болван!!!

И, пряча расписку Монте-Кристо в маленький бумажник, добавил:

– Приходи в полдень! В полдень я буду далеко!

Затем он запер двери на ключ, опорожнил все ящики своей кассы, собрал тысяч пятьдесят кредитными билетами, сжег кое-какие бумаги, другие положил на видное место и сел писать письмо; кончив его, он запечатал конверт и надписал:

«Баронессе Данглар».

– Вечером я сам положу его к ней на туалетный столик, – пробормотал он.

Затем он достал из ящика стола паспорт.

– Отлично, – сказал он, – действителен еще на два месяца.

VIII. Кладбище Пер-Лашез

Бовиль в самом деле встретил похоронную процессию, провожавшую Валентину к месту последнего упокоения.

Погода была хмурая и облачная: ветер, еще теплый, но уже губительный для желтых листьев, срывал их с оголяющихся ветвей и кружил над огромной толпой, заполнявшей Бульвары.

Вильфор, истый парижанин, смотрел на кладбище Пер-Лашез как на единственное, достойное принять прах одного из членов парижской семьи; все остальные кладбища казались ему слитком провинциальными, какими-то меблированными комнатами смерти. Только на кладбище Пер-Лашез покойник из хорошего общества был у себя дома.

Здесь, как мы видели, он купил в вечное владение место, на котором возвышалась усыпальница, так быстро заселившаяся всеми членами его первой семьи.

Надпись на фронтоне мавзолея гласила: «Семья Сен-Меран и Вильфор», – такова была последняя воля бедной Рене, матери Валентины.

³ «Робер-Макер» – популярная в свое время комедия Бенжамепа Антье и Фредерика Леметра (1834).

Итак, пышный кортеж от предместья Сент-Оноре продвигался к Пер-Лашез. Пересекли весь Париж, прошли по предместью Тампль, затем по наружным Бульварам до кладбища. Более пятидесяти собственных экипажей следовало за двадцатью траурными каретами, а за этими пятьюдесятью экипажами более пятисот человек шло пешком.

Это были почти все молодые люди, которых, как громом, поразила смерть Валентины; несмотря на ледяное веяние века, на прозаичность эпохи, они поддавались поэтическому обаянию этой прекрасной, непорочной пленительной девушки, погибшей в цвете лет.

Когда процессия приближалась к заставе, появился экипаж, запряженный четырьмя резвыми лошадьми, которые сразу остановились; их нервные ноги напряглись, как стальные пружины: приехал граф Монте-Кристо.

Граф вышел из коляски и смешался с толпой, провожавшей пешком похоронную колесницу.

Шато-Рено заметил его; он тотчас же оставил свою карету и присоединился к нему. Бошан также покинул свой наемный кабриолет.

Граф внимательно осматривал толпу; он, видимо, искал кого-то. Наконец он не выдержал.

– Где Моррель? – спросил он. – Кто-нибудь из вас, господа, знает, где он?

– Мы задавали себе этот вопрос еще в доме покойной, – сказал Шато-Рено, – никто из нас его не видел.

Граф замолчал, продолжая оглядываться.

Наконец пришли на кладбище.

Монте-Кристо зорко оглядел рощи тисов и сосен и вскоре перестал беспокоиться; среди темных грабин промелькнула тень, и Монте-Кристо, должно быть, узнал того, кого искал.

Все знают, что такое похороны в этом великолепном некрополе: черные группы людей, рассеянные по белым аллеям; безмолвие неба и земли, изредка нарушаемое треском ломающихся веток или живой изгороди вокруг какой-нибудь могилы; скорбные голоса священников, которым вторит то там, то здесь рыдание, вырвавшееся из-за груды цветов, где поникла женщина с молитвенно сложенными руками.

Тень, которую заметил Монте-Кристо, быстро пересекла рощу за могилой Элоизы и Абеяра, поравнялась с факельщиками, шедшими во главе процессии, и вместе с ними подошла к месту погребения.

Все взгляды скользили с предмета на предмет.

Но Монте-Кристо смотрел только на эту тень, почти не замеченную окружающими.

Два раза граф выходил из рядов, чтобы посмотреть, не ищет ли рука этого человека оружия, спрятанного в складках одежды.

Когда кортеж остановился, в этой тени узнали Морреля; бледный, со впалыми щеками, в наглухо застегнутом сюртуке, судорожно комкая шляпу в руках, он стоял, прислонясь к дереву, на холме, возвышавшемся над мавзолеем, так что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда.

Всё совершилось согласно обычаям. Несколько человек, – как всегда, наименее опечаленные, – произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину; другие распространялись о скорби отца; нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у г-на де Вильфор пощады виновным, над чьей головой он заносил меч правосудия; словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады стансы Малерба к Дюперье.

Монте-Кристо ничего не слышал; он видел лишь Морреля, чье спокойствие и неподвижность представляли страшное зрелище для того, кто знал, что совершается в его душе.

– Посмотрите! – сказал вдруг Бошан, обращаясь Дебрэ. – Вот Моррель! Куда это он залез?

И они показали на него Шато-Рено.

– Какой он бледный, – сказал тот, вздрогнув.

– Ему холодно, – возразил Дебрэ.

– Нет, – медленно произнес Шато-Рено, – по-моему, он потрясен. Максимилиан человек очень впечатлительный.

– Да нет же! – сказал Дебрэ. – Ведь он почти не был знаком с мадемуазель де Вильфор. Вы сами говорили.

– Это верно. Все же, я помню, на балу у госпожи де Морсер он три раза танцевал с ней; знаете, граф, на том балу, где вы произвели такое впечатление.

– Нет, не знаю, – ответил Монте-Кристо, не замечая даже, на что и кому он отвечает, до того он был занят Моррелем, у которого покраснели щеки, как у человека, старающегося не дышать.

– Речи кончились, прощайте, господа, – вдруг сказал Монте-Кристо.

И он подал сигнал к разъезду, исчезнув сам, причем никто не заметил, куда он направился. Церемония похорон кончилась, присутствующие пустились в обратный путь.

Один Шато-Рено поискал Морреля глазами; но пока он провожал взглядом удаляющегося графа, Моррель покинул свое место, и Шато-Рено, так и не найдя его, последовал за Дебрэ и Бошаном.

Монте-Кристо вошел в кусты, и спрятавшись за широкой могилой, следил за каждым движением Морреля, который приближался к мавзолею, покинутому любопытными, а потом и могильщиками.

Моррель медленно посмотрел вокруг себя; в то время как его взгляд был обращен в противоположную сторону, Монте-Кристо незаметно подошел еще на десять шагов.

Максимилиан опустился на колени.

Граф, пригнувшись, с расширенными, остановившимися глазами, весь в напряжении готовый броситься по первому знаку, продолжал приближаться к нему.

Моррель коснулся лбом каменной ограды, обеими руками ухватился за решетку и прошептал:

– Валентина!

Сердце графа не выдержало звука его голоса; он сделал еще шаг и тронул Морреля за плечо:

– Вы здесь, мой друг, – сказал он, – Я вас искал.

Монте-Кристо ожидал жалоб, упреков, – он ошибался.

Моррель взглянул на него и, с наружным спокойствием, ответил:

– Вы видите, я молился!

Монте-Кристо испытующим взглядом окинул Максимилиана с ног до головы.

Этот осмотр, казалось, успокоил его.

– Хотите, я вас отвезу в город? – предложил он Моррелю.

– Нет, спасибо.

– Не нужно ли вам чего-нибудь?

– Дайте мне молиться.

Граф молча отошел, но лишь для того, чтобы укрыться на новом месте, откуда он по-прежнему не терял Морреля из виду; наконец тот встал, отряхнул пыль с колен и пошел по дороге в Париж, ни разу не обернувшись.

Он медленно прошел улицу Ла-Рокет.

Граф, отослав свой экипаж, дожидавшийся у ворот кладбища, шел в ста шагах позади Максимилиана.

Максимилиан пересек канал и по Бульварам достиг улицы Меле.

Через пять минут после того, как калитка закрылась за Моррелем, она открылась для Монте-Кристо.

Жюли была в саду и внимательно наблюдала, как Пенелон, очень серьезно относившийся к своей профессии садовника, нарезал черенки бенгальских роз.

– Граф Монте-Кристо, – воскликнула она с искренней радостью, которую выражал обычно каждый член семьи, когда Монте-Кристо появлялся на улице Меле.

– Максимилиан только что вернулся, правда? – спросил граф.

– Да, он, кажется, пришел, – сказала Жюли, – но, прошу вас, позовите Эмманюеля.

– Простите, сударыня, но мне необходимо сейчас же пройти к Максимилиану, – возразил Монте-Кристо, – у меня к нему чрезвычайно важное дело.

– Тогда идите, – сказала она, провожая его своей милой улыбкой, пока он не исчез на лестнице.

Монте-Кристо быстро поднялся на третий этаж, где жил Максимилиан, остановившись на площадке, он прислушался: все было тихо.

Как в большинстве старинных домов, занимаемых самим хозяином, на площадку выходила всего лишь одна застекленная дверь.

Но только в этой застекленной двери не было ключа.

Максимилиан заперся изнутри; а через дверь ничего нельзя было увидеть, потому что стекла были затянуты красной шелковой занавеской.

Беспокойство графа выразилось ярким румянцем, – признак необычайного волнения у этого бесстрастного человека.

– Что делать? – прошептал он.

На минуту он задумался.

– Позвонить? – продолжал он – Нет! Иной раз звонок, чей-нибудь приход, ускоряет решение человека, который находится в таком состоянии, как Максимилиан, и тогда в ответ на звонок раздается другой звук.

Монте-Кристо вздрогнул с головы до ног, и так как его решения всегда бывали молниеносны, то он ударил локтем в дверное стекло, и оно разлетелось вдребезги, он поднял занавеску и увидел Морреля, который сидел у письменного стола с пером в руке и резко обернулся при звоне разбитого стекла.

– Это ничего, – сказал граф, – простите, ради бога, дорогой друг, я поскользнулся и попал локтем в ваше стекло; раз уж оно разбилось, я этим воспользуюсь и войду к вам; не беспокойтесь, не беспокойтесь.

И, протянув руку в разбитое стекло, граф открыл дверь.

Моррель встал, явно раздосадованный, и пошел навстречу Монте-Кристо, не столько, чтобы принять его, сколько чтобы загородить ему дорогу.

– Право же, в этом виноваты ваши слуги, – сказал Монте-Кристо, потирая локоть, – у вас в доме паркет натерт, как зеркало.

– Вы не поранили себя? – холодно спросил Моррель.

– Не знаю. Но что это вы делали? Писали?

– Я?

– У вас пальцы в чернилах.

– Да, я писал, – отвечал Моррель, – это со мной иногда случается, хоть я и военный.

Монте-Кристо сделал несколько шагов по комнате. Максимилиан не мог не впустить его; но он шел за ним.

– Вы писали? – продолжал Монте-Кристо, глядя на него пылливо-пристальным взглядом.

– Я уже имел честь сказать вам, что да – отвечал Моррель.

Граф бросил взгляд кругом.

– Положив пистолеты возле чернильницы? – сказал он, указывая Моррелю на оружие, лежавшее на столе.

– Я отправляюсь путешествовать, – отвечал Максимилиан.

– Друг мой! – сказал Монте-Кристо с бесконечной нежностью.

– Сударь!

– Дорогой Максимилиан, не надо крайних решений, умоляю вас!

– У меня крайние решения? – сказал Моррель, пожимая плечами. – Почему путешествие – это крайнее решение, скажите, пожалуйста?

– Сбросим маски, Максимилиан, – сказал Монте-Кристо. – Вы меня не обманете своим деланным спокойствием, как я вас не обману моим поверхностным участием. Вы ведь сами понимаете, что, если я поступил так, как сейчас, если я разбил стекло и ворвался в запертую дверь к своему другу, – значит, у меня серьезные опасения, или, вернее, ужасная уверенность. Моррель, вы хотите убить себя.

– Что вы! – сказал Моррель, вздрогнув. – Откуда вы это взяли, граф?

– Я вам говорю, что вы хотите убить себя, – продолжал граф тем же тоном, – и вот доказательство.

И, подойдя к столу, он приподнял белый листок, положенный молодым человеком на начатое письмо, и взял письмо в руки.

Моррель бросился к нему, чтобы вырвать письмо.

Но Монте-Кристо предвидел это движение и предупредил его; схватив Максимилиана за кисть руки, он остановил его, как стальная цепь останавливает приведенную в действие пружину.

– Вы хотели убить себя, Моррель, – сказал он. – Это написано здесь черным по белому!

– Так что же! – воскликнул Моррель, разом отбросив свое показное спокойствие. – А если даже и так, если я решил направить на себя дуло этого пистолета, кто мне помешает?

У кого хватит смелости мне помешать?

Когда я скажу: все мои надежды рухнули, мое сердце разбито, моя жизнь погасла, вокруг меня только тьма и мерзость, земля превратилась в прах, слышать человеческие голоса для меня пытка.

Когда я скажу: дать мне умереть, это – милосердие, ибо если вы не дадите мне умереть, я потеряю рассудок, я сойду с ума.

Когда я это скажу, когда увидят, что я говорю это с отчаянием и слезами в сердце, кто мне ответит: – Вы неправы! – Кто мне помешает перестать быть несчастнейшим из несчастных?

Скажите, граф, уж не вы ли осмелитесь на это?

– Да, Моррель, – сказал твердым голосом Монте-Кристо, чье спокойствие странно контрастировало с волнением Максимилиана. – Да, я.

– Вы! – воскликнул Моррель, с возрастающим гневом и укоризной. – Вы оболщали меня нелепой надеждой, вы удерживали, убаюкивали, усыпляли меня пустыми обещаниями, когда я мог бы сделать что-нибудь решительное, отчаянное и спасти ее или хотя бы видеть ее умирающей в моих объятиях; вы хвалились, будто владеете всеми средствами разума, всеми силами природы; вы притворяетесь, что все можете, вы разыгрываете роль провидения, и вы даже не сумели дать противоядия отравленной девушке! Нет, знаете, сударь, вы внушили бы мне жалость, если бы не внушали отвращения!

– Моррель!

– Да, вы предложили мне сбросить маску; так радуйтесь, что я ее сбросил. Да, когда вы последовали за мной на кладбище, я вам еще отвечал, по доброте душевной; когда вы вошли сюда, я дал вам войти... Но вы злоупотребляете моим терпением, вы преследуете меня в моей комнате, куда я скрылся, как в могилу, вы приносите мне новую муку – мне, который думал, что исчерпал их уже все... Так слушайте, граф Монте-Кристо, мой мнимый благодетель, всеобщий спаситель, вы можете быть довольны: ваш друг умрет на ваших глазах!..

И Моррель с безумным смехом вторично бросился к пистолетам.

Монте-Кристо, бледный, как привидение, но с мечущим молнии взором, положил руку на оружие и сказал безумцу:

– А я повторяю: вы не убьете себя!

– Помешайте же мне! – воскликнул Моррель с последним порывом, который, как и первый, разбился о стальную руку графа.

– Помешаю!

– Да кто вы такой, наконец? Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми? – воскликнул Максимилиан.

– Кто я? – повторил Монте-Кристо. – Слушайте. Я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам: Моррель, я не хочу, чтобы сын твоего отца сегодня умер!

И Монте-Кристо, величественный, преображенный, неодолимый, подошел, скрестив руки, к трепещущему Максимилиану, который, невольно покоренный почти божественной силой этого человека, отступил на шаг.

– Зачем вы говорите о моем отце? – прошептал он. – Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня?

– Потому что я тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня; потому что я тот, кто послал кошелек твоей юной сестре и «Фараон» старику Моррелю; потому что я Эдмон Дантес, на коленях у которого ты играл ребенком.

Потрясенный Моррель, шатаясь, тяжело дыша, сделал еще шаг назад; потом силы ему изменили, и он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо.

И вдруг в этой благородной душе совершилось внезапное и полное перерождение: Моррель вскочил, выбежал из комнаты и кинулся на лестницу, крича во весь голос:

– Жюли! Эмманюэль!

Монте-Кристо хотел броситься за ним вдогонку, но Максимилиан скорее дал бы себя убить, чем выпустил бы ручку двери, которую он закрывал перед графом.

На крики Максимилиана в испуге прибежали Жюли и Эмманюэль в сопровождении Пенелона и слуг.

Моррель взял их за руки и открыл дверь.

– На колени! – воскликнул он голосом, сдавленным от слез. – Вот наш благодетель, спаситель нашего отца, вот...

Он хотел сказать:

– Вот Эдмон Дантес!

Граф остановил его, схватив за руку.

Жюли припала к руке графа, Эмманюель целовал его, как бога-покровителя; Моррель снова стал на колени и поклонился до земли.

Тогда этот железный человек почувствовал, что сердце его разрывается, пожирающее пламя хлынуло из его груди к глазам; он склонил голову и заплакал.

Несколько минут в этой комнате лились слезы и слышались вздохи, этот хор показался бы сладостным даже возлюбленнейшим ангелам божьим.

Жюли, едва придя в себя после испытанного потрясения, бросилась вон из комнаты, спустилась этажом ниже, с детской радостью вбежала в гостиную и приподняла стеклянный колпак, под которым лежал кошелек, подаренный незнакомцем с Мельянских аллей.

Тем временем Эмманюель прерывающимся голосом говорил Монте-Кристо:

– Ах, граф, ведь вы знаете, что мы так часто говорим о нашем неведомом благодетеле, знаете, какой благодарностью и каким обожанием мы окружаем память о нем. Как вы могли так долго ждать, чтобы открыться? Право, это было жестоко по отношению к нам и, я готов сказать, по отношению к вам самим!

– Поймите, друг мой, – сказал граф, – я могу называть вас так, потому что, сами того не зная, вы мне друг вот уже одиннадцать лет; важное событие заставило меня раскрыть эту тайну, я не могу сказать вам, какое. Видит бог, я хотел всю жизнь хранить эту тайну в глубине своей души; Максимилиан вырвал ее у меня угрозами, в которых, я уверен, он раскаивается.

Максимилиан все еще стоял на коленях, немного поодаль, припав лицом к креслу.

– Следите за ним, – тихо добавил Монте-Кристо, многозначительно пожимая Эмманюелю руку.

– Почему? – удивленно спросил тот.

– Не могу объяснить вам, но следите за ним.

Эмманюель обвел комнату взглядом и увидел пистолеты Морреля.

Глаза его с испугом остановились на оружии, и он указал на него Монте-Кристо, медленно подняв руку до уровня стола.

Монте-Кристо наклонил голову.

Эмманюель протянул было руку к пистолетам.

Но граф остановил его.

Затем, подойдя к Моррелю, он взял его за руку; бурные чувства, только что потрясавшие сердце Максимилиана, сменились глубоким оцепенением.

Вернулась Жюли, она держала в руке шелковый кошелек; и две сверкающие радостные слезинки катились по ее щекам, как две капли утренней росы.

– Вот наша реликвия, – сказала она, – не думайте, что я ею меньше дорожу с тех пор, как мы узнали, кто наш спаситель.

– Дитя мое, – сказал Монте-Кристо, краснея, – позвольте мне взять этот кошелек; теперь, когда вы узнали меня, я хочу, чтобы вам напоминало обо мне только дружеское расположение, которого вы меня удостаиваете.

– Нет, нет, умоляю вас, – воскликнула Жюли, прижимая кошелек к сердцу, – ведь вы можете уехать, ведь придет горестный день, и вы нас покинете, правда?

– Вы угадали, – отвечал, улыбаясь, Монте-Кристо, – через неделю я покину эту страну, где столько людей, заслуживавших небесной кары, жили счастливо, в то время как отец мой умирал от голода и горя.

Сообщая о своем отъезде, Монте-Кристо взглянул на Морреля и увидел, что слова: «Я покину эту страну» не вывели Морреля из его летаргии; он понял, что ему предстоит выдержать еще последнюю битву с горем друга; и, взяв за руки Жюли и Эмманюеля, он сказал им отечески мягко и повелительно:

– Дорогие друзья, прошу вас, оставьте меня наедине с Максимилианом.

Жюли это давало возможность унести драгоценную реликвию, о которой забыл Монте-Кристо.

Она поторопила мужа.

– Оставим их, – сказала она.

Граф остался с Моррелем, недвижимым, как изваяние.

– Послушай, Максимилиан, – сказал граф, властно касаясь его плеча, – станешь ли ты, наконец, опять человеком?

– Да, я опять начинаю страдать.

Граф нахмурился; казалось, он был во власти тяжкого сомнения.

– Максимилиан! – сказал он. – Такие мысли недостойны христианина.

– Успокойтесь, мой друг, – сказал Максимилиан, подымая голову и улыбаясь графу бесконечно печальной улыбкой, – я не стану искать смерти.

– Итак, – сказал Монте-Кристо, – нет больше пистолетов, нет больше отчаяния?

– Нет, ведь у меня есть нечто лучшее, чем дуло пистолета или острие ножа, чтобы излечиться от моей боли.

– Бедный безумец!.. Что же это такое?

– Моя боль; она сама убьет меня.

– Друг, выслушай меня, – сказал Монте-Кристо с такой же печалью. Однажды, в минуту отчаяния, равного твоему, ибо оно привело к тому же решению, я, как и ты, хотел убить себя; однажды твой отец, в таком же отчаянии, тоже хотел убить себя.

Если бы твоему отцу, в тот миг, когда он приставлял дуло пистолета ко лбу, или мне, когда я отодвигал от своей койки тюремный хлеб, к которому не прикасался уже три дня, кто-нибудь сказал: «Живите! Настанет день, когда вы будете счастливы и благословите жизнь», – откуда бы ни исходил этот голос, мы бы встретили его с улыбкой сомнения, с тоской неверия. А между тем сколько раз, целуя тебя, твой отец благословлял жизнь, сколько раз я сам...

– Но вы потеряли только свободу, – воскликнул Моррель, прерывая его, – мой отец потерял только богатство; а я потерял Валентину!

– Посмотри на меня, Максимилиан, – сказал Монте-Кристо с той торжественностью, которая подчас делала его столь величавым и убедительным. – У меня нет ни слез на глазах, ни жара в крови, мое сердце не бьется уныло; а ведь я вижу, что ты страдаешь, Максимилиан, ты, которого я люблю, как родного сына. Разве это не говорит тебе, что страдание – как жизнь: впереди всегда ждет неведомое. Я прошу тебя, и я приказываю тебе жить, ибо я знаю: будет день, когда ты поблагодаришь меня за то, что я сохранил тебе жизнь.

– Боже мой, – воскликнул молодой человек, – зачем вы это говорите, граф? Берегитесь! Быть может, вы никогда не любили?

– Дитя! – ответил граф.

– Не любили страстно, я хочу сказать, – продолжал Моррель. – Поймите, я с юных лет солдат; я дожил до двадцати девяти лет, не любя, потому что те чувства, которые я прежде испытывал, нельзя назвать любовью; и вот в двадцать девять лет я увидел Валентину; почти два года я ее люблю, два года я читал в этом раскрытом для меня, как книга, сердце, начертанные рукой самого бога, совершенства девушки и женщины.

Граф, Валентина для меня была бесконечным счастьем, огромным, неведомым счастьем, слишком большим, слишком полным, слишком божественным для этого мира; и если в этом мире оно мне не было суждено, то без Валентины для меня на земле остается только отчаяние и скорбь.

– Я вам сказал: надейтесь, – повторил граф.

– Берегитесь, повторяю вам, – сказал Моррель, – вы стараетесь меня убедить, а если вы меня убедите, я сойду с ума, потому что я стану думать, что увижусь с Валентиной.

Граф улыбнулся.

– Мой друг, мой отец! – воскликнул Моррель в исступлении. – Берегитесь, повторяю вам в третий раз! Ваша власть надо мной меня пугает; берегитесь значения ваших слов, глаза мои оживают и сердце воскресает; берегитесь, ибо я готов поверить в сверхъестественное!

Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира, я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак идти; берегитесь, я готов повиноваться.

– Надейся, друг мой, – повторил граф.

– Нет, – воскликнул Моррель, падая с высоты своей экзальтации в пропасть отчаяния, – вы играете мной, вы поступаете, как добрая мать, вернее – как мать-эгоистка, которая слащавыми словами успокаивает больного ребенка, потому что его крик ей докучает.

Нет, я был неправ, когда говорил, чтобы вы остерегались; не бойтесь, я так запрячу свое горе в глубине сердца, я сделаю его таким далеким, таким тайным, что вам даже не придется ему соболезновать. Прощайте, мой друг, прощайте.

– Напротив, Максимилиан, – сказал граф, – с нынешнего дня ты будешь жить подле меня, мы уже не расстанемся, и через неделю нас уже не будет во Франции.

– И вы по-прежнему говорите, чтобы я надеялся?

– Я говорю, чтобы ты надеялся, ибо знаю способ тебя исцелить.

– Граф, вы меня огорчаете еще больше, если это возможно. В постигшем меня несчастье вы видите только заурядное горе, и вы надеетесь меня утешить заурядным средством – путешествием.

И Моррель презрительно и недоверчиво покачал головой.

– Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? – отвечал Монте-Кристо. – Я верю в свои обещания, дай мне попытаться.

– Вы только затягиваете мою агонию.

– Итак, малодушный, – сказал граф, – у тебя не хватает силы подарить твоему другу несколько дней, чтобы он мог сделать попытку?

Да знаешь ли ты, на что способен граф Монте-Кристо?

Знаешь ли ты, какие земные силы мне подвластны?

У меня довольно веры в бога, чтобы добиться чуда от того, кто сказал, что вера движет горами!

Жди же чуда, на которое я надеюсь, или...

– Или... – повторил Моррель.

– Или, – берегись, Моррель, – я назову тебя неблагодарным.

– Сжальтесь надо мной!

– Максимилиан, слушай: мне очень жаль тебя. Так жаль, что если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, – запомни мои слова: я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии, более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину.

– Вы обещаете?

– Да, ибо я человек, ибо я тоже хотел умереть, и часто, даже когда несчастье уже отошло от меня, я мечтал о блаженстве вечного сна.

– Так это верно, вы мне обещаете, граф? – воскликнул Максимилиан в упоении.

– Я не обещаю, я клянусь, – сказал Монте-Кристо, подымая руку.

– Вы даете слово, что через месяц, если я не утешусь, вы предоставите мне право располагать моей жизнью, и, как бы я ни поступил, вы не назовете меня неблагодарным?

– Через месяц, день в день Максимилиан; через месяц, час в час, и число это священно, – не знаю, подумал ли ты об этом? Сегодня пятое сентября. Сегодня десять лет, как я спас твоего отца, который хотел умереть.

Моррель схватил руку графа и поцеловал ее; тот не противился, словно понимая, что достоин такого поклонения.

– Через месяц, – продолжал Монте-Кристо, – ты найдешь на столе, за которым мы будем сидеть, хорошее оружие и легкую смерть; но взамен ты обещаешь мне ждать до этого дня и жить?

– Я тоже клянусь! – воскликнул Моррель.

Монте-Кристо привлек его к себе и крепко обнял.

– Отныне ты будешь жить у меня, – сказал он, – ты займешь комнаты Гайде: по крайней мере сын заменит мне мою дочь.

– А где же Гайде? – спросил Моррель.

– Она уехала сегодня ночью.

– Она покинула вас?

– Нет, она ждет меня... Будь же готов переехать ко мне на Елисейские Поля и дай мне выйти отсюда так, чтобы меня никто не видел.

Максимилиан склонил голову, послушный, как дитя, или как апостол.

IX. Дележ

В доме на улице Сен-Жормен-де-Пре, который Альбер де Морсер выбрал для своей матери и для себя, весь второй этаж, представляющий собой отдельную небольшую квартиру, был сдан весьма таинственной личности.

Это был мужчина, лица которого даже швейцар ни разу не мог разглядеть, когда тот входил или выходил: зимой он прятал подбородок в красный шейный платок, какие носят кучера из богатых домов, ожидающие своих господ у театрального подъезда, а летом сморкался как раз в ту минуту, когда проходил мимо швейцарской. Надо сказать, что, вопреки обыкновению, за

этим жильцом никто не подглядывал: слух, будто под этим инкогнито скрывается весьма высокопоставленная особа с большими связями, заставлял уважать его тайну.

Являлся он обыкновенно в одно и то же время, изредка немного раньше или позже; но почти всегда, зимой и летом, он приходил в свою квартиру около четырех часов, и никогда в ней не ночевал.

Зимой, в половине четвертого, молчаливая служанка, смотревшая за квартирой, топила камин; летом, в половине четвертого, та же служанка подавала мороженое.

В четыре часа, как мы уже сказали, являлся таинственный жилец.

Через двадцать минут к дому подъезжала карета; из нее выходила женщина в черном или в темно-синем, с опущенной на лицо густой вуалью, проскальзывала, как тень, мимо швейцарской и легкими, неслышными шагами подымалась по лестнице.

Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь спросил ее, куда она идет.

Таким образом, ее лицо, так же как и лицо незнакомца, было неизвестно обоим привратникам, этим примерным стражам, быть может, единственным в огромном братстве столичных швейцаров, которые были способны на такую скромность.

Разумеется, она подымалась не выше второго этажа. Она негромко стучала условным стуком; дверь открывалась, затем плотно закрывалась, – и все.

При выходе из дома – тот же маневр, что и при входе. Незнакомка выходила первая, все так же под вуалью, и садилась в карету, которая исчезала то в одном конце улицы, то в другом; спустя двадцать минут выходил незнакомец, зарывшись в шарф или прикрыв лицо платком, и гоже исчезал.

На другой день после визита Монте-Кристо к Данглару и похорон Валентины таинственный жилец пришел ИР в четыре часа, как всегда, а около десяти часов утра.

Почти тотчас же, без обычного перерыва, подъехала наемная карета, и дама под вуалью быстро поднялась по лестнице.

Дверь открылась и снова закрылась.

Но раньше чем дверь успела закрыться, дама воскликнула:

– Люсьен, друг мой!

Таким образом швейцар, поневоле услышав это восклицание, впервые узнал, что его жильца зовут Люсьеном; но так как это был примерный швейцар, то он дал себе слово не говорить этого даже своей жене.

– Что случилось, дорогая? – спросил тот, чье имя выдали смятение и поспешность дамы под вуалью. – Говорите скорее.

– Могу я положиться на вас?

– Конечно, вы же знаете. Но что случилось? Ваша записка повергла меня в полное недоумение. Такая поспешность, неровный почерк... Успокойте же меня или уж испугайте совсем!

– Случилось вот что! – сказала дама, устремив на Люсьена испытующий взгляд. – Данглар сегодня ночью уехал.

– Уехал? Данглар уехал? Куда?

– Не знаю.

– Как! Не знаете? Так он уехал совсем?

– Очевидно. В десять часов вечера он поехал на своих лошадях к Шарантонской заставе; там его ждала почтовая карета; он сел в нее со своим лакеем и сказал нашему кучеру, что едет в Фонтенбло.

– Ну, так что же. А вы говорите...

– Подождите, мой друг. Он оставил мне письмо.

– Письмо?

– Да. Прочтите.

И баронесса протянула Дебрэ распечатанное письмо.

Прежде чем начать читать, Дебрэ немного подумал, словно старался отгадать, что окажется в письме, или, вернее, словно хотел, что бы в нем ни оказалось, заранее принять решение.

Через несколько секунд он, по-видимому, на чем-то остановился и начал читать.

Вот что было в этом письме, приведшем г-жу Данглар в такое смятение:

– «Сударыня и верная наша супруга».

Дебрэ невольно остановился и посмотрел на баронессу, которая густо покраснела.

– Читайте! – сказала она.

Дебрэ продолжал:

– «Когда вы получите это письмо, у вас уже не будет мужа! Не впадайте в чрезмерную тревогу; у вас не будет мужа, как не будет дочери; другими словами, я буду на одной из тридцати или сорока дорог, по которым покидают Францию.

Вы ждете от меня объяснений, и так как вы женщина, вполне способная их понять, то я вам их и даю.

Слушайте же:

Сегодня от меня потребовали уплаты пяти миллионов, что я и выполнил; почти непосредственно вслед за этим потребовался еще один платеж, в той же сумме; я отложил его на завтра; сегодня я уезжаю, чтобы избежать этого завтрашнего дня, который был бы для меня слишком неприятным.

Вы это понимаете, не правда ли, сударыня и драгоценнейшая супруга?

Я говорю: «вы понимаете», потому что вы знаете мои дела не хуже моего; вы знаете их даже лучше, чем я, ибо, если бы потребовалось объяснить, куда девалась добрая половина моего состояния, еще недавно довольно приличного, то я не мог бы этого сделать, тогда как вы, я уверен, прекрасно справились бы с этой задачей.

Женщины обладают безошибочным чутьем, у них имеется алгебра собственного изобретения, при помощи которой они вам могут объяснить любое чудо. А я знал только свои цифры и перестал понимать что бы то ни было, когда мои цифры меня обманули.

Случалось ли вам восхищаться стремительностью моего падения, сударыня?

Изумлялись ли вы сверкающему потоку моих расплавленных слитков?

Я, признаться, был ослеплен поразившей меня молнией; будем надеяться, что вы нашли немного золота под пеплом.

С этой утешительной надеждой я и удаляюсь, сударыня и благоразумнейшая супруга, и моя совесть ничуть меня не укоряет за то, что я вас покидаю; у вас остаются друзья, упомянутый пепел и, в довершение блаженства, свобода, которую я спешу вам вернуть.

Все же, сударыня, здесь будет уместно сказать несколько слов начистоту.

Пока я надеялся, что вы действуете на пользу нашего дома, в интересах нашей дочери, я философски закрывал глаза; но так как вы в этот дом внесли полное разорение, я не желаю служить фундаментом чужому благополучию.

Я взял вас богатой, но мало уважаемой.

Простите мне мою откровенность; но так как, по всей вероятности, я говорю только для нас двоих, то я не вижу оснований что-либо приукрашивать.

Я приумножал наше богатство, которое в течение пятнадцати с лишним лет непрерывно возрастало, до того часа, пока неведомые и непонятные мне самому бедствия не обрушились на меня и не обратили его в прах, и притом, смело могу сказать, без всякой моей вины.

Вы, сударыня, старались приумножить только свое собственное состояние, в чем и преуспели, я в этом убежден.

Итак, я оставляю вас такой, какой я вас взял: богатой, но мало уважаемой.

Прощайте.

Я тоже, начиная с сегодняшнего дня, буду заботиться только о себе.

Верьте, я очень признателен вам за пример и не премину ему последовать.

Ваш преданный муж барон Данглар».

В продолжение этого длинного и тягостного чтения баронесса внимательно следила за Дебрэ; она заметила, что он, несмотря на все свое самообладание, раза два менялся в лице.

Кончив, он медленно сложил письмо и снова задумался.

– Ну, что? – спросила г-жа Данглар с легко понятной тревогой.

– Что, сударыня? – машинально повторил Дебрэ.

– Что вы думаете об этом?

– Думаю, что у Данглара были подозрения, сударыня.

– Да, конечно; но неужели это все, что вы имеете мне сказать?

– Я вас не понимаю, – сказал Дебрэ с ледяной холодностью.

– Он уехал! Уехал совсем! Уехал, чтобы не возвращаться!

– Не верьте этому, баронесса, – сказал Дебрэ.

– Да нет же, он не вернется; я его знаю, этот человек непоколебим, когда затронуты его интересы. Если бы он считал, что я могу быть ему полезна, он увез бы меня с собой. Он

оставляет меня в Париже, – значит, наша разлука входит в его планы; а если так, она бесповоротна, и я свободна навсегда, – добавила г-жа Данглар с мольбой в голосе.

Но Дебрэ не ответил и оставил ее с тем же тревожным вопросом во взгляде и в душе.

– Что же это? – сказала она наконец. – Вы молчите?

– Я могу только задать вам один вопрос: что вы намерены делать?

– Я сама хотела спросить вас об этом, – сказала г-жа Данглар с сильно бьющимся сердцем.

– Так вы спрашиваете у меня совета?

– Да, совета, – упавшим голосом отвечала г-жа Данглар.

– В таком случае, – холодно проговорил Дебрэ, – я вам советую отправиться путешествовать.

– Путешествовать! – прошептала г-жа Данглар.

– Разумеется. Как сказал Данглар, вы богаты и вполне свободны. Мне кажется, после двойного скандала – несостоявшейся свадьбы мадемуазель Эжени и исчезновения Данглара – вам совершенно необходимо уехать из Парижа.

Нужно только, чтобы все знали, что вы покинуты, и чтобы вас считали бедной: жене банкроты никогда не простят богатства и широкого образа жизни.

Чтобы достигнуть первого, вам достаточно остаться в Париже еще две недели, повторяя всем и каждому, что Данглар вас бросил, и рассказывая вашим близким друзьям, как это произошло; а уж они разнесут это повсюду.

Потом вы выедете из своего дома, оставите там свои бриллианты, откажетесь от своей доли в имуществе, и все будут превозносить ваше бескорыстие и петь вам хвалы.

Тогда все будут знать, что вы покинуты, и все будут считать, что вы остались без средств; я один знаю ваше финансовое положение и готов представить вам отчет, как честный компаньон.

Баронесса, бледная, сраженная, слушала эту речь с ужасом и отчаянием, тогда как Дебрэ был совершенно спокоен и равнодушен.

– Покинута! – повторила она. – Вы правы, покинута!.. Никто не усомнится в моем одиночестве!

Это были единственные слова, которыми эта женщина, такая гордая и так страстно любящая, могла ответить Дебрэ.

– Но зато вы богаты, даже очень богаты, – продолжал он, вынимая из бумажника какие-то бумаги и раскладывая их на столе.

Госпожа Данглар молча смотрела, стараясь унять бьющееся сердце и удержать слезы, которые выступили у нее на глазах. Но, наконец, чувство собственного достоинства взяло верх; и если ей и не удалось унять биение сердца, то она не пролила ни одной слезы.

– Сударыня, – сказал Дебрэ, – мы с вами стали компаньонами почти полгода тому назад. Вы внесли сто тысяч франков. Это было в апреле текущего года.

В мае начались наши операции. В мае мы реализовали четыреста пятьдесят тысяч франков. В июне прибыль достигла девятисот тысяч. В июле мы прибавили к этому еще миллион семьсот тысяч франков; вы помните, это был месяц испанских бумаг.

В августе, в начале месяца, мы потеряли триста тысяч франков; но к пятнадцатому числу мы отыгрались, а в конце месяца взяли реванш; я подвел итог нашим операциям с мая по вчерашний день. Мы имеем актив в два миллиона четыреста тысяч франков, – то есть миллион двести тысяч на долю каждого.

– Затем, – продолжал Дебрэ, перелистывая свою записную книжку с методичностью и спокойствием биржевого маклера, – мы имеем восемьдесят тысяч франков сложных процентов на эту сумму, оставшуюся у меня на руках.

– Но откуда эти проценты? – перебила баронесса. – Ведь вы никогда не пускали эти деньги в оборот.

– Прошу прощения, сударыня, – холодно сказал Дебрэ, – я имел от вас полномочия пустить их в оборот, и я воспользовался этим.

Итак, на вашу долю приходится сорок тысяч франков процентов, да еще первоначальный взнос в сто тысяч франков, – иначе говоря, миллион триста сорок тысяч франков. При этом, сударыня, всего лишь третьего дня я позаботился обратить вашу долю в деньги; видите, я словно предчувствовал, что мне придется неожиданно дать вам отчет.

Деньги ваши здесь: половина кредитными билетами, половина чеками на предъявителя. Они именно здесь: мой дом казался мне недостаточно надежным, и я считал, что нотариусы не

умеют молчать, а недвижимость кричит еще громче, чем нотариусы; наконец, вы не имеете права ничем владеть, помимо имущества, принадлежащего вам сообща с вашим супругом; вот почему я хранил эту сумму – отныне единственное ваше богатство – в тайнике, вделанном в этот шкаф; для большей верности я сделал его собственноручно.

– Итак, сударыня, – продолжал Дебрэ, отпирая сначала шкаф, затем тайник, – вот восемьсот тысячефранковых билетов; видите, они переплетены, как толстый альбом; я присоединяю к нему купон ренты в двадцать пять тысяч франков; остается около ста десяти тысяч франков, – вот чек на предъявителя на моего банкира; а так как мой банкир не Данглар, то можете быть спокойны; чек будет оплачен.

Госпожа Данглар машинально взяла чек на предъявителя, купон ренты и пачку кредитных билетов.

Разложенное здесь, на столе, это огромное богатство казалось просто кучкой ничтожных бумажек.

Госпожа Данглар, с сухими глазами, подавляя рыдания, положила альбом в ридикюль, спрятала купон ренты и чек в свой кошелек и, бледная, безмолвная, ждала ласкового слова, которое утешило бы ее в том, что она так богата.

Но она ждала напрасно.

– Теперь, сударыня, – сказал Дебрэ, – вы прекрасно обеспечены, у вас что-то около шестидесяти тысяч ливров годового дохода – сумма, огромная для женщины, которой нельзя будет жить открыто еще по меньшей мере год.

Вы можете позволить себе любую прихоть, какая придет вам в голову; к тому же, если ваша доля покажется вам недостаточной по сравнению с тем, чего вы лишились, вы можете обратиться к моей доле, сударыня, и я готов вам предложить, – взаимобразно, разумеется, – все, что я имею, то есть миллион шестьдесят тысяч франков.

– Благодарю вас, сударь, – отвечала баронесса, – вы сами понимаете, что моя доля – это гораздо больше, чем нужно несчастной женщине, которая уже не рассчитывает – во всяком случае на долгое время – появляться в обществе.

Дебрэ удивился, но овладел собой и сделал жест, который можно было истолковать как наиболее вежливое выражение мысли:

«Как угодно!»

Госпожа Данглар, быть может, все еще на что-то надеялась, но когда она увидела этот беспечный жест и уклончивый взгляд Дебрэ, а также глубокий поклон и многозначительное молчание, которые затем последовали, она подняла голову, отворила дверь и без гнева, без содрогания, но и не колеблясь, бросилась на лестницу, даже не кивнув тому, кто давал ей так уйти.

– Пустяки! – сказал Дебрэ, когда она ушла. – Все это одни разговоры; она останется в своем доме, будет читать романы и играть в ландскнехт, раз уже не может играть на бирже.

И, взяв опять свою записную книжку, он принялся старательно вычеркивать суммы, которые он выплатил.

– Мне остается миллион шестьдесят тысяч франков, – сказал он. – Как жаль, что умерла мадемуазель де Вильфор! Это была бы для меня во всех отношениях подходящая жена.

И флегматично, как всегда, он стал ждать, пока после ухода г-жи Данглар пройдет двадцать минут, чтобы выйти самому.

В течение этих двадцати минут Дебрэ производил подсчеты, положив часы перед собой.

Любопытный бес, которого всякое безудержное воображение создало бы более или менее удачно, если бы Лесаж не завоевал первенства своим шедевром, – Асмодей, подымающий кровли домов, чтобы заглянуть внутрь, – увидел бы занимательное зрелище, если бы в ту минуту, когда Дебрэ производил свои подсчеты, он снял крышу скромного дома на улице Сен-Жермен-де-Пре.

Над той комнатой, где Дебрэ поделил с г-жой Данглар два с половиною миллиона, была другая комната, обитатели которой тоже нам знакомы и заслуживают нашего внимания.

В этой комнате находились Мерседес и Альбер.

Мерседес сильно изменилась за последние дни; не потому, чтобы во времена своего богатства она окружала себя кичливой пышностью и стала неузнаваема, как только приняла более скромный облик; и не потому, чтобы она дошла до такой бедности, когда приходится облекаться в наряд нищеты; нет, Мерседес изменилась потому, что взгляд ее померк, и губы

больше не улыбались, потому что неотступная гнетущая мысль владела ее некогда столь живым умом и лишала ее речь былого блеска.

Не бедность притупила ум Мерседес; не потому, что она была малодушна, тяготила ее эта бедность. Покинув привычную сферу, Мерседес затерялась в чуждой среде, которую сама избрала, как человек, который, выйдя из ярко освещенной залы, вдруг попадает во мрак. Она казалась королевой, которая переселилась из дворца в хижину и не узнает самое себя, глядя на тюфяк, заменяющий ей пышное ложе, и на глиняный кувшин, который сама должна ставить на стол.

Прекрасная каталанка, или, если угодно, благородная графиня, утратила свой гордый взгляд и прелестную улыбку, потому что видела вокруг только унылые предметы: стены, оклеенные серыми обоями, которые обычно предпочитают расчетливые хозяева, как наименее маркие; голый каменный пол; аляповатую мебель, режущую глаз своей убогой роскошью; словом – все то, что оскорбляет взор, привыкший к изяществу и гармонии.

Госпожа де Морсер жила здесь с тех пор, как покинула свой дом; у нее кружилась голова от этой вечной тишины, как у путника, подошедшего к краю пропасти; она заметила, что Альбер то и дело украдкой смотрит на нее, стараясь прочесть ее мысли, и научилась улыбаться одними губами, и эта застывшая улыбка, не озаренная нежным сиянием глаз, походила на отраженный свет, лишенный живительного тепла.

Альбер тоже был подавлен и смущен; его тяготили остатки роскоши, которые мешали ему освоиться с его новым положением; он хотел бы выйти из дому без перчаток, но его руки были слишком белы; он хотел бы ходить пешком, но его башмаки слишком ярко блестели.

И всё же эти два благородных и умных существа, неразрывно связанные узами материнской и сыновней любви, понимали друг друга без слов и могли обойтись без околичностей, неизбежных даже между близкими друзьями, когда речь идет о материальной основе нашей жизни.

Словом, Альбер мог сказать своей матери, не испугав ее:

– Матушка, у нас нет больше денег.

Мерседес никогда не знала подлинной нищеты; в молодости она часто называла себя бедной; но это не одно и то же: нужда и нищета – синонимы, между которыми целая пропасть.

В Каталанах Мерседес нуждалась в очень многом, но очень много у нее было. Сети были целы – рыба ловилась; а ловилась рыба – были нитки, чтобы чинить сети.

Когда нет близких, а есть только любовь, которая никак не касается житейских мелочей, думаешь только о себе и отвечаешь только за себя.

Тем немногим, что у нее было, Мерседес делилась щедро со всеми, теперь у нее не было ничего, а приходилось думать о двоих.

Близилась зима; у графини де Морсер калорифер с сотнями труб согревал дом от передней до будуара; теперь Мерседес нечем было развести огонь в этой неудобной и уже холодной комнате; ее покои утопали в редкостных цветах, ценившихся на вес золота, – а теперь у нее не было даже самого жалкого цветочка.

Но у нее был сын...

Пафос отречения, быть может, чрезмерный, до сих пор возвышал их над прозой жизни.

Пафос – это почти экзальтация; а экзальтация возносит душу над всем земным.

Но экзальтация первого порыва угасла, и мало-помалу пришлось спуститься из страны грез в мир действительности.

После многих бесед об идеальном настало время поговорить о житейском.

– Матушка, – говорил Альбер в ту самую минуту, когда г-жа Данглар спускалась по лестнице, – подсчитаем наши средства, я должен знать итог, чтобы составить план действий.

– Итог: нуль, – сказала Мерседес с горькой улыбкой.

– Нет, матушка. Итог – три тысячи франков, и на эти три тысячи я намерен прекрасно устроиться.

– Дитя! – вздохнула Мерседес.

– Дорогая матушка, – сказал Альбер, – к сожалению, я истратил достаточно ваших денег, чтобы знать им цену. Три тысячи франков – это колоссальная сумма, и я построил на ней волшебное здание вечного благополучия.

– Ты шутишь, мой друг. И разве мы принимаем эти три тысячи франков? – спросила Мерседес, краснея.

– Но ведь это уже решено, мне кажется, – сказал Альбер твердо, – мы их принимаем, тем более что у нас их пет, потому что, как вам известно, они зарыты в саду маленького дома, на Мельянских аллеях в Марселе. На двести франков мы с вами поедем в Марсель.

– На двести франков! – сказала Мерседес. – Что ты говоришь, Альбер!

– Да, я навел справки и на почтовой станции, и в паровой конторе и произвел подсчет. Вы заказываете себе место до Шалона в почтовой карете; видите, матушка, вы будете путешествовать, как королева.

Альбер взял перо и написал:

Карета	35 фр.
Пароход от Шалона до Лиона . .	6
Пароход от Лиона до Авиньона .	16
От Авиньона до Марселя	7
Дорожные расходы	50
Итого	<hr/> 114 фр.

– Положим, сто двадцать, – добавил Альбер, улыбаясь – Какой я щедрый, правда, матушка?

– А ты, бедный мальчик?

– Я? Вы же видите, я оставил себе восемьдесят франков. Молодой человек не нуждается в стольких удобствах; к тому же я опытный путешественник.

– В собственной карете и с лакеем.

– Всеми способами, матушка.

– Хорошо, – сказала Мерседес? – но где взять двести франков?

– Вот они, а вот и еще двести. Я продал часы за сто франков и брелоки за триста. Подумайте только! Брелоки оказались втрое дороже часов. Старая история: излишества всегда стоят дороже всего! Теперь мы богаты: вместо ста четырнадцати франков, которые вам нужны на дорогу, у нас двести пятьдесят.

– Но здесь тоже нужно заплатить?

– Тридцать франков, но я их плачу из моих ста пятидесяти. Это решено И так как мне в сущности нужно на дорогу только восемьдесят франков, то я просто утопаю в роскоши. Но это еще не все. Что вы на это скажете, матушка?

И Альбер вынул из записной книжечки с золотой застежкой – давняя прихоть, или, быть может, нежное воспоминание об одной из таинственных незнакомок под вуалью, что стучались у маленькой двери, – Альбер вынул из записной книжечки тысячефранковый билет.

– Что это? – спросила Мерседес.

– Тысяча франков, матушка. Самая настоящая.

– Но откуда они у тебя?

– Выслушайте меня, матушка, и не волнуйтесь.

И Альбер, подойдя к матери, поцеловал ее в обе щеки; потом отстранился и поглядел на нее.

– Вы даже не знаете, матушка, какая вы красавица! – произнес он с глубоким чувством сыновней любви. – Вы самая прекрасная, самая благородная женщина на свете!

– Дорогой мальчик! – сказала Мерседес, тщетно стараясь удержать слезу, повисшую у нее на ресницах.

– Честное слово, вам оставалось только стать несчастной, чтобы моя любовь превратилась в обожание.

– Я не несчастна, пока у меня есть сын, – сказала Мерседес, – и не буду несчастной, пока он со мной.

– Да, – сказал Альбер, – но в том-то и дело. Вы помните, что мы решили?

– Разве мы решили что-нибудь? – спросила Мерседес.

– Да, мы решили, что вы поселитесь в Марселе, а я уеду в Африку, где, вместо имени, от которого я отказался, я заслужу имя, которое я принял.

Мерседес вздохнула.

– Со вчерашнего дня я зачислен в спаги, – добавил Альбер, пристыженно опуская глаза, ибо он сам не знал, сколько доблести было в его унижении, – я решил, что мое тело принадлежит мне и что я могу его продать; со вчерашнего дня я заменяю другого. Я, что

называется, проданся, и притом, – добавил он, пытаюсь улыбнуться, – по-моему, дороже, чем я стою: за две тысячи франков.

– И эта тысяча?.. – сказала, вздрогнув, Мерседес.

– Это половина суммы; остальное я получу через год.

Мерседес подняла глаза к небу с выражением, которого никакие слова не могли бы передать, и две слезы медленно скатились по ее щекам.

– Цена его крови! – прошептала она.

– Да, если меня убьют, – сказал, смеясь, Альбер. – Но уверяю вас, матушка, что я намерен яростно защищать свою жизнь; никогда еще мне так не хотелось жить, как теперь.

– Боже мой! – вздохнула Мерседес.

– И потом, почему вы думаете, что я буду убит? Разве Ламорсьер, этот южный Ней, убит? Разве Шангарнье убит? Разве Бедо убит? Разве Моррель, которого мы знаем, убит? Подумайте, как вы обрадуетесь, матушка, когда я к вам явлюсь в расшитом мундире! Имейте в виду, я рассчитываю быть неотразимым в этой форме, я выбрал полк спаги из чистого щегольства.

Мерседес вздохнула, пытаюсь все же улыбнуться: эта святая женщина терзалась тем, что ее сын принял на себя всю тяжесть жертвы.

– Итак, матушка, – продолжал Альбер, – у вас уже есть верных четыре с лишним тысячи франков; на эти четыре тысячи вы будете жить безбедно два года.

– Ты думаешь? – сказала Мерседес.

Эти слова вырвались у нее с такой неподдельной болью, что их истинный смысл не ускользнул от Альбера; сердце его сжалось, и он нежно взял руку матери в свои.

– Да, вы будете жить! – сказал он.

– Я буду жить, – воскликнула Мерседес, – но ты не уедешь, Альбер?

– Уеду, матушка, – сказал Альбер, спокойным и твердым голосом, – вы слишком любите меня, чтобы заставить меня вести подле вас праздную и бесполезную жизнь. К тому же я уже подписал контракт.

– Ты поступишь согласно своей воле, мой сын, а я – согласно воле божией.

– Нет, не согласно моей воле, матушка, но согласно разуму и необходимости. Мы оба узнали, что такое отчаяние. Что теперь для вас жизнь? Ничто. Что такое жизнь для меня? Поверьте, матушка, безделица, не будь вас; ибо, клянусь, не будь вас, эта жизнь оборвалась бы в тот день, когда я усомнился в своем отце и отрекся от его имени! И все же, я буду жить, если вы обещаете мне надеяться; а если вы поручите мне заботу о вашем будущем счастье, то это удвоит мои силы. Тогда я пойду к алжирскому губернатору – это честный человек, настоящий солдат, – я расскажу ему свою печальную повесть, попрошу его время от времени посматривать в мою сторону, и, если он сдержит слово, если он увидит, чего я стою, то либо я через полгода вернусь офицером, либо не вернусь вовсе. Если я вернусь офицером – ваше будущее обеспечено, матушка, потому что у меня хватит денег для нас обоих; к тому же мы оба будем гордиться моим новым именем, потому что это ваше настоящее имя. Если я не вернусь... тогда, матушка, вы расстанетесь с жизнью, если не захотите жить, и тогда наши несчастья кончатся сами собой.

– Хорошо, – отвечала Мерседес, – ты прав, мой сын, докажем людям, которые смотрят на нас и подстерегают наши поступки, чтобы судить нас, докажем им, что мы достойны сожаления.

– Отгоните мрачные мысли, матушка! – воскликнул Альбер. – Поверьте, мы счастливы, во всяком случае можем быть счастливы. Вы мудрая и кроткая; я стал неприхотлив и, надеюсь, благоразумен. Я на службе, – значит, я богат; вы в доме господина Дантеса, – значит, вы найдете покой. Попытаемся, матушка, прошу вас!

– Да, попытаемся, потому что ты должен жить, мой сын. Ты должен быть счастлив, – отвечала Мерседес.

– Итак, матушка, наш дележ окончен, – с напускной непринужденностью сказал Альбер. – Мы можем сегодня же уехать. Я закажу вам место.

– А себе?

– Мне еще нужно остаться дня на два, на три; это начало разлуки, нам надо к ней привыкнуть. Мне необходимо получить рекомендации, навести справки относительно Алжира; я догоню вас в Марселе.

– Хорошо, едем! – сказала Мерседес, накинув на плечи единственную шаль, которую она взяла с собой и которая случайно оказалась очень дорогой шалью из черного кашемира. – Едем!

Альбер наскоро собрал свои бумаги, позвал хозяина, заплатил ему тридцать франков, подал матери руку и вышел с ней на лестницу.

Впереди них кто-то спускался, он услышал шуршание шелкового платья о перила и обернулся.

– Дебрэ! – прошептал Альбер.

– Морсер, вы? – сказал секретарь министра, останавливаясь.

Любопытство взяло у Дебрэ верх над желанием сохранить инкогнито; к тому же его и так узнали. В самом деле забавно было встретить в этом никому неизвестном меблированном доме человека, чья несчастная участь наделала столько шума в Париже.

– Морсер! – повторил Дебрэ.

Но, заметив в полутьме лестницы еще стройную фигуру г-жи де Морсер, закутанную в шаль, он добавил с улыбкой:

– Ах, простите, Альбер! Не смею мешать вам.

Альбер понял мысль Дебрэ.

– Матушка, – сказал он, обращаясь к Мерседес, – это господин Дебрэ, секретарь министра внутренних дел, мой бывший друг.

– Почему бывший? – пролепетал Дебрэ. – Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, господин Дебрэ, – продолжал Альбер, – что у меня больше нет друзей, и я не должен их иметь. Я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и узнали меня.

Дебрэ поднялся на две ступени и крепко пожал руку Альбера.

– Поверьте, дорогой, – сказал он со всей теплотой, на какую был способен, – я глубоко сочувствую постигнутому вас горю и я всегда в вашем распоряжении.

– Благодарю вас, сударь, – сказал, улыбаясь, Альбер, – но в нашем несчастье мы еще достаточно богаты, чтобы ни к кому не обращаться за помощью, мы покидаем Париж, и после всех дорожных расходов у нас еще останется пять тысяч франков.

Дебрэ покраснел, потому что у него в бумажнике лежал миллион; и, как ни был чужд поэзии его трезвый ум, он невольно подумал, что в одном и том же доме, еще недавно, находились две женщины, из которых одна, заслуженно опозоренная, уходила нищей, унося под своей накидкой полтора миллиона, тогда как другая, несправедливо униженная, но величественная в своем несчастье, обладая жалкими грошами, чувствовала себя богатой.

Это сравнение заставило его забыть о своих рыцарских побуждениях, – наглядность примера сразила его; он пробормотал несколько общих фраз и быстро спустился по лестнице.

В этот день чиновники министерства, его подчиненные, немало натерпелись из-за его дурного настроения.

Но зато вечером он стал владельцем прекрасного дома на Бульваре Мадлен, приносящего пятьдесят тысяч ливров дохода.

На другой день, в пять часов вечера, когда Дебрэ подписывал купчую, г-жа де Морсер, обменявшись нежным поцелуем с сыном, села в почтовый дилижанс.

На антресолях почтового двора Лаффит, за одним из полукруглых окон, стоял человек; он видел, как Мерседес садилась в карету, видел, как отъехал дилижанс, видел, как удалялся Альбер.

Тогда он провел рукой по отягченному сомнениями челу и сказал:

– Как мне возратить этим двум невинным то счастье, которое я у них отнял? Бог мне поможет!

Х. Львиный ров

Одно из отделений тюрьмы Ла-Форс, то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется отделением св. Бернара.

Обитатели тюрьмы, на своем образном языке, прозвали его Львиным ровом – вероятно потому, что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей.

Это тюрьма в тюрьме. Стены здесь двойной толщины; каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки, а по геркулесову сложению, по холодному, пронизательному

взгляду сторожей видно, что здесь подбирали таких людей, которые могли бы управлять своими подданными, держа их в страхе и повиновении.

Двор отделения окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные, как тени, люди, над которыми занесен меч правосудия.

По двое, по трое, а чаще в одиночестве стоят они или сидят, прислонясь к той стене, которую больше всего согревает солнце, и то и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища или же когда швыряют в эту яму новый кусок окалины, извергнутый горнилом, именуемым обществом.

Отделение св. Бернара имеет свою особую приемную, это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками, расположенными параллельно в трех футах одна от другой, чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что-нибудь ему передать. Эта приемная темна, сыра и во всех отношениях отвратительна – особенно если подумать о тех страшных признаниях, которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчиной их железные прутья.

А между тем это место, как оно ни ужасно, – это рай, где могут снова насладиться желанным обществом близких людей, чьи дни сочтены; ибо из Львиного рва выходят лишь для того, чтобы отправиться к заставе Сен-Жак, или на каторгу, или в одиночную камеру.

По описанному нами сырому, холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели Рва поглядывали с большим любопытством.

Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях; тонкое, шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид.

С таким же старанием застегивал он батистовую рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме, и проводил по лакированным башмакам кончиком носового платка, на котором были вышиты инициалы, увенчанные короной.

Несколько обитателей Львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот арестант приводил в порядок свой туалет.

– Смотри, князь прихорашивается, – сказал один из воров.

– Он и без того очень хорош, – отвечал другой, – будь у него гребень и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках.

– Его фрак был, как видно, новехонек, а башмаки так и блестят. Даже лестно, что к нам такая птица залетела; а наши жандармы – сущие разбойники. Изорвать такой наряд!

– Говорят, он прожженный, – сказал третий. – Пустыками не занимался... Такой молодой и уже из Тулона! Не шутка!

А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался отзвуками этих похвал, хотя самих слов он разобрать не мог.

Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож.

– Послушайте, сударь, – сказал он, – ссудите меня двадцатью франками, я вам их скоро верну; вы ничем не рискуете – ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей... Ну, пожалуйста. С двадцатью франками я смогу перейти на платную половину и купить себе халат. Мне страшно неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти!

Сторож пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили; этот человек и не того наслушался, – вернее, он слышал всегда одно и то же.

– Вы бездушный человек, – сказал Андреа, – Погодите, вы у меня дождетесь, вас выгонят.

Сторож обернулся и на этот раз громко расхохотался.

Арестанты подошли и обступили их.

– Говорю вам, – продолжал Андреа, – на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату; мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день.

– Верно! верно! – заговорили заключенные. – Сразу видно, что он из благородных.

– Вот и дайте ему двадцать франков, – сказал сторож, прислонясь к стене другим своим широчайшим плечом. – Разве вы не обязаны сделать это для товарища?

– Я не товарищ этим людям, – гордо сказал Андреа, – вы не имеете права оскорблять меня.

Арестанты переглянулись и глухо заворчали; буря, вызванная не столько словами Андреа, сколько замечанием сторожа, начала собираться над головой аристократа.

Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она чересчур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого просителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство.

Арестанты уже подступали к Андреа; иные говорили:

– Дать ему башмака!

Эта жестокая шутка заключается в том, что товарища, впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом.

Другие предлагали выюн, – еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медяками, когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом, по плечам и по голове.

– Выпорем этого франта! – раздавались голоса. – Выпорем его благородие!

Но Андреа повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком, – знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать.

Это был масонский знак, которому его научил Кадрусс.

Арестанты узнали своего.

Тотчас же платки опустились; подкованный сапог вернулся на ногу к главному палачу. Раздались голоса, заявляющие, что этот господин прав, что он может держать себя, как ему заблагорассудится, и что заключенные хотят показать пример свободы совести.

Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас же схватил Андреа за руки и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей Львиного рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние.

Андреа ворчал, но не сопротивлялся.

Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя:

– Бенедетто!

Сторож выпустил свою добычу.

– Меня зовут! – сказал Андреа.

– В приемную! – крикнул надзиратель.

– Вот видите, ко мне пришли. Вы еще узнаете, милейший, можно ли обращаться с Кавальканти, как с простым смертным!

И Андреа, промелькнув по двору, как черная тень, бросился в полуоткрытую дверь, оставив своих товарищей и самого сторожа в восхищении.

Его в самом деле звали в приемную, и этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андреа, потому что из осторожности, попав в тюрьму Ла-Форс, он вместо того чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание.

«У меня, несомненно, есть могущественный покровитель, – рассуждал он. – Все говорит за это: внезапное счастье, легкость, с которой я преодолел все препятствия, неожиданно найденный отец, громкое имя, золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала. Случайная неудача, отлучка моего покровителя погубили меня, но не бесповоротно. Благотельная рука отстранилась на минуту; она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться. У него есть два способа прийти мне на помощь: тайный побег, купленный ценою золота, и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания. Подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми покинут, а тогда...»

У Андреа уже готов был хитроумный план: негодяй умел бесстрашно нападать и стойко защищаться.

Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или, вернее, привычка, взяла верх. Андреа страдал оттого, что он голый, грязный, голодный; его терпение истощалось.

Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную.

У Андреа радостно забилося сердце. Для следователя это было слишком рано, а для начальника тюрьмы или доктора – слишком поздно; значит, это был долгожданный посетитель.

За решеткой приемной, куда ввели Андреа, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертуччо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями.

– Кто это? – с испугом воскликнул Андреа.

– Здравствуй, Бенедетто, – сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом.

– Вы, вы! – отвечал молодой человек, в ужасе озираясь.

– Ты меня не узнаешь, несчастный? – спросил Бертуччо.

– Молчите! Да молчите же! – сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. – Ради бога, не говорите так громко!

– Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз? – спросил Бертуччо.

– Да, да, – сказал Андреа.

– Хорошо.

И Бертуччо, порывшись в кармане, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью.

– Прочтите! – сказал он.

– Что это? – спросил Андреа.

– Приказ отвести тебе отдельную комнату и разрешение мне видаться с тобой.

Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе:

«Опять загадочный покровитель! Меня не забывают! Тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате. Они у меня в руках... Бертуччо послан моим покровителем!»

– Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходящую окнами во двор.

Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, выглядела довольно веселой и показалась узнику ослепительной; печь, кровать, стул и стол составляли пышное ее убранство.

Бертуччо сел на стул, Андреа бросился на кровать.

Сторож удалился.

– Что ты мне хотел сказать? – спросил управляющий графа Монте-Кристо.

– А вы? – спросил Андреа.

– Говори сначала ты.

– Нет уж, – начинайте вы, раз вы пришли ко мне.

– Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления: ты украл, ты убил.

– Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне это, то не стоило трудиться. Все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом и поговорим, если позволите. Кто вас прислал?

– Однако вы торопитесь, господин Бенедетто!

– Да, я иду прямо к цели. Главное, без лишних слов. Кто вас прислал?

– Никто.

– Как вы узнали, что я в тюрьме?

– Я давно тебя узнал в блестящем наглице, который так ловко правил тильбюри на Елисейских Полях.

– На Елисейских Полях!.. Ага, «горячо», как говорят в детской игре!.. На Елисейских Полях!.. Так, так; поговорим о моем отце, хотите?

– А я кто же?

– Вы, почтеннейший, вы мой приемный отец... Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение сто тысяч франков, которые я промотал в пять месяцев; не вы смастерили мне знатного итальянского родителя; не вы ввели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут. Помните, в Отейле, где было лучшее общество Парижа и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомства, а мне оно было бы теперь весьма полезно; не вы ручались за меня на два миллиона, перед тем как я имел несчастье быть выведенным на чистую воду... Говорите, уважаемый корсиканец, говорите...

– Что ты хочешь, чтобы я сказал?

– Я тебе помогу. Ты только что говорил об Елисейских Полях, мой почтенный отец-кормилец.

– Ну, и что же?

– А то, что на Елисейских Полях живет один господин, очень и очень богатый.

– В доме которого ты украл и убил?

- Кажется, да.
- Граф Монте-Кристо?
- Ты сам его назвал, как говорит Расин... Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и воскликнуть, как Пиксерекур: «Отец! отец!»
- Не шути, – строго ответил Бертуччо, – пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести.
- Вот как! – сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Бертуччо.
- А почему бы и нет?
- Потому что тот, кто носит это имя, благословен небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты.
- Какие грозные слова...
- И грозные дела, если ты не поостережешься.
- Запугиваете? Я не боюсь... я скажу...
- Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с мелюзгой, вроде тебя? – сказал Бертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул. – Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или с доверчивыми светскими простаками?.. Бенедетто, ты в могущественной руке; рука эта согласна отпустить тебя, воспользуйся этим. Не играй с молниями, которые она на миг отложила, но может снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерениям.
- Кто мой отец?.. Я хочу знать, кто мой отец?.. – упрямо повторил Андреа. – Я погибну, но узнаю. Что для меня скандал? Только выгода... известность... реклама, как говорит журналист Бошан. А вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и гербы... Итак, кто мой отец?
- Я пришел, чтобы назвать тебе его.
- Наконец-то! – воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости.
- Но тут дверь отворилась и вошел тюремщик.
- Простите, сударь, – сказал он, обращаясь к Бертуччо, – но заключенного ждет следователь.
- Сегодня последний допрос, – сказал Андреа управляющему. – Вот досада!
- Я приду завтра, – отвечал Бертуччо.
- Хорошо, – сказал Андреа. – Господа жандармы, я в вашем распоряжении... Пожалуйста, сударь, оставьте десяток экю в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь.
- Будет сделано, – отвечал Бертуччо.
- Андреа протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами.
- Я это и имел в виду, – с кривой улыбкой заметил Андреа, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо.
- «Неужели я ошибся? – подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют «корзинкой для салата». – Увидим!»
- Прощайте, сударь, – сказал он, обращаясь к Бертуччо.
- До завтра! – ответил управляющий.

XI. Судья

Читатели, наверное, помнят, что аббат Бузони остался вдвоем с Нуартье в комнате Валентины и что старик и священник одни бодрствовали подле умершей.

Быть может, христианские увещания аббата, его проникновенное милосердие, его убедительные речи вернули старику мужество: после того, как священник поговорил с ним, в Нуартье вместо прежнего отчаяния появилось какое-то бесконечное смирение, странное спокойствие, немало удивлявшее тех, кто помнил его глубокою привязанностью к Валентине.

Вильфор не видел старика со дня смерти дочери. Весь дом был обновлен: для королевского прокурора был нанят другой лакей, для Нуартье – другой слуга; в услужение к г-же де Вильфор поступили две новые горничные; все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди; они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения, существовавшие между ними. К тому же сессия суда открывалась через три дня, и Вильфор, запершись у себя в кабинете, лихорадочно и неутомимо подготавливал обвинение против убийцы Кадрусса. Это дело, как и все, к чему имел отношение граф Монте-

Кристо, наделало много шума в Париже. Улики не были бесспорны: они сводились к нескольким словам, написанным умирающим каторжником, бывшим товарищем обвиняемого, которого он мог оговорить из ненависти или из мести; уверенность была только в сердце королевского прокурора; он пришел к внутреннему убеждению, что Бенедетто виновен, и надеялся, что эта трудная победа принесет ему радость удовлетворенного самолюбия, которая одна еще сколько-нибудь оживляла его оледеневшую душу.

Следствие подходило к концу благодаря неустанной работе Вильфора, который хотел этим процессом открыть предстоящую сессию; и ему приходилось уединяться более, чем когда-либо, чтобы уклониться от бесчисленных просьб о билетах на заседание.

Кроме того, прошло еще так мало времени с тех пор, как бедную Валентину опустили в могилу, скорбь в доме была еще так свежа, что никого не удивляло, если отец так сурово отдавался исполнению долга, который помогал ему забыть свое горе.

Один лишь раз, на следующий день после того, как Бертуччо вторично пришел к Бенедетто, чтобы назвать ему имя его отца, в воскресенье, Вильфор увидел мельком старика Нуартье; утомленный работой, Вильфор вышел в сад и, мрачный, согбенный под тяжестью «неотступной думы, подобно Тарквинию, сбивающему палкой самые высокие маковые головки, сбивал своей тростью длинные увядающие стебли шток-роз, возвышавшиеся вдоль аллей, словно призраки прекрасных цветов, благоухавших здесь летом.

Уже несколько раз доходил он до конца сада, до памятных читателю ворот у пустыющего огорода, и возвращался тем же шагом все по той же аллее, как вдруг его глаза невольно обратились к дому, где шумно резвился его сын.

И вот в одном из открытых окон он увидел Нуартье, который велел подкатить свое кресло к этому окну, чтобы погреться в последних лучах еще теплого солнца: мягкий свет заката озарял умирающие цветы вьюнков и багряные листья дикого винограда, вьющегося по балкону.

Взгляд старика был прикован к чему-то, чего Вильфор не мог разглядеть. Этот взгляд был полон такой иступленной ненависти, горел таким нетерпением, что королевский прокурор, умевший схватывать все выражения этого лица, которое он так хорошо знал, отошел, в сторону, чтобы посмотреть, на кого направлен этот уничтожающий взгляд.

Тогда он увидел под липами с почти уже обнаженными ветвями г-жу де Вильфор, сидевшую с книгой в руках; время от времени она прерывала чтение, чтобы улыбнуться сыну или бросить ему обратно резиновый мячик, который он упрямо кидал из гостиной в сад.

Вильфор побледнел – он знал, чего хочет старик.

Вдруг взгляд Нуартье перенесся на сына, и Вильфору самому пришлось выдержать натиск этого огненного взора, который, переменив направление, говорил уже о другом, но столь же грозно.

Госпожа де Вильфор, не ведая о перекрестном огне взглядов над ее головой, только что поймала мячик и знаками подзывала сына прийти за ним, а заодно и за поцелуем; но Эдуард заставил себя долго упрашивать, потому что материнская ласка казалась ему, вероятно, недостаточной наградой за труды; наконец он уступил, выпрыгнул в окно прямо на клумбу гелиотропов и китайских астр и подбежал к г-же де Вильфор. Г-жа де Вильфор поцеловала его в лоб, и ребенок, с мячиком в одной руке и пригоршней конфет в другой, побежал обратно.

Вильфор, повинувшись неодолимой силе, словно птица, замороженная взглядом змеи, направился к дому; по мере того как он приближался, глаза Нуартье опускались, следя за ним, и огонь его зрачков словно жег самое сердце Вильфора. В этом взгляде он читал жестокий укор и беспощадную угрозу. И вот Нуартье медленно поднял глаза к небу, словно напоминая сыну о забытой клятве.

– Знаю, сударь, – ответил Вильфор. – Потерпите. Потерпите, еще один день; я помню свое обещание.

Эти слова, видимо, успокоили Нуартье, и он отвел взгляд.

Вильфор порывисто расстегнул душивший его ворот, провел дрожащей рукой по лбу и вернулся в свой кабинет.

Ночь прошла, как обычно, все в доме спали; один Вильфор, как всегда, не ложился и работал до пяти часов утра, просматривая последние допросы, снятые накануне следователями, сопоставляя показания свидетелей и внося еще больше ясности в свой обвинительный акт, один из самых убедительных и блестящих, какие он когда-либо составлял.

Наутро, в понедельник, должно было состояться первое заседание сессии. Вильфор видел, как забрезжило это утро, бледное и зловещее, и в его голубоватом свете на бумаге заалели

строки, написанные красными чернилами. Королевский прокурор прилег на несколько минут; лампа догорала; он проснулся от ее потрескивания и заметил, что пальцы его влажны и красны, словно обжаренные кровью.

Он открыл окно; длинная оранжевая полоса пересекала небо и словно разрезала пополам стройные тополя, выступавшие черными силуэтами на горизонте. Над заброшенным огородом, по ту сторону ворот, высоко взлетел жаворонок и залился звонкой утренней песней.

На Вильфора пахло утренней прохладой, и мысли его прояснились.

– День суда настал, – сказал он с усилием, – сегодня меч правосудия поразит всех виновных.

Его взгляд невольно обратился к окну Нуартье, к тому окну, где он накануне видел старика.

Штора была спущена.

И все же образ отца был для него так жив, что он обратился к этому темному окну, словно оно было отворено и из него смотрел грозный старик.

– Да, – прошептал он, – да, будь спокоен!

Опустив голову, он несколько раз прошелся по кабинету, потом, не раздеваясь, бросился на диван – не столько чтобы уснуть, сколько чтобы дать отдых телу, окоченевшему от усталости и от бессонной ночи за письменным столом.

Понемногу все в доме проснулись; Вильфор из своего кабинета слышал, один за другим, привычные звуки, из которых складывается повседневная жизнь: хлопанье дверей, дребезжанье колокольчика г-жи де Вильфор, зовущей горничную, первые возгласы Эдуарда, который пробудился радостный и веселый, как пробуждаются в его годы.

Вильфор в свою очередь тоже позвонил. Новый камердинер вошел и подал газеты.

Вместе с газетами он принес чашку шоколада.

– Что это? – спросил Вильфор.

– Шоколад.

– Я не просил. Кто это позаботился обо мне?

– Госпожа де Вильфор. Она сказала, что вам надо подкрепиться, потому что сегодня слушается дело убийцы Бенедетто и вы будете много говорить.

И камердинер поставил на стол у дивана, как и остальные столы заваленный бумагами, золоченую чашку.

Затем он вышел.

Вильфор мрачно посмотрел на чашку, потом вдруг взял ее нервным движением и залпом выпил шоколад. Казалось, он надеялся, что этот напиток смертоносен, и призывал смерть, чтобы избавиться от долга, исполнить который для него было тяжелее, чем умереть. Затем он встал и принялся ходить по кабинету, с улыбкой; которая ужаснула бы того, кто ее увидел.

Шоколад оказался безвреден.

Когда настал час завтрака, Вильфор не вышел к столу.

Камердинер снова вошел в кабинет.

– Госпожа де Вильфор велела напомнить, что пробило одиннадцать часов и что заседание назначено в двенадцать...

– Ну, и что же? – сказал Вильфор.

– ...и спрашивает, поедет ли она вместе с вами?

– Куда?

– В суд.

– Зачем?

– Ваша супруга говорит, что ей очень хочется присутствовать на этом заседании.

– Ах, ей этого хочется! – сказал Вильфор зловещим тоном.

Камердинер отступил на шаг.

– Если вы желаете ехать один, я так передам, – сказал он.

Вильфор молчал, нервно царапая ногтями бледную щеку.

– Передайте госпоже де Вильфор, – ответил он наконец, – что я хочу с ней поговорить и прошу ее подождать меня у себя.

– Слушаю, сударь.

– А потом придете побрить меня.

– Сию минуту.

Камердинер вышел, потом вернулся, побрил Вильфора и одел во все черное.

Затем он доложил:

– Госпожа де Вильфор сказала, что она вас ждет.

– Я иду.

И Вильфор с папками под мышкой, с шляпой в руке направился к комнатам жены.

У дверей он остановился и отер пот со лба.

Затем он открыл дверь.

Госпожа де Вильфор сидела на оттоманке, нетерпеливо перелистывая журналы и брошюры, которые Эдуард рвал на куски, даже не давая матери их дочитать.

Она была готова к выезду; руки были в перчатках, шляпа лежала на кресле.

– А, вот и вы, – сказала она естественным и спокойным голосом. – Боже мой, до чего вы бледны! Вы опять работали всю ночь? Почему вы не пришли позавтракать с нами? Ну что же, берете вы меня с собой или я поеду одна с Эдуардом?

Госпожа де Вильфор, как мы видим, задала множество вопросов, но Вильфор стоял перед ней неподвижный, немой, как изваяние.

– Эдуард, – сказал он наконец, повелительно глядя на ребенка, – пойди поиграй в гостиной, мне нужно поговорить с твоей матерью.

Госпожа де Вильфор вздрогнула: холодная сдержанность мужа и его решительный тон испугали ее.

Эдуард поднял голову, посмотрел на мать и, видя, что она не подтверждает приказ Вильфора, продолжал резать головы своим оловянным солдатикам.

– Эдуард, – крикнул Вильфор так резко, что мальчик вскочил. – Ты слышишь? Ступай!

Ребенок, не привыкший к такому обращению, весь побледнел, трудно было бы сказать – от злости или от страха.

Отец подошел к нему, взял его за локоть и поцеловал в лоб.

– Иди, дитя мое, иди! – сказал он.

Эдуард вышел.

Вильфор подошел к двери и запер ее на задвижку.

– Боже мой, – сказала г-жа де Вильфор, стараясь прочесть мысли мужа; на губах ее появилось подобие улыбки, которая тотчас же застыла под бесстрастным взглядом Вильфора. – Боже мой, что случилось?

– Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь? – отчетливо и без всяких предисловий произнес королевский прокурор.

Госпожа де Вильфор вся затрепетала, точно жаворонок, над которым коршун суживает свои смертоносные круги.

Хриплый, надтреснутый звук – не крик и не вздох – вырвался из груди побледневшей до синевы г-жи де Вильфор.

– Я... я вас не понимаю, – тихо сказала она.

Она хотела встать, но силы изменили ей, и она снова упала на подушки оттоманки.

– Я вас спрашиваю, – продолжал Вильфор спокойным голосом, – где вы прячете яд, которым вы отравили моего тестя маркиза де Сен-Меран, мою тещу, Барруа и мою дочь Валентину.

– Что вы говорите, сударь? – воскликнула г-жа де Вильфор, ломая руки.

– Ваше дело не спрашивать, но отвечать.

– Мужу или судье? – пролепетала г-жа де Вильфор.

– Судье, сударыня!

Страшное зрелище являла эта женщина, смертельно бледная, трепещущая, с отчаянием во взоре.

– О сударь... – прошептала она.

И это было все.

– Вы мне не отвечаете, сударыня! – воскликнул грозный обличитель. Потом он добавил, с улыбкой, еще более ужасной, чем его гнев: – Правда, вы и не отпираетесь!

Она сделала движение.

– Да вы и не могли бы отрицать свою вину, – добавил Вильфор, простирая к ней руку, – вы совершили все эти преступления с беспримерным коварством, которое, однако, могло обмануть только пристрастных к вам людей. Начиная со смерти маркизы де Сен-Меран я уже знал, что в моем доме есть отравитель; д'Авриньи предупредил меня об этом; после смерти

Барруа, да простит меня бог, мои подозрения пали на ангела! Даже когда нет явного преступления, подозрение всегда тлеет в моей душе; но после смерти Валентины у меня уже не оставалось сомнений, сударыня, и не только у меня, но и у других; таким образом, ваше преступление, известное теперь двоим, подозреваемое многими, станет гласным; и, как я вам уже сказал, сударыня, с вами говорит теперь не муж, а судья!

Госпожа де Вильфор закрыла лицо руками.

– Не верьте внешним признакам, умоляю вас, – прошептала она.

– Неужели вы так малодушны? – воскликнул с презрением Вильфор. – Правда, я всегда замечал, что отравители малодушны. Ведь у вас хватило мужества видеть, как умирали два старика и невинная девушка, отравленные вами?

– Сударь!

– Неужели вы так малодушны? – продолжал Вильфор с возрастающим жаром. – Ведь вы считали минуты четырех агоний, вы осуществили ваш адский замысел, вы готовили ваше гнусное зелье с таким изумительным искусством и уверенностью! Вы все так прекрасно рассчитали, как же вы забыли о том, куда вас может привести разоблачение ваших преступлений? Этого не может быть; вы, наверно, приберегли самый сладостный, самый быстрый и самый верный яд, чтобы избежать заслуженной кары... Вы это сделали, я надеюсь?

Госпожа де Вильфор заломила руки и упала на колени.

– Я вижу, вы сознаетесь, – сказал он, – но признание, сделанное судьям, признание, сделанное в последний миг, когда отрицать уже невозможно, – такое признание ни в какой мере не может смягчить кару.

– Кара? – воскликнула г-жа де Вильфор. – Вы уже второй раз произносите это слово!

– Конечно. Уж не потому ли, что вы четырежды виновны, думали вы избежать ее? Уж не потому ли, что вы жена того, кто требует этой кары, думали вы, что она минует вас? Нет, сударыня! Отравительницу, кто бы она ни была, ждет эшафот, если только, повторяю, отравительница не позаботилась приберечь для себя несколько капель самого верного яда.

Госпожа де Вильфор дико вскрикнула, и безобразный, всепоглощающий ужас исказил ее черты.

– Не бойтесь, я не требую, чтобы вы взошли на эшафот, – сказал королевский прокурор, – я не хочу вашего позора, он был бы и моим позором; напротив, вы должны были понять из моих слов, что вы не можете умереть на эшафоте.

– Нет, я не поняла; что вы хотите сказать? – еле слышно пролепетала несчастная.

– Я хочу сказать, что жена королевского прокурора не захочет запятнать своей низостью безупречное имя и не обесчестит своего мужа и сына.

– Нет, о нет!

– Этим вы совершите доброе дело, сударыня, и я благодарен вам.

– Благодарны? За что?

– За то, что вы сейчас сказали.

– Что я сказала? Я не знаю, не помню, боже мой!

И она вскочила, страшная, растрепанная, о пеной на губах.

– Вы мне не ответили на вопрос, который я вам задал, когда вошел сюда: где яд, которым вы обычно пользуетесь.

Госпожа де Вильфор судорожно стиснула руки.

– Нет, нет, – вы этого не хотите! – вырвался из ее груди вопль.

– Я не хочу только одного, сударыня, – чтобы вы погибли на эшафоте, слышите? – отвечал Вильфор.

– Сжальтесь!

– Я хочу, чтобы правосудие свершилось. Мой долг на земле – карать, – добавил он со сверкающим взглядом. – Всякой другой женщине, будь она даже королева, я послал бы палача; но к вам я буду милосерден. Вам я говорю: сударыня, ведь вы приберегли несколько капель вашего самого нежного, самого быстрого и самого верного яда?

– Пощадите, оставьте мне жизнь!

– Она все-таки была малодушна! – сказал Вильфор.

– Помните, я ваша жена!

– Вы отравительница!

– Во имя неба!..

– Нет.

– Ради вашей былой любви ко мне!

– Нет, нет!

– Ради нашего ребенка! Ради ребенка, оставьте мне жизнь.

– Нет, нет, нет; если я вам оставляю жизнь, вы, быть может, когда-нибудь убьете и его.

– Я? Я убью моего сына? – вскрикнула эта безумная мать, бросаясь к Вильфору. – Убить моего Эдуарда!.. Ха-ха-ха!

И дикий, демонический хохот, хохот помешанной, огласил комнату и оборвался хриплым стоном.

Госпожа де Вильфор упала на колени.

Вильфор подошел к ней.

– Помните, сударыня, – сказал он, – что, если к моему возвращению правосудие не свершится, я сам вас изобличу и сам арестую.

Она слушала, задыхаясь, сраженная, уничтоженная; казалось, одни глаза еще жили на этом лице.

– Вы поняли? – сказал Вильфор. – Я иду в залу суда требовать смертной казни для убийцы... Если, возвратясь, я застаю вас живой, вы проведете эту ночь в Консьержери.

Госпожа де Вильфор глубоко вздохнула и без сил опустилась на ковер.

В королевском прокуроре, казалось, шевельнулась жалость, его взгляд смягчился, и, слегка наклонив голову, он медленно произнес:

– Прощайте, сударыня!

Это слово, как нож гильотины, обрушилось на г-жу де Вильфор.

Она потеряла сознание.

Королевский прокурор вышел и, притворив дверь, дважды повернул ключ в замке.

ХII. Сессия

Дело Бенедетто, как его называли в судебном мире и в светском обществе, вызвало огромную сенсацию. Завсегдатай Кафе-де-Пари, Гентского бульвара и Булонского леса, мнимый Кавальканти за те два-три месяца, что он жил в Париже и блистал в свете, завел множество знакомств.

Газеты сообщали немало подробностей о его парижской жизни и о его жизни на каторге; все это возбуждало живейшее любопытство, особенно среди тех, кто лично знал князя Андреа Кавальканти; все они были готовы пойти на все, лишь бы увидеть на скамье подсудимых господина Бенедетто, убийцу своего товарища по каторге.

Для многих Бенедетто был если не жертвой правосудия, то во всяком случае жертвой судебной ошибки; г-на Кавальканти-отца знали в Париже, и все были уверены, что он появится и выручит из беды своего славного отпрыска. На многих, никогда не слышавших о пресловутой венгерке, в которой он предстал перед графом Монте-Кристо, произвели немалое впечатление величавая внешность, рыцарский облик и светское обращение старого патриция, который, надо сознаться, в самом деле имел вид истого вельможи, пока он молчал и не вдавался в арифметические вычисления.

Что касается самого подсудимого, то многие помнили его таким любезным, красивым и щедрым, что они предпочитали видеть во всем случившемся козни какого-нибудь врага, как это иной раз и случается в мире, где богатство дает власть творить добро и зло и наделяет людей поистине неслыханным могуществом.

Итак, все стремились попасть на заседание суда: одни – чтобы насладиться зрелищем, другие – чтобы потолковать о нем. С семи часов утра у дверей собралась толпа, и за час до начала заседания зала суда была уже переполнена избранной публикой.

В дни громких процессов, до выхода судей, а нередко даже и после этого, зала суда весьма напоминает гостиную, где сошлись знакомые, которые то подходят друг к другу, если не боятся, что займут их место, то обмениваются знаками, если их разделяет слишком много зрителей, адвокатов и жандармов.

Стоял один из тех чудесных осенних дней, которые вознаграждают нас за дождливое и слишком короткое лето; тучи, которые утром заслоняли солнце, рассеялись, как по волшебству, и теплые лучи озаряли один из последних, один из самых ясных дней сентября.

Бошан – король прессы, для которого всюду готов престол, – лорнировал публику. Он заметил Шато-Рено и Дебрэ, которые только что заручились расположением полицейского и

убедили его стать позади них, вместо того чтобы заслонять их, как он был вправе сделать. Достойный блюститель порядка чутьем угадал секретаря министра и миллионера; он выказал по отношению к своим знатым соседям большую предупредительность и даже разрешил им пойти поболтать с Бошаном, обещая посторожить их места.

– И вы пришли повидаться с нашим другом? – сказал Бошан.

– Ну как же! – отвечал Дебрэ. – Наш милейший князь! Черт возьми, вот они какие, итальянские князья!

– Человек, чьей генеалогией занимался сам Данте, чей род восходит к «Божественной комедии»!

– Висельная аристократия, – флегматично заметил Шато-Рено.

– Вы думаете, он будет осужден? – спросил Дебрэ Бошана.

– Мне кажется, это у вас надо спросить, – отвечал журналист, – вам лучше знать, какое настроение у суда; видели вы председателя на последнем приеме министра?

– Видел.

– Что же он вам сказал?

– Вы удивитесь.

– Так говорите скорее; я так давно не удивлялся.

– Он мне сказал, что Бенедетто, которого считают чудом ловкости, титаном коварства, просто-напросто мелкий жулик, весьма недалекий и совершенно недостойный тех исследований, которые после его смерти будут произведены над его френологическими шишками.

– А он довольно сносно разыгрывал князя, – заметил Бошан.

– Только на ваш взгляд, Бошан, потому что вы ненавидите бедных князей и всегда радуетесь, когда они плохо ведут себя; но меня не проведешь: я, как ищейка от геральдики, издали чую настоящего аристократа.

– Так вы никогда не верили в его княжеский титул?

– В его княжеский титул? Верил... Но в его княжеское достоинство – никогда.

– Недурно сказано, – заметил Бошан, – но уверяю вас, что для всякого другого он вполне мог сойти за князя... Я его встречал в гостиных у министров.

– Много ваши министры понимают в князьях! – сказал Шато-Рено.

– Коротко и метко, – засмеялся Бошан. – Разрешите мне вставить это в мой отчет?

– Сделайте одолжение, дорогой Бошан, – отвечал Шато-Рено, – я вам уступаю мое изречение по своей цене.

– Но если я говорил с председателем, – сказал Дебрэ Бошану, – то вы должны были говорить с королевским прокурором?

– Это было невозможно; вот уже неделя, как Вильфор скрывается от всех; да это и понятно после целой цепи странных семейных несчастий, завершившихся столь же странной смертью его дочери...

– Странной смертью? Что вы хотите сказать, Бошан?

– Вы, конечно, разыгрываете неведение под тем предлогом, что все это касается судебной аристократии, – сказал Бошан, вставляя в глаз монобль и стараясь удержать его.

– Дорогой мой, – заметил Шато-Рено, – разрешите сказать вам, что в искусстве носить монобль вам далеко до Дебрэ. Дебрэ, покажите Бошану, как это делается.

– Ну, конечно, я не ошибся, – сказал Бошан.

– А что?

– Это она.

– Кто, она?

– А говорили, что она уехала.

– Мадемуазель Эжени? – спросил Шато-Рено. – Разве она уже вернулась?

– Нет, не она, а ее мать.

– Госпожа Данглар?

– Не может быть, – сказал Шато-Рено, – на десятый день после побега дочери, на третий день после банкротства мужа!

Дебрэ слегка покраснел и взглянул в ту сторону, куда смотрел Бошан.

– Да нет же, – сказал он, – эта дама под густой вуалью какая-нибудь знатная иностранка, может быть, мать князя Кавальканти; но вы, кажется, хотели рассказать что-то интересное, Бошан.

– Я?

– Да. Вы говорили о странной смерти Валентины.

– Ах, да; но почему не видно госпожи де Вильфор?

– Бедняжка! – сказал Дебрэ. – Она, вероятно, перегоняет мелиссу для больниц или составляет помады для себя и своих приятельниц. Говорят, она тратит на эту забаву тысячи три эю в год. В самом деле, почему же ее не видно? Я бы с удовольствием повидал ее, она мне очень нравится.

– А я ее не терплю, – сказал Шато-Рено.

– Почему это?

– Не знаю. Почему мы любим? Почему ненавидим? Я ее не выношу потому, что она мне антипатична.

– Или, может быть, инстинктивно.

– Может быть... Но вернемся к вашему рассказу, Бошан.

– Неужели, господа, – продолжал Бошан, – вы не задавались вопросом, почему так обильно умирают у Вильфоров?

– Обильно? Это недурно сказано, – заметил Шато-Рено.

– Это выражение встречается у Сен-Симона.

– А факт – у Вильфора; так поговорим о Вильфоре.

– Признаться, меня очень интересует этот дом, – сказал Дебрэ, – вот уже три месяца они не выходят из траура; позавчера со мной об этом говорила «сама», по случаю смерти Валентины.

– Кто такая «сама»? – спросил Шато-Рено.

– Жена министра, разумеется!

– Прошу прощения, – заметил Шато-Рено, – я к министру не езжу, предоставляю это делать князьям.

– Раньше вы метали искры, барон, теперь вы мечете молнии; сжальтесь над нами, не то вы испепелите нас, как новоявленный Юпитер.

– Умолкаю, – сказал Шато-Рено, – но сжальтесь и вы надо мной и не дразните меня.

– Послушайте, Бошан, довольно отвлекаться; я уже сказал, что «сама» позавчера просила у меня разъяснений на этот счет; скажите мне, что вы знаете, я ей передам.

– Итак, господа, – сказал Бошан, – если в доме обильно умирают – мне нравится это выражение, – то это значит, что в доме есть убийца.

Его собеседники встрепнулись; им самим уже не раз приходила в голову эта мысль.

– Но кто же убийца? – спросили они.

– Маленький Эдуард.

Шато-Рено и Дебрэ расхохотались; Бошан, несколько не смутившись, продолжал:

– Да, господа, маленький Эдуард, феноменальный ребенок, – убивает не хуже взрослого.

– Это шутка?

– Вовсе нет; я вчера нанял лакея, который только что ушел от Вильфоров; обратите на это внимание.

– Обратили.

– Завтра я его уволю, потому что он непомерно много ест, чтобы вознаградить себя за пост, который он со страху там на себя наложил. Так вот, этот прелестный ребенок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени потчует тех, кто ему не угодил. Сначала ему не угодили дедушка и бабушка де Сен-Меран, и он налил им по три капли своего эликсира, – трех капель вполне достаточно; затем славный Барруа, старый слуга дедушки Нуартье, который иногда ворчал на милого шалунишку; милый шалунишка налил и ему три капли своего эликсира; то же самое случилось с несчастной Валентиной, которая, правда, на него не ворчала, но которой он завидовал; он и ей налил три капли своего эликсира, и ей, как и другим, пришел конец.

– Бросьте сказки рассказывать, – сказал Шато-Рено.

– А страшная сказка, правда? – сказал Бошан.

– Это нелепо, – сказал Дебрэ.

– Вы просто боитесь смотреть правде в глаза, – возразил Бошан. – Спросите моего лакея, или, вернее, того, кто завтра уже не будет моим лакеем; об этом говорил весь дом.

– Но что это за эликсир? Где он?

– Мальчишка его прячет.
– Где он его взял?
– В лаборатории у своей мамы.
– Так его мама держит в лаборатории яды?
– Откуда мне знать? Вы допрашиваете меня, как королевский прокурор. Я повторяю то, что мне сказали, и только; я вам называю свой источник; большего я не могу сделать. Бедный мальчик от страха ничего не ел.

– Это невероятно!

– Да нет же, дорогой мой, тут нет ничего невероятного; помните, в прошлом году этот ребенок с улицы Ришелье, который забавлялся тем, что втыкал своим братьям и сестрам, пока они спали, булавку в ухо? Молодое поколение развито не по летам.

– Бьюсь об заклад, что сами вы не верите ни одному своему слову, – сказал Шато-Рено. – Но я не вижу графа Монте-Кристо; неужели его здесь нет?

– Он человек пресыщенный, – заметил Дебрэ, – да ему и неприятно было бы показаться здесь; ведь эти Кавальканти его надули; говорят, они явились к нему с фальшивыми аккредитивами, так что он потерял добрых сто тысяч франков, которыми ссудил их под залог княжеского достоинства.

– Кстати, Шато-Рено, – спросил Бошан, – как поживает Моррель?

– Я заходил к нему три раза, – отвечал Шато-Рено, – но о нем ни слуху ни духу. Однако сестра его, по-видимому, о нем не тревожится; она сказала, что тоже дня три его не видела, но уверена, что с ним ничего не случилось.

– Ах, да, ведь граф Монте-Кристо и не может быть здесь, – сказал Бошан.

– Почему это?

– Потому что он сам действующее лицо в этой драме.

– Разве он тоже кого-нибудь убил? – спросил Дебрэ.

– Нет, напротив, это его хотели убить. Известно, что этот почтеннейший Кадрусс был убит своим дружкой Бенедетто как раз в ту минуту, когда он выходил от графа Монте-Кристо. Известно, что в доме графа нашли пресловутый жилет с письмом, из-за которого брачный договор остался неподписанным. Вы видели этот жилет? Вот он там, на столе, весь в крови, – вещественное доказательство.

– Вижу, вижу!

– Тише, господа, начинается. По местам!

Все в зале шумно задвигались; полицейский энергичным «гм!» подозвал своих протеже, а появившийся в дверях судебный пристав тем визгливым голосом, которым пристава отличались еще во времена Бомарше, провозгласил:

– Суд идет!

ХIII. Обвинительный акт

Судьи уселись среди глубокой тишины; присяжные заняли свои места; Вильфор, предмет всеобщего внимания, мы бы даже сказали – восхищения, опустился в свое кресло, окидывая залу спокойным взглядом.

Все с удивлением смотрели на его строгое, бесстрастное лицо, которое ничем не выдавало отцовского горя; этот человек, которому чужды были все человеческие чувства, почти внушал страх.

– Введите обвиняемого, – сказал председатель.

При этих словах все взоры устремились на дверь, через которую должен был войти Бенедетто.

Вскоре дверь открылась, и появился обвиняемый.

На всех он произвел одно и то же впечатление, и никто не обманулся в выражении его лица.

Его черты не носили отпечатка того глубокого волнения, от которого кровь приливает к сердцу и бледнеет лицо. Руки его – одну он положил на шляпу, другую засунул за вырез белого пикейного жилета – не дрожали; глаза были спокойны и даже блестящи. Едва войдя в залу, он стал осматривать судей и публику и дольше, чем на других, остановил взгляд на председателе и особенно на королевском прокуроре.

Рядом с Андреа поместился его адвокат, защитник по назначению (Андреа не захотел заниматься подобного рода мелочами, которым он, казалось, не придавал никакого значения),

молодой блондин, с покрасневшим лицом, во сто крат более взволнованный, чем сам подсудимый.

Председатель попросил огласить обвинительный акт, составленный, как известно, искусным и неумолимым пером Вильфора.

Во время этого долгого чтения, которое для всякого другого было бы мучительно, внимание публики сосредоточивалось на Андреа, переносившем это испытание с душевной бодростью спартамца.

Никогда еще, быть может, Вильфор не был так лаконичен и красноречив; преступление было обрисовано самыми яркими красками; все прошлое обвиняемого, постепенное изменение его внутреннего облика, последовательность его поступков, начиная с весьма раннего возраста, были представлены со всей той силой, какую мог почерпнуть из знания жизни и человеческой души возвышенный ум королевского прокурора.

Одной этой вступительной речью Бенедетто был навсегда уничтожен в глазах общественного мнения еще до того, как его покарал закон.

Андреа не обращал ни малейшего внимания на эти грозные обвинения, которые одно за другим обрушивались на него. Вильфор часто смотрел в его сторону и, должно быть, продолжал психологические наблюдения, которые он уже столько лет вел над преступниками, но ни разу не мог заставить Андреа опустить глаза, как ни пристален и ни упорен был его взгляд.

Наконец, обвинительный акт был прочитан.

– Обвиняемый, – сказал председатель, – ваше имя и фамилия?

Андреа встал.

– Простите, господин председатель, – сказал он ясным и звонким голосом, – но я вижу, что вы намерены предлагать мне вопросы в таком порядке, в каком я затруднился бы на них отвечать. Я полагаю, и обязуюсь это доказать немного позже, что я могу считаться исключением среди обычных подсудимых. Прошу вас, разрешите мне отвечать, придерживаясь другого порядка; при этом я отвечу на все вопросы.

Председатель удивленно взглянул на присяжных, те взглянули на королевского прокурора.

Публика была в недоумении.

Но Андреа это, по-видимому, ничуть не смутило.

– Сколько вам лет? – спросил председатель. – На этот вопрос вы ответите?

– И на этот вопрос, и на остальные, господин председатель, когда придет их черед.

– Сколько вам лет? – повторил судья.

– Мне двадцать один год, или, вернее, мне исполнится двадцать один год через несколько дней, так как я родился в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года.

Вильфор, что-то записывавший, при этих словах поднял голову.

– Где вы родились? – продолжал председатель.

– В Отейле, близ Парижа, – отвечал Бенедетто.

Вильфор вторично посмотрел на Бенедетто и побледнел, словно увидев голову Медузы.

Что же касается Бенедетто, то он грациозно отер губы вышитым концом тонкого батистового платка.

– Ваша профессия? – спросил председатель.

– Сначала я занимался подлогами, – невозмутимо отвечал Андреа, – потом воровством, а недавно стал убийцей.

Ропот или, вернее, гул негодования и удивления пронесся по зале; даже судьи изумленно переглянулись, а присяжные явно были возмущены цинизмом, которого трудно было ожидать от светского человека.

Вильфор провел рукою по лбу; его бледность сменилась багровым румянцем; вдруг он встал, растерянно озираясь; он задышался.

– Вы что-нибудь ищете, господин королевский прокурор? – спросил Бенедетто с самой учтивой улыбкой.

Вильфор ничего не ответил и снова сел или, скорее, упал в свое кресло.

– Может быть, теперь, обвиняемый, вы назовете себя? – спросил председатель. – То вызывающее бесстыдство, с которым вы перечислили свои преступления, именуя их своей профессией и даже как бы гордясь ими, само по себе достойно того, чтобы во имя нравственности и уважения к человечеству суд вынес вам строгое осуждение; но, вероятно, вы преднамеренно, не сразу назвали себя: вам хочется оттенить свое имя всеми своими титулами.

– Просто невероятно, господин председатель, – кротко и почтительно сказал Бенедетто, – как верно вы угадали мою мысль; вы совершенно правы, именно с этой целью я просил вас изменить порядок вопросов.

Изумление достигло предела; в словах подсудимого уже не слышалось ни хвастовства, ни цинизма; взволнованная аудитория почувствовала, что из глубины этой черной тучи сейчас грянет гром.

– Итак, – сказал председатель, – ваше имя?

– Я вам не могу назвать свое имя, потому что я его не знаю; но я знаю имя моего отца, и это имя я могу назвать.

У Вильфора потемнело в глазах; по лицу его струился пот, руки судорожно перебирали бумаги.

– В таком случае, назовите имя вашего отца, – сказал председатель.

В огромном зале наступила гробовая тишина; все ждали, затаив дыхание.

– Мой отец – королевский прокурор, – спокойно ответил Андреа.

– Королевский прокурор! – изумленно повторил председатель, не замечая искажившегося лица Вильфора.

– Да, а так как вы хотите знать его имя, я вам скажу: его зовут де Вильфор!

Крик негодования, так долго сдерживаемый из уважения к суду, вырвался, как буря, изо всех уст; даже судьи не сразу подумали о том, чтобы призвать к порядку возмущенную публику. Возгласы, брань, обращенная к невозмутимому Бенедетто, угрожающие жесты, окрики жандармов, гоготанье той низкопробной части публики, которая во всяком сборище оказывается на поверхности в минуты замешательства и скандала, – все это продолжалось добрых пять минут, пока судьям и приставам не удалось водворить тишину.

Среди общего шума слышен был голос председателя, восклицавшего:

– Вы, кажется, издеваетесь над судом, обвиняемый? Вы дерзко выставляете напоказ перед вашими согражданами такую безмерную испорченность, которая даже в наш развращенный век не имеет себе равной!

Человек десять суетились вокруг королевского прокурора, поникшего в своем кресле, утешая его, ободряя, уверяя в преданности и сочувствии.

В зале восстановилась тишина, только в одном углу еще волновались и шушукались.

Говорили, что какая-то женщина упала в обморок; ей дали понюхать соль, и она пришла в себя.

Во время этой суматохи Андреа с улыбкой повернулся к публике; потом, изящно опершись рукой на дубовые перила скамьи, заговорил:

– Господа, видит бог, что я не думаю оскорблять суд и производить в этом уважаемом собрании ненужный скандал. Меня спрашивают, сколько мне лет, – я говорю; меня спрашивают, где я родился, – я отвечаю; меня спрашивают, как мое имя, – на это я не могу ответить: у меня его нет, потому что мои родители меня бросили. Но зато я могу назвать имя своего отца; и я повторяю, моего отца зовут де Вильфор, и я готов это доказать.

В голосе подсудимого чувствовалась такая уверенность, такая сила убеждения, что всеобщий шум сменился тишиной. Все взгляды обратились на королевского прокурора. Вильфор сидел немой и неподвижный, словно жизнь покинула его.

– Господа, – продолжал Андреа, – я должен объяснить свои слова и подтвердить их доказательствами.

– Но вы показали на следствии, что вас зовут Бенедетто, – гневно воскликнул председатель, – вы заявили, что вы сирота и что ваша родина – Корсика.

– Я показал на следствии то, что считал нужным показать; я не хотел, чтобы мне помешали, – а это неминуемо бы случилось, – торжественно объявить мою тайну во всеуслышание.

Итак, я повторяю: я родился в Отейле, в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года, я – сын королевского прокурора господина де Вильфор. Угодно вам знать подробности? Я их сообщу.

Я родился во втором этаже дома помер двадцать восемь по улице Фонтен, в комнате, обтянутой красным штофом. Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в полотенце, помеченное буквами Э. и Н. и отнес в сад, где зарыл в землю живым.

Трепет пробежал по толпе, когда она увидела, что вместе с уверенностью подсудимого возросло смятение Вильфора.

– Но откуда вам известны эти подробности? – спросил председатель.

– Сейчас объясню, господин председатель. В сад, где закопал меня мой отец, в эту самую ночь проник один корсиканец, который его смертельно ненавидел и уже давно подстерегал его, чтобы учинить вендетту. Этот человек, спрятавшись в кустах, видел, как мой отец зарывал в землю ящик, и тут же ударил его ножом; затем, думая, что в этом ящике спрятано какое-нибудь сокровище, он разрыл могилу и нашел меня еще живым. Он отнес меня в Воспитательный дом, где меня записали под номером пятьдесят седьмым. Три месяца спустя его сестра приехала за мной из Рольяно в Париж, заявила, что я ее сын, и увезла меня с собой. Вот почему, родившись в Отейле, я вырос на Корсике.

Наступила тишина, такая глубокая, что, если бы не взволнованное дыхание тысячи людей, можно было бы подумать, будто зала пуста.

– Дальше, – сказал председатель.

– Конечно, – продолжал Бенедетто, – я мог бы жить счастливо у этих добрых людей, любивших меня, как сына, но мои порочные наклонности взяли верх над добродетелями, которые мне старалась привить моя приемная мать. Я вырос во зле и дошел до преступления. Однажды, когда я проклинал бога за то, что он сотворил меня таким злым и обрек на такую ужасную судьбу, мой приемный отец сказал мне:

«Не богохульствуй, несчастный! Бог не во гневе сотворил тебя! В твоём преступлении виноват твой отец, а не ты; твой отец обрек тебя на вечные муки, если бы ты умер, и на нищету, если бы ты чудом вернулся к жизни».

С тех пор я перестал проклинять бога, я проклинал моего отца; вот почему я произнес здесь те слова, которые вызвали ваш гнев, господин председатель, и которые так взволновали это почтенное собрание. Если это еще новое преступление, то накажите меня, но если я вас убедил, что со дня моего рождения моя судьба была мучительной, горькой, плачевной, то пожалейте меня!

– А кто ваша мать? – спросил председатель.

– Моя мать считала меня мертвым; она ни в чем передо мной не виновата. Я не хотел знать имени моей матери; я его не знаю.

Пронзительный крик, перешедший в рыдание, раздался в том углу залы, где сидела незнакомка, только что очнувшаяся от обморока.

С ней сделался нервный припадок, и ее унесли из залы суда; когда ее подняли, густая вуаль, закрывавшая ее лицо, откинулась, и окружающие узнали баронессу Данглар.

Несмотря на полное изнеможение, на шум в ушах, на то, что мысли мешались в его голове, Вильфор тоже узнал ее и встал.

– Доказательства! – сказал председатель. – Обвиняемый, помните, что это нагромождение мерзостей должно быть подтверждено самыми неопровержимыми доказательствами.

– Вы требуете доказательств? – с усмешкой сказал Бенедетто.

– Да.

– Взгляните на господина де Вильфор и скажите, нужны вам еще доказательства?

Вся зала повернулась в сторону королевского прокурора, который зашатался под тяжестью этой тысячи вперившихся в него глаз; волосы его были растрепаны, лицо исцарапано ногтями.

Ропот прошел по толпе.

– У меня требуют доказательств, отец, – сказал Бенедетто, – хотите, я их представлю?

– Нет, – хрипло прошептал Вильфор, – это лишнее.

– Как лишнее? – воскликнул председатель. – Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, – произнес королевский прокурор, – что напрасно я пытался бы вырваться из смертельных тисков, которые сжимают меня; да, я в руке карающего бога! Не нужно доказательств! Все, что сказал этот человек, правда.

Мрачная, гнетущая тишина, от которой волосы шевелились на голове, тишина, какая предшествует стихийным катастрофам, окутала своим свинцовым покровом всех присутствующих.

– Что вы, господин де Вильфор, – воскликнул председатель, – вы во власти галлюцинаций! Вам изменяет разум! Легко понять, что такое неслыханное, неожиданное, ужасное обвинение могло помрачить ваш рассудок: опомнитесь, придите в себя!

Королевский прокурор покачал головой. Зубы его стучали, как в лихорадке, в лице не было ни кровинки.

– Ум мой ясен, господин председатель, – сказал он, – страдает только тело. Я признаю себя виновным во всем, что этот человек вменяет мне в вину; я возвращаюсь в свой дом, где буду ждать распоряжений господина королевского прокурора, моего преемника.

И, произнеся эти слова глухим, еле слышным голосом, Вильфор нетвердой походкой направился к двери, которую перед ним машинально распахнул дежурный пристав.

Зала безмолвствовала, потрясенная этим страшным разоблачением и не менее страшным признанием – трагической развязкой загадочных событий, которые уже две недели волновали высшее парижское общество.

– А еще говорят, что в жизни не бывает драм, – сказал Бошан.

– Признаюсь, – сказал Шато-Рено, – я все-таки предпочел бы кончить, как генерал Морсер; пуля в лоб – просто удовольствие по сравнению с такой катастрофой.

– К тому же она убивает, – сказал Бошан.

– А я-то хотел жениться на его дочери! – сказал Дебрэ. – Хорошо сделала бедная девочка, что умерла!

– Заседание суда закрыто, – сказал председатель, – дело откладывается до следующей сессии. Назначается новое следствие, которое будет поручено другому лицу.

Андреа, все такой же спокойный и сильно поднявшийся во мнении публики, покинул залу в сопровождении жандармов, которые невольно выказывали ему уважение.

– Ну-с, что вы на это скажете, милейший? – сказал Дебрэ полицейскому, суя ему в руку золотой.

– Признают смягчающие обстоятельства, – отвечал тот.

XIV. Искупление

Вильфор шел к выходу; все расступались перед ним. Всякое великое горе внушает уважение, и еще не было примера, даже в самые жестокие времена, чтобы в первую минуту люди не посочувствовали человеку, на которого обрушилось непоправимое несчастье. Разъяренная толпа может убить того, кто ей ненавистен; но редко случается, чтобы люди, присутствующие при объявлении смертного приговора, оскорбили несчастного, даже если он совершил преступление.

Вильфор прошел сквозь ряды зрителей, стражи, судейских чиновников и удалился, сам вынеся себе обвинительный приговор, но охраняемый своей скорбью.

Бывают трагедии, которые люди постигают чувством, но не могут охватить разумом; и тогда величайший поэт – тот, у кого вырвется самый страстный и самый искренний крик. Этот крик заменяет толпе целую повесть, и она права, что довольствуется им, и еще более права, если признает его совершенным, когда в нем звучит истина.

Впрочем, трудно было бы описать то состояние оцепенения, в котором Вильфор шел из суда, тот лихорадочный жар, от которого билась каждая его артерия, напрягался каждый нерв, вздувалась каждая жила и который терзал миллионом терзаний каждую частицу его брэнного тела.

Только сила привычки помогла Вильфору дотащиться до выхода; он сбросил с себя судейскую тогу не потому, что этого требовали приличия, но потому, что она жгла ему плечи тяжким бременем, как мучительное одеяние Несса.

Шатаясь, дошел он до двора Дофина, нашел там свою карету, разбудил кучера, сам открыл дверцу и упал на сиденье, указывая рукой в сторону предместья Сент-Оноре.

Лошади тронули.

Страшной тяжестью обрушилось на него воздвигнутое им здание его жизни; он был раздавлен этим обвалом; он еще не предвидел последствий, не измерял их; он их только чувствовал; он не думал о букве закона, как думает хладнокровный убийца, толкуя хорошо знакомую ему статью.

Бог вошел в его сердце.

– Боже! – безотчетно шептали его губы. – Боже!

За постигшей его катастрофой он видел только руку божью.

Карета ехала быстро. Вильфор, откинувшийся на сиденье, почувствовал, что ему мешает какой-то предмет.

Он протянул руку; это был веер, забытый г-жой де Вильфор и завалившийся между спинкой и подушками; вид этого веера пробудил в нем воспоминание, и это воспоминание сверкнуло, как молния во мраке ночи.

Вильфор вспомнил о жене...

Он застонал, как будто в сердце ему вонзилось раскаленное железо.

Все время он думал только об одном своем несчастье, и вдруг перед его глазами второе, не менее ужасное.

Его жена! Он только что стоял перед нею как неумолимый судья; он приговорил ее к смерти; и она, пораженная ужасом, раздавленная стыдом, убитая раскаянием, которое он пробудил в ней своей незапятнанной добродетелью, – она, несчастная, слабая женщина, беззащитная перед лицом этой неограниченной, высшей власти, быть может, в эту самую минуту готовилась умереть!

Уже час прошел с тех пор, как он вынес ей приговор; и в эту минуту она, должно быть, вспоминала все свои преступления, молила бога о пощаде, писала письмо, униженно умоляя своего безупречного судью о прощении, которое она покупала ценою жизни.

Вильфор глухо застонал от бешенства и боли и заметался на атласных подушках кареты.

– Эта женщина стала преступницей только потому, что прикоснулась ко мне! – воскликнул он. – Я – само преступление! И она заразилась им, как заражаются тифом, холерой, чумой!.. И я караю ее!.. Я осмелился ей сказать: раскайся и умри... я! Нет, нет, она будет жить... она пойдет со мной... Мы скроемся, мы покинем Францию, мы будем скитаться по земле, пока она будет носить нас. Я говорил ей об эшафоте!.. Великий боже! Как я смел произнести это слово! Ведь меня тоже ждет эшафот!.. Мы скроемся... Да, я покаюсь ей во всем; каждый день я буду смиренно повторять ей, что я такой же преступник... Союз тигра и змеи! О жена, достойная своего мужа!.. Она должна жить, ее злодеяние должно померкнуть перед моим!

И Вильфор порывисто опустил переднее стекло кареты.

– Скорей, скорей! – крикнул он таким голосом, что кучер привскочил на козлах.

Испуганные лошади вихрем помчались к дому.

– Да, да, – твердил Вильфор, – эта женщина должна жить, она должна раскаяться и воспитать моего сына, моего несчастного мальчика. Он один вместе с этим словно железным стариком пережил гибель моей семьи! Она любила сына; ради него она пошла на преступление. Никогда не следует терять веру в сердце женщины, любящей своего ребенка; она раскается, никто не узнает, что она преступница. Все злодеяния, совершенные в моем доме и о которых уже шепчутся в свете, со временем забудутся, а если и найдутся недоброжелатели, которые о них вспомнят, я возьму вину на себя. Одним, двумя, тремя больше – не все ли равно! Моя жена возьмет все наше золото, а главное – сына, и бежит прочь от этой бездны, куда, кажется, вместе со мною готов низринуться весь мир. Она будет жить, она еще будет счастлива, ибо вся ее любовь принадлежит сыну, а сын останется с ней. Я совершу доброе дело; от этого душе станет легче.

И королевский прокурор вздохнул свободнее.

Карета остановилась во дворе его дома.

Вильфор спрыгнул с подножки на ступени крыльца; он видел, что слуги удивлены его быстрым возвращением. Ничего другого он на их лицах не прочел; никто не заговорил с ним; перед ним, как всегда, расступились, и только.

Он прошел мимо комнаты Нуартье и сквозь полуотворенную дверь заметил две неясные тени, но не задумался над тем, кто посетитель его отца; тревога подгоняла его.

«Здесь все как было», – подумал он, поднимаясь по маленькой лестнице, которая вела к комнатам его жены и пустой комнате Валентины.

Он запер за собой дверь на площадку.

– Пусть никто не входит сюда, – сказал он, – я должен говорить с ней без помехи, повиниться перед ней, сказать ей все...

Он подошел к двери, взялся за хрустальную ручку; дверь подалась.

– Не заперта! – прошептал он. – Это хороший знак!

И он вошел в маленькую гостиную, где по вечерам стелили постель для Эдуарда; хотя мальчик и учился в пансионе, он каждый вечер возвращался домой; мать ни за что не хотела разлучаться с ним.

Вильфор окинул взглядом комнату.

– Никого, – сказал он, – она у себя в спальне.

Он бросился к двери.

Но эта дверь была заперта.

Он остановился, весь дрожа.

– Элоиза! – крикнул он.

Ему послышалось, что кто-то двинул стулом.

– Элоиза! – повторил он.

– Кто там? – спросил голос его жены.

Ему показалось, что этот голос звучал слабее обычного.

– Откройте, откройте, – крикнул Вильфор, – это я!

Но, несмотря на повелительный и вместе тревожный тон этого приказа, никто не открыл.

Вильфор вышиб дверь ногой.

На пороге будуара стояла г-жа де Вильфор с бледным, искаженным лицом и смотрела на мужа пугающе неподвижным взглядом.

– Элоиза! – воскликнул он. – Что с вами? Говорите!

Она протянула к нему бескровную, цепенеющую руку.

– Всё исполнено, сударь, – сказала она с глухим хрипом, который словно разрывал ей гортань. – Чего вы еще хотите?

И она, как подкошенная, упала на ковер.

Вильфор подбежал к ней, схватил ее за руку. Рука эта судорожно сжимала хрустальный флакон с золотой пробкой.

Госпожа де Вильфор была мертва.

Вильфор, обезумев от ужаса, попятился к двери, не отрывая глаз от трупа.

– Эдуард! – вскричал он вдруг. – Где мой сын? – И он бросился из комнаты с воплем:

Эдуард, Эдуард!

Этот крик был так страшен, что со всех сторон сбежались слуги.

– Мой сын! Где мой сын? – спросил Вильфор. – Уведите его, чтобы он не видел...

– Господина Эдуарда нет внизу, сударь, – ответил камердинер.

– Он, должно быть, в саду, бегите за ним!

– Нет, сударь; госпожа де Вильфор полчаса тому назад позвала его к себе; господин

Эдуард пошел к ней и с тех пор не выходит я.

Ледяной пот выступил на лбу Вильфора, ноги его подкосились, мысли закружились в мозгу, как расшатанные колесики испорченных часов.

– Прошел к ней! – прошептал он. – К ней!

И он медленно побрел обратно, вытирая одной рукой лоб, а другой держась за стену.

Он должен войти в эту комнату и снова увидеть тело несчастной.

Он должен позвать Эдуарда, разбудить эхо этой комнаты, превращенной в гроб; заговорить здесь – значило осквернить безмолвие могилы.

Вильфор почувствовал, что язык не повинуется ему.

– Эдуард! Эдуард! – пролепетал он.

Никакого ответа; где же мальчик, который, как сказали слуги, прошел к матери и не вышел от нее?

Вильфор сделал еще шаг вперед.

Труп г-жи де Вильфор лежал перед дверью в будуар, где только и мог быть сын; труп словно сторожил порог, в открытых, остановившихся глазах, на мертвых губах застыла загадочная усмешка.

За приподнятой портьерой виднелась ножка рояля и угол дивана, обитого голубым атласом.

Вильфор сделал еще несколько шагов вперед и на диване увидел своего сына.

Ребенок, вероятно, заснул.

Несчастливого охватила невыразимая радость; луч света озарил ад, где он корчился в нестерпимой муке.

Он перешагнет через труп, войдет в комнату, возьмет ребенка на руки и бежит с ним, далеко, далеко.

Это был уже не прежний Вильфор, который в своем утонченном лицемерии являл образец цивилизованного человека; это был смертельно раненный тигр, который ломает зубы, в последний раз сжимая страшную пасть.

Он боялся уже не предрассудков, а призраков. Он отступил на шаг и перепрыгнул через труп, словно это был пылающий костер.

Он схватил сына на руки, прижал к груди, тряс его, звал по имени; мальчик не отвечал. Вильфор прильнул жадными губами к его лицу, лицо было холодное и мертвенно-бледное; он ощущал окоченевшее тело ребенка, приложил руку к его сердцу: сердце не билось.

Ребенок был мертв.

Вчетверо сложенная бумажка упала на ковер.

Вильфор, как громом пораженный, опустился на колени; ребенок выскользнул из его безжизненных рук и покатился к матери.

Вильфор поднял листок, узнал руку своей жены и жадно пробежал его.

Вот что он прочел:

«Вы знаете, что я была хорошей матерью: ради своего сына я стала преступницей.

Хорошая мать не растает со своим сыном!»

Вильфор не верил своим глазам, Вильфор не верил своему рассудку. Он подполз к телу Эдуарда и еще раз осмотрел его с тем вниманием, с каким львица разглядывает своего мертвого львенка.

Из его груди вырвался душераздирающий крик.

– Бог! – простонал он. – Опять бог!

Вид обеих жертв ужасал его, он чувствовал, что задыхается в одиночестве, в этой пустоте, заполненной двумя трупами.

Еще недавно его поддерживала ярость, этот великий дар сильных людей, его поддерживало отчаяние, последняя доблесть погибающих, побуждавшая Титанов брать приступом небо, Аякса – грозить кулаками богам.

Голова Вильфора склонилась под непосильным бременем; он поднялся с колен, провел дрожащей рукой по слипшимся от пота волосам; он, никогда не знавший жалости, в изнеможении побрел к своему престарелому отцу, чтобы хоть кому-то поведать свое горе, перед кем-то излить свою муку.

Он спустился по знакомой нам лестнице и вошел к Нуартье.

Когда Вильфор вошел, Нуартье со всем вниманием и дружелюбием, какое только мог выразить его взгляд, слушал аббата Бузони, спокойного и хладнокровного, как всегда.

Вильфор, увидав аббата, поднес руку ко лбу. Прошлое нахлынуло на него, словно грозная волна, которая вздымает больше пены, чем другие.

Он вспомнил, как он был у аббата через два дня после обеда в Отейле и как аббат явился к нему в день смерти Валентины.

– Вы здесь, сударь! – сказал он. – Вы всегда приходите вместе со смертью?

Бузони выпрямился, увидав искаженное лицо Вильфора, его исступленный взгляд, он понял, что скандал в зале суда уже разразился; о дальнейшем он не знал.

– Я приходил молиться у тела вашей дочери, – отвечал Бузони.

– А сегодня зачем вы пришли?

– Я пришел сказать вам, что вы заплатили мне свой долг сполна. Отныне я буду молить бога, чтобы он удовольствовался этим, как и я.

– Боже мой, – воскликнул Вильфор, отступая на шаг, – этот голос... вы не аббат Бузони!

– Нет.

Аббат сорвал с себя парик с тонзурой, потрянул головой, и длинные черные волосы рассыпались по плечам, обрамляя его мужественное лицо.

– Граф Монте-Кристо! – воскликнул ошеломленный Вильфор.

– И даже не он, господин королевский прокурор, вспомните, поройтесь в своей памяти.

– Этот голос! Где я его слышал?

– Вы его слышали в Марселе, двадцать три года тому назад, в день вашего обручения с Рене де Сен-Меран. Поищите в своих папках с делами.

– Вы не Бузони? Вы не Монте-Кристо? Боже мой, так это вы мой враг – тайный, неумолимый, смертельный! Я причинил вам какое-то зло в Марселе, горе мне!

– Да, ты угадал, – сказал граф, скрестив руки на груди. – Вспомни, вспомни!

– Но что же я тебе сделал? – воскликнул Вильфор, чьи мысли заметались на том пороге, где разум и безумие сливаются в тумане, который уже не сон, но еще не пробуждение. – Что я тебе сделал? Говори!

– Ты осудил меня на чудовищную, медленную смерть, ты убил моего отца, ты вместе со свободой отнял у меня любовь и вместе с любовью счастье!

– Да кто же ты? Кто?

– Я призрак несчастного, которого ты похоронил в темнице замка Иф. Когда этот призрак вышел из могилы, бог скрыл его под маской графа Монте-Кристо и осыпал его алмазами и золотом, чтобы донине ты не узнал его.

– Я узнаю тебя, узнаю! – произнес королевский прокурор. – Ты...

– Я Эдмон Дантес!

– Ты Эдмон Дантес! – вскричал королевский прокурор, хватая графа за руку. – Так идем!

И он повлек его к лестнице; удивленный Монте-Кристо последовал за ним, не зная, куда его ведет королевский прокурор, и предчувствуя новое несчастье.

– Смотри, Эдмон Дантес! – сказал Вильфор, указывая графу на трупы жены и сына. – Смотри! Ты доволен?..

Монте-Кристо побледнел, как смерть; он понял, что в своем мщении преступил границы; он понял, что теперь он уже не смеет сказать:

– Бог за меня и со мною.

Ужас оледенил его душу; он бросился к ребенку, приподнял ему веки, пощупал пульс и, схватив его на руки, выбежал с ним в комнату Валентины и запер за собой дверь.

– Мой сын! – закричал Вильфор. – Он похитил тело моего сына! Горе, проклятие, смерть тебе!

И он хотел ринуться за Монте-Кристо, но как во сне его ноги словно вросли в пол, глаза его едва не вышли из орбит, скрюченные пальцы все глубже впивались в грудь, пока из-под ногтей не брызнула кровь, жилы на висках вздулись, череп готов был разорваться под напором клокочущих мыслей, и море пламени затопило мозг.

Это оцепенение длилось несколько минут, и, наконец, непроглядный мрак безумия поглотил Вильфора.

Он вскрикнул, дико захохотал и бросился вниз по лестнице.

Четверть часа спустя дверь комнаты Валентины отворилась, и на пороге появился граф Монте-Кристо.

Он был бледен, взор его померк, грудь тяжело дышала; черты его всегда спокойного благородного лица были искажены страданием.

Он держал в руках ребенка, которого уже ничто не могло вернуть к жизни.

Монте-Кристо стал на одно колено, благоговейно опустил ребенка на ковер подле матери и положил его голову к ней на грудь.

Потом он встал, вышел из комнаты и, встретив на лестнице одного из слуг, спросил:

– Где господин Вильфор?

Слуга молча указал рукой на сад.

Монте-Кристо спустился с крыльца, пошел в указанном направлении и среди столпившихся слуг увидел Вильфора, который, с заступом в руках, ожесточенно рыл землю.

– Нет, не здесь, – говорил он, – нет, не здесь.

И рыл дальше.

Монте-Кристо подошел к нему и едва слышно, почти смиренно произнес:

– Вы потеряли сына, сударь, но у вас осталась...

Вильфор, не слушая, перебил его.

– Я его найду, – сказал он, – не говорите мне, что его здесь нет, я его найду, хоть бы мне пришлось искать его до Страшного суда.

Монте-Кристо отшатнулся.

– Он сошел с ума! – сказал он.

И, словно страшась, что на него обрушатся стены этого проклятого дома, он выбежал на улицу, впервые усомнившись – имел ли он право поступить так, как поступил.

– Довольно, довольно, – сказал он, – пощадим последнего!

Придя домой, Монте-Кристо застал у себя Морреля; он бродил по комнатам, как безмолвный призрак, который ждет назначенного ему богом часа, чтобы вернуться в свою могилу.

– Приготовьтесь, Максимилиан, – сказал ему с улыбкой Монте-Кристо, – завтра мы покидаем Париж.

– Разве вам здесь больше нечего делать? – спросил Моррель.

– Нечего, – отвечал Монте-Кристо, – боюсь, что я и так сделал слишком много.

XV. Отъезд

События последних недель взволновали весь Париж. Эмманюель и его жена, сидя в маленькой гостиной на улице Меле, обсуждали их с вполне понятным недоумением; они чувствовали какую-то связь между тремя внезапными и непредвиденными катастрофами, поразившими Морсера, Данглара и Вильфора.

Максимилиан, который пришел их навестить, слушал их или, вернее, присутствовал при их беседе, погруженный в ставшее для него привычным равнодушие.

– Право, Эмманюель, – говорила Жюли, – кажется, будто эти люди, еще вчера такие богатые, такие счастливые, строя свое богатство и свое счастье, забыли заплатить дань злему року; и вот, совсем как в сказке Перро, вдруг явилась злая фея, которую не пригласили на свадьбу или па крестины, чтобы отомстить за эту забывчивость.

– Какой разгром! – говорил Эмманюель, думая о Морсере и Дангларе.

– Какое горе! – говорила Жюли, думая о Валентине, которую женское чутье не позволяло ей назвать вслух в присутствии брата.

– Если их покарал бог, – говорил Эмманюель, – значит, он – высшее милосердие – не нашел в прошлом этих людей ничего, что заслуживало бы смягчения кары; значит, эти люди были прокляты.

– Ты судишь слишком смело, Эмманюель, – сказала Жюли. – Если бы в ту минуту, когда мой отец уже держал в руке пистолет, кто-нибудь сказал, как ты сейчас: «Этот человек заслужил свою участь», – разве он не ошибся бы?

– Да, по бог не допустил, чтобы наш отец погиб, как не допустил, чтобы Авраам принес в жертву своего сына; как и патриарху, он послал нам ангела, который остановил смерть на полпути.

Едва он успел произнести эти слова, как раздался звон колокольчика.

Это привратник давал знать о посетителе.

Почти тотчас же отворилась дверь, и на пороге появился граф Монте-Кристо.

Жюли и Эмманюель встретили его радостными возгласами.

Максимилиан поднял голову и снова опустил ее.

– Максимилиан, – сказал граф, делая вид, что не замечает его холодности, – я приехал за вами.

– За мной? – переспросил Моррель, как бы очнувшись от сна.

– Да, – сказал Монте-Кристо, – ведь решено, что вы едете со мной, и я предупредил вас еще вчера, чтобы вы были готовы.

– Я готов, – сказал Максимилиан, – я зашел проститься с ними.

– А куда вы едете, граф? – спросила Жюли.

– Сначала в Марсель, сударыня.

– В Марсель? – повторила Жюли.

– Да, и я похищаю вашего брата.

– Граф, верните его нам исцеленным, – сказала Жюли.

Моррель отвернулся, чтобы скрыть краску, залившую его лицо.

– А вы заметили, что он болен? – спросил граф.

– Да, и я боюсь, не скучно ли ему с нами.

– Я постараюсь его развлечь, – сказал граф.

– Я к вашим услугам, сударь, – сказал Максимилиан. – Прощайте, дорогие мои; прощай, Эмманюель; прощай, Жюли!

– Как, ты уже прощаешься? – воскликнула Жюли. – Разве вы сейчас едете? а вещи? а паспорта?

– Всегда легче расстаться сразу, – сказал Монте-Кристо, – я уверен, что Максимилиан обо всем уже позаботился, как я его просил.

– Паспорт у меня есть, и вещи мои уложены, – сказал Моррель беззвучно, спокойным голосом.

– Отлично, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, – вот что значит военная точность.

– И вы нас так и покинете? – сказала Жюли. – Уже сейчас? Вы мне подарите нам ни дня, ни даже часа?

– Мой экипаж у ворот, сударыня; через пять дней я должен быть в Риме.

– Но разве Максимилиан едет в Рим? – спросил Эмманюель.

– Я еду туда, куда графу угодно будет меня везти, – сказал с грустной улыбкой Максимилиан. – Я принадлежу ему еще на месяц.

– Почему он это говорит с такой горечью, граф?

– Ваш брат едет со мной, – мягко сказал граф, – поэтому не тревожьтесь за него.

– Прощай, сестра! – повторил Максимилиан. – Прощай, Эмманюель!

– У меня сердце разрывается, когда я вижу, какой он стал безразличный ко всему, – сказала Жюли. – Ты что-то от нас скрываешь, Максимилиан!

– Вот увидите, – сказал Монте-Кристо, – он вернется к вам веселый, смеющийся и радостный.

Максимилиан бросил на Монте-Кристо почти презрительный, почти гневный взгляд.

– Едем! – сказал граф.

– Но раньше, чем вы уедете, граф, – сказала Жюли, я хочу высказать вам все то, что прошлый раз...

– Сударыня, – возразил граф, беря ее руки в свои, – все, что вы мне скажете, будет меньше того, что я могу прочесть в ваших глазах, меньше того, что вам говорит ваше сердце и что мое сердце слышит. Мне бы следовало поступить, как благодетелю из романа, и уехать, не повидавшись с вами; но такая добродетель выше моих сил, потому что я человек слабый и тщеславный; я радуюсь, когда встречаю нежный, растроганный взор моих ближних. Теперь я уезжаю, и я даже настолько себялюбив, что говорю вам: не забывайте меня, друзья мои, – ибо, вероятно, мы с вами больше никогда не увидимся.

– Никогда больше не увидимся! – воскликнул Эмманюель, между тем как крупные слезы покатались по щекам Жюли. – Никогда больше не увидим вас! Так вы не человек, а божество, которое спустилось на землю, чтобы сотворить добро, а теперь возвращается на небо?

– Не говорите этого, – поспешно возразил Монте-Кристо, – никогда не говорите, друзья мои; боги не совершают зла, боги останавливаются там, где хотят остановиться; случай не властен над ними, напротив, они сами повелевают случаем. Нет, Эмманюель, я человек, и ваше восхищение столь же кощунственно, сколь не заслужено мною.

И граф, с сожалением покидая этот мирный дом, где обитало счастье, прильнул губами к руке Жюли, бросившейся в его объятия, и протянул другую руку Эмманюелю; потом кивнул Максимилиану, всё такому же безучастному и удрученному.

– Верните моему брату радость! – шепнула Жюли на ухо графу.

Монте-Кристо пожал ей руку, как одиннадцать лет тому назад, на лестнице, ведущей в кабинет арматора Морреля.

– Вы по-прежнему верите Синдбаду-Мореходу? – спросил он ее, улыбаясь.

– Да.

– В таком случае, ни о чем не печальтесь, уповайте на бога.

Как мы уже сказали, у ворот ждала почтовая карета, четверка резвых лошадей, встряхивая гривами, нетерпеливо била копытами о землю.

У крыльца ждал Али, задыхающийся, весь в поту, словно после долгого бега.

– Ну, что, – спросил его по-арабски граф, – был ты у старика?

Али кивнул головой.

– И ты развернул перед ним письмо, как я тебе велел?

Невольник снова склонил голову.

– И что же он сказал или, вернее, что же он сделал?

Али повернулся к свету, чтобы его господин мог его лучше видеть, и, старательно и искусно подражая мимике старика, закрыл глаза, как это делал Нуартье, когда хотел сказать: да.

– Отлично, он согласен, – сказал Монте-Кристо, – едем!

Едва он произнес это слово, лошади рванулись, и из-под копыт брызнул целый дождь искр. Максимилиан молча забился в угол.

Прошло полчаса; вдруг карета остановилась: граф дернул за шелковый шнурок, привязанный к пальцу Али.

Нубиец соскочил с козел, отворил дверцу, и граф вышел.

Ночь сверкала звездами. Монте-Кристо стоял на вершине холма Вильжюиф, на плоской возвышенности, откуда виден весь Париж, похожий на темное море, в котором, как фосфоресцирующие волны, переливаются миллионы огней; да, волны, по более бурные,

неистовые, изменчивые, более яростные и алчные, чем волны разгневанного океана, не ведающие покоя, вечно сталкивающиеся, вечно вспененные, вечно губительные!..

По знаку графа экипаж отъехал на несколько шагов, и он остался один.

Скрестив руки, Монте-Кристо долго смотрел на это горнило, где накаляются, плавятся и отливаются все мысли, которые, устремляясь из этой клокочущей бездны, волнуют мир. Потом, насытив свой властный взор зрелищем этого Вавилона, который очаровывает и благочестивых мечтателей и насмешливых материалистов, он склонил голову и молитвенно сложил руки.

– Великий город, – прошептал он, – еще и полгода не прошло, как я ступил на твою землю. Я верю, что божья воля привела меня сюда, и я покидаю тебя торжествующий; тайну моего пребывания в твоих стенах я доверил богу, и он единый читал в моем сердце: он единый знает, что я ухожу без ненависти и без гордыни, но не без сожалений; он единый знает, что я не ради себя и не ради суетных целей пользовался дарованным мне могуществом. Великий город, в твоём трепещущем лоне обрел я то, чего искал; как терпеливый рудокоп, я изрыл твои недра, чтобы извлечь из них зло; теперь мое дело сделано: назначение мое исполнено; теперь ты уже не можешь дать мне ни радости, ни горя. Прощай, Париж, прощай!

Он еще раз, подобный гению ночи, окинул взором обширную равнину; затем, проведя рукой по лбу, сел в карету, дверца за ним захлопнулась, и карета исчезла по ту сторону холма в вихре пыли и стуке колес.

Они проехали два лье, не обменявшись ни единым словом. Моррель был погружен в свои думы; Монте-Кристо долго смотрел на него.

– Моррель, – спросил он наконец, – вы не раскаиваетесь, что поехали со мной?

– Нет, граф; но расстаться с Парижем...

– Если бы я думал, что счастье ждет вас в Париже, я бы не увез вас оттуда.

– В Париже покоится Валентина, и расстаться с Парижем значит вторично потерять ее.

– Максимилиан, – сказал граф, – друзья, которых мы лишились, покоятся не в земле, но в нашем сердце, так хочет бог, дабы они всегда были с нами. У меня есть два друга, которые всегда со мной; одному я обязан жизнью, другому – разумом. Их дух живет в моем сердце. Когда меня, одолевают сомнения, я советуюсь с этими друзьями, и если мне удалось сделать немного добра, то лишь благодаря их советам. Прислушайтесь к голосу вашего сердца, Моррель, и спросите его, хорошо ли, что вы так неприветливы со мной.

– Друг мой, – сказал Максимилиан, – голос моего сердца полон скорби и сулит мне одни страдания.

– Слабые духом всегда все видят через траурную вуаль; душа сама создает свои горизонты; ваша душа сумрачна, это она застилает ваше небо тучами.

– Быть может, вы и правы, – сказал Максимилиан.

И он снова впал в задумчивость.

Путешествие совершалось с той чудесной быстротой, которая была во власти графа; города на их пути мелькали, как тени; деревья, колеблемые первыми порывами осеннего ветра, казалось, мчались им навстречу, словно взлохмаченные гиганты, и мгновенно исчезали. На следующее утро они прибыли в Шалон, где их ждал пароход графа; не теряя ни минуты, карету погрузили на пароход: путешественники взошли на борт.

Пароход был создан для быстрого хода; он напоминал индейскую пирогу; его два колеса казались крыльями, и он скользил по воде, словно перелетная птица; даже Морреля опьяняло это стремительное движение, и временами развевавший его волосы ветер едва не разгонял тучи на его челе.

По мере того как они отдалялись от Парижа, лицо графа светлело, прояснялось, от него исходила почти божественная ясность. Он казался изгнанником, возвращающимся на родину.

Скоро их взорам открылся Марсель, белый, теплый, полный жизни Марсель, младший брат Тира и Карфагена, их наследник на Средиземном море; Марсель, который, становясь старше, все молодеет. Для обоих были полны воспоминаний и круглая башня, и форт св. Николая, и ратуша, и гавань с каменными набережными, где они оба играли детьми.

По обоюдному желанию, они вышли на улице Каннебьер.

Какой-то корабль уходил в Алжир; тюки, пассажиры, заполнявшие палубу, толпа родных и друзей, прощания, возгласы и слезы – зрелище, всегда волнующее, даже для тех, кто видит его ежедневно, – вся эта суতোлка не могла отвлечь Максимилиана от мысли, завладевшей им с той минуты, как нога его ступила на широкие плиты набережной.

– Смотрите, – сказал он, беря Монте-Кристо под руку, – вот на этом месте стоял мой отец, когда «Фараон» входил в порт; вот здесь этот честнейший человек, которого вы спасли от смерти и позора, бросился в мои объятия; я до сих пор чувствую на лице его слезы; и плакал не он один, многие плакали, глядя на нас.

Монте-Кристо улыбнулся.

– Я стоял там, – сказал он, указывая на угол одной из улиц.

Не успел он договорить, как в том направлении, куда он указывал, раздался горестный стон, и они увидели женщину, которая махала рукой одному из пассажиров отплывающего корабля. Лицо ее было скрыто вуалью; Монте-Кристо следил за ней с таким волнением, что Моррель не мог бы не заметить этого, если бы его взгляд не был устремлен на палубу.

– Смотрите! – воскликнул Моррель. – Этот молодой человек в военной форме, который машет рукой, это Альбер де Морсер!

– Да, – сказал Монте-Кристо, – я тоже узнал его.

– Как? Вы ведь смотрели в другую сторону.

Граф улыбнулся, как он всегда улыбался, когда не хотел отвечать.

И глаза его снова обратились на женщину под вуалью; она исчезла за углом.

Тогда он обернулся.

– Дорогой друг, – сказал он Максимилиану, – нет ли у вас здесь какого-нибудь дела?

– Я навещу могилу отца, – глухо ответил Моррель.

– Хорошо, ступайте и ждите меня там; я приду туда.

– Вы уходите?

– Да... мне тоже нужно посетить святое для меня место.

Моррель слабо пожал протянутую руку графа, затем грустно кивнул головой и направился в восточную часть города.

Монте-Кристо подождал, пока Максимилиан скрылся из глаз, и пошел к Мельянским аллеям, где стоял тот скромный домик, с которым наши читатели познакомились в начале нашего повествования.

Дом этот всё так же осеняли ветвистые листья аллеи, служившей местом прогулок марсельцам; он весь зарос диким виноградом, оплетающим своими черными корявыми стеблями его каменные стены, пожелтевшие под пламенными лучами южного солнца. Две стертых каменных ступеньки вели к входной двери, сколоченной из трех досок, которые ежегодно расходились, но не знали ни глины, ни краски, и терпеливо ждали осеннюю сырости, чтобы снова сойтись.

Этот дом, прелестный, несмотря на свою ветхость, веселый, несмотря на свой невзрачный вид, был тот самый, в котором некогда жил старик Дантес. Но старик занимал мансарду, а в распоряжение Мерседес граф предоставил весь дом.

Сюда и вошла женщина в длинной вуали, которую Монте-Кристо видел на пристани; в ту минуту, когда он показался из-за угла, она закрывала за собой дверь, так что едва он ее достиг, как она снова исчезла.

Он хорошо был знаком с этими стертыми ступенями; он лучше всех знал, как открыть эту старую дверь: щеколда поднималась при помощи гвоздя с широкой головкой.

И он вошел, не постучавшись, не предупредив никого о своем приходе, вошел, как друг, как хозяин.

За домом находился залитый солнечным светом и теплом маленький садик, тот самый, где в указанном месте Мерседес нашла деньги, которые граф положил туда якобы двадцать четыре года тому назад; с порога входной двери были видны первые деревья этого садика.

Переступив этот порог, Монте-Кристо услышал вздох, похожий на рыдание; он взглянул в ту сторону, откуда донесся вздох, и среди кустов виргинского жасмина с густой листвой и длинными пурпурными цветами увидел Мерседес; она сидела на скамье и плакала.

Она откинула вуаль и, одна под куполом небес, закрыв руками лицо, дала волю рыданиям и вздохам, которые она так долго сдерживала в присутствии сына.

Монте-Кристо сделал несколько шагов; под его ногой захрустел песок.

Мерседес подняла голову и испуганно вскрикнула.

– Сударыня, – сказал граф, – я уже не властен дать вам счастье, но я хотел бы принести вам утешение; примете ли вы его от меня, как от друга?

– Да, я очень несчастна, – отвечала Мерседес, – одна на свете... У меня оставался только сын, и он меня покинул.

– Он хорошо сделал, сударыня, – возразил граф, – у него благородное сердце. Он понял, что каждый человек должен принести дань отечеству; одни отдают ему свой талант, другие свой труд; одни отдают свои бессонные ночи, другие – свою кровь. Оставаясь с вами, он растратил бы около вас свою ставшую бесполезной жизнь, и он не мог бы примириться с вашими страданиями. Бессилие озлобило бы его: борясь со своими невзгодами, которые он сумеет обратить в удачу, он станет сильным и могущественным. Дайте ему воссоздать свое и ваше будущее, сударыня; смею вас уверить, что оно в верных руках.

– Счастьем, которое вы ему пророчите и которое я от всей души молю бога ему даровать, мне уж не придется насладиться, – сказала бедная женщина, грустно качая головой. – Столько разбито во мне и вокруг меня, что я чувствую себя на краю могилы. Вы хорошо сделали, граф, что помогли мне возвратиться туда, где я была так счастлива; умирать надо там, где знал счастье.

– Ваши горькие слова, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – жгут мне сердце, жгут тем сильнее, что вы справедливо ненавидите меня; я виновник всех ваших страданий; почему вы, вместо того чтобы обвинять, не жалеете меня? Вы причинили бы мне еще горшую боль...

– Ненавидеть вас, обвинять вас, Эдмон?.. Ненавидеть, обвинять человека, который пощадил жизнь моего сына, – ведь правда, у вас было жестокое намерение отнять у господина де Морсер сына, которым он так гордился? Взгляните на меня, и вы увидите, есть ли в моем лице хоть тень укора.

Граф поднял свой взор и остановил его на Мерседес, которая протягивала ему обе руки.

– Взгляните на меня, – продолжала она с бесконечной грустью, – красота моя померкла, и в моих глазах уже нет блеска, прошло то время, когда я приходила с улыбкой к Эдмону Дантесу, который ждал меня там, у окна мансарды, где жил его старый отец... С тех пор протекло много тягостных дней, они вырыли пропасть между мной и прошлым. Обвинять вас, Эдмон, вас ненавидеть, мой друг? Нет! Я себя ненавижу и себя обвиняю! Я во всем виновата, – воскликнула она, сжимая руки. – Как жестоко я наказана!.. У меня была вера, невинность, любовь – эти три дара, которыми небо наделяет ангелов, а я, несчастная, я усомнилась в бою!

Монте-Кристо молча протянул ей руку.

– Нет, мой друг, – сказала она, мягко отнимая свою руку, – не дотрагивайтесь до меня. Вы меня пощадите, а между тем из всех, кого вы покарали, я одна не заслуживала пощадить. Все остальные действовали из ненависти, алчности, себялюбия; я же – из малодушия. У них была цель, а я – я испугалась. Нет, не пожимайте мою руку, Эдмон; я чувствую, вы хотите сказать мне доброе слово, – не нужно, поберегите его для другой, я его недостойна. Взгляните... (она совсем откинула вуаль) мои волосы поседелели от горя; мои глаза пролили столько слез, что они окружены лиловыми тенями; лоб мой избородили морщины. А вы, Эдмон, все такой же молодой, красивый, гордый. Это оттого, что в вас была вера, в вас было мужество, вы уповали на бога, и бог поддержал вас. А я была малодушна, я отреклась; господь меня покинул, – и вот что стало со мной.

Мерседес зарыдала; сердце ее разрывалось от боли воспоминаний.

Монте-Кристо взял ее руку и почтительно поцеловал; но она сама почувствовала, что в этом поцелуе не было огня, словно он был запечатлен на мраморной руке святой.

– Есть такие обреченные жизни, – продолжала она, – первая же ошибка разбивает все их будущее. Я вас считала умершим, и я должна была тоже умереть; что пользы, что я в сердце своем неустанно оплакивала вас? В тридцать девять лет я стала старухой – и только. Что пользы, что, единственная из всех узнав вас, я спасла жизнь моему сыну? Разве не должна я была спасти также человека, которого я выбрала себе в мужья, как бы ни велика была его вина? А я дала ему умереть. Больше того! Я сама приблизила его смерть своим бездушием, своим презрением, не думая, не желая думать о том, что он из-за меня стал клятвопреступником и предателем! Что пользы, наконец, что я приехала с моим сыном сюда, раз я его покинула, отпустила его одного, отдала его смертоносной Африке? Да, я была малодушна! Я отреклась от своей любви, и, как все отступники, я приношу несчастье тем, кто окружает меня.

– Нет, Мерседес, – сказал Монте-Кристо, – вы не должны судить себя так строго. Вы благородная, святая женщина, вы обезоружили меня силой своего горя; но за мной, незримый, неведомый, гневный, стоял господь, чьим посланным я был, и он не захотел остановить брошенную мною молнию. Клянусь богом, пред которым я уже десять лет каждый день повергаюсь ниц, призываю его в свидетели, что я пожертвовал вам своей жизнью и, вместе с жизнью, всеми своими замыслами! Но, Мерседес, и я говорю это с гордостью, я был нужен богу,

и он вернул меня к жизни. Вдумайтесь в прошлое, вдумайтесь в настоящее, постарайтесь предугадать будущее и скажите: разве я не орудие всевышнего? В самых ужасных несчастьях, в самых жестоких страданиях, забытый всеми, кто меня любил, гонимый теми, кто меня не знал, я прожил половину жизни; и вдруг, после заточения, одиночества, лишений – воздух, свобода, богатство; богатство столь ослепительное, волшебное, столь невероятное, что я должен был поверить, что бог посылает мне его для великих деяний. С тех пор я нес это богатство как служение; с тех пор меня уже ничто не прельщало в этой жизни, в которой вы, Мерседес, порой находили сладость; я не знал ни часа отдыха; какая-то сила влекла меня вперед; словно я был огненным облаком, пронсящим по небу, чтобы испепелить проклятые богом города. Подобно тем отважным капитанам, которые снаряжают свой корабль в тяжелый путь, в опасный поход, я собирал припасы, готовил оружие, приучал свое тело к самым тяжким испытаниям, приучал душу к самым сильным потрясениям, чтобы моя рука умела убивать, мои глаза – созерцать страдания, мои губы – улыбаться пря самым ужасным зрелищам; из доброго, доверчивого, не помнящего зла я сделался мстительным, скрытным, злым или, вернее, бесстрастным, как глухой и слепой рок. Тогда я вступил на уготованный мне путь, я пересек пространства, я достиг цели; горе тем, кого я встретил на своем пути.

– Довольно, – сказала Мерседес, – довольно, Эдмон! Поверьте, что если я, единственная из всех, вас узнала, то я одна могла и понять вас. И если бы вы встретили меня на своем пути и разбили, как стеклянный сосуд, я и тогда не могла бы не восхищаться вами, Эдмон! Как между мной и прошлым лежит пропасть, так лежит пропасть между вами и остальными людьми; и всего мучительнее для меня сравнивать вас с другими; ибо нет никого на свете равного вам, никого, кто был бы подобен вам. Теперь проститесь со мной, Эдмон, и расстанемся.

– Раньше чем мы расстанемся, скажите мне, что я могу для вас сделать, Мерседес? – спросил Монте-Кристо.

– Я хочу только одного, Эдмон: чтобы мой сын был счастлив.

– Молите бога, который один держит в своей руке жизнь людей, чтобы он отвел от него смерть; об остальном я позабочусь.

– Благодарю вас, Эдмон.

– А вы, Мерседес?

– Мне ничего не нужно, я живу меж двух могил; одна – это могила Эдмона Дантеса, уже давно умершего; я его любила! Моим поблекшим губам не пристало произносить это слово, но мое сердце ничего не забыло, и ни за какие блага мира я бы не отдала эту память сердца. В другой могиле лежит человек, которого Эдмон Дантес убил; я оправдываю это убийство, но мой долг молиться за убитого.

– Ваш сын будет счастлив, – повторил граф.

– Тогда и я буду счастлива, насколько это для меня возможно.

– Но... все же... как вы будете жить?

Мерседес печально улыбнулась.

– Если я скажу, что буду жить здесь так, как прежняя Мерседес, трудом, вы этому не поверите; теперь я умею только молиться, но мне и нет необходимости работать; зарытый вами клад нашелся в том самом месте, которое вы указали; люди будут любопытствовать, кто я, что я здесь делаю, на какие средства я живу, но не все ли мне равно! Это касается только бога, вас и меня.

– Мерседес, – сказал граф, – я говорю это вам по в укор, но вы принесли слишком большую жертву, отказавшись от всего того состояния, которое приобрел граф де Морсер и половина которого принадлежала вам по праву.

– Я догадываюсь о том, что вы хотите мне предложить, но я не могу этого принять. Эдмон, мой сын мне не позволил бы.

– Поэтому я и не осмелюсь ничего сделать для вас, не заручившись одобрением Альбера. Я узнаю его желания и подчинюсь им. Но если он согласится на то, что я предлагаю сделать, вы не воспротивитесь?

– Вы должны знать, Эдмон, что я уже не в силах рассуждать; я не способна принимать решений, кроме единственного – никогда ничего не решать. Господь наслал па меня бури, которые сломили мою волю. Я бессильна в его руках, как воробей в когтях орла. Раз я еще живу – значит, такова его воля.

– Берегитесь, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – не так поклоняются богу! Бог требует, чтобы его понимали и разумно принимали его могущество; вот почему он и дал вам свободную волю.

– Нет! – воскликнула Мерседес. – Не говорите так! Если бы я думала, что бог дал мне свободную волю, что спасло бы меня от отчаяния?

Монте-Кристо слегка побледнел и опустил голову, подавленный страстной силой этого горя.

– Вы не хотите сказать мне: до свидания? – произнес он, протягивая ей руку.

– Напротив, я говорю вам: до свидания, – возразила Мерседес, торжественно указывая ему на небо, – вы видите, во мне еще живет надежда.

И, пожав дрожащей рукой руку графа, Мерседес бросилась на лестницу и скрылась.

Тогда Монте-Кристо медленно вышел из дома и снова направился к гавани.

Но Мерседес не видела, как он удалялся, хоть и стояла у окна мансарды, где жил старик Дантес. Глаза ее искали вдали корабль, уносивший ее сына в открытое море.

Правда, губы ее невольно, чуть слышно шептали:

– Эдмон! Эдмон!

XVI. Прошлое

Граф с шемящей тоской в сердце вышел из этого дома, где он оставил Мерседес, которую, быть может, видел в последний раз.

После смерти маленького Эдуарда в Монте-Кристо произошла глубокая перемена. Он шел долгим, извилистым путем мщениа, и, когда достиг вершины, бездна сомнения внезапно разверзлась перед ним.

Более того: разговор с Мерседес пробудил в его душе такие воспоминания, которые он жаждал побороть.

Монте-Кристо был не из тех людей, которые подолгу предаются меланхолии: это нища для заурядного ума, черпающего в ней мнимую оригинальность, но она пагубна для сильных натур. Граф сказал себе, что если он сомневается и чуть ли не порицает себя, – значит, в его расчеты вкралась какая-то ошибка.

«Я неверно сужу о прошлом, – говорил он себе, – я не мог так грубо ошибиться. Неужели я поставил себе безумную цель? Неужели я десять лет шел по ложному пути? Неужели зодчему довольно было одного часа, чтобы убедиться в том, что создание рук его, в которое он вложил все свои надежды, – если и не невозможно, то по меньшей мере кощунственно?»

Я не могу допустить этой мысли, она сведет меня с ума.

Прошлое представляется мне в ложном свете, потому что я смотрю на него слишком издалека. Когда идешь вперед, прошлое, подобно пейзажу, исчезает по мере того, как проходишь мимо. Я словно поранил себя во сне; я вижу кровь, я чувствую боль, но не помню, как получил эту рану.

Ты, возрожденный к жизни, богатый сумасброд, грезящий наяву, всемогущий провидец, всемогущий миллионер, возвратись на мгновение к мрачному зрелищу жалкой и голодной жизни, пройди снова тот путь, на который тебя обрекла судьба, куда тебя привело злосчастье, где тебя ждало отчаяние; слишком много алмазов, золота и наслаждения сверкает на поверхности того зеркала, в которое Монте-Кристо смотрит на Дантеса; спрячь эти алмазы, запятнай это золото, сотри эти лучи; богач, вспомни бедняка; свободный, вспомни узника; воскресший, вспомни мертвеца».

Погруженный в такие думы, Монте-Кристо шел по улице Коссри. Это была та самая улица, по которой двадцать четыре года тому назад его везла безмолвная стража; эти дома, теперь веселые и оживленные, были в ту ночь темны и молчаливы.

– Это те же дома, – шептал Монте-Кристо, – но только тогда была ночь, а сейчас светлый день; солнце все освещает и всему придает радостный вид.

Он спустился по улице Сен-Лоран на набережную и подошел к Управлению порта; здесь его тогда посадили в баркас.

Мимо шла лодка под холщовым тентом; Монте-Кристо окликнул лодочника, и тот поспешил к нему, предвидя щедрое вознаграждение.

Погода была чудесная, прогулка восхитительная. Солнце, алое, пылающее, спускалось к горизонту, воспламеняя волны; по морю, гладкому, как зеркало, иногда пробегала рябь – это рыба, преследуемая невидимым врагом, выскакивала из воды, ища спасения в чуждой стихии;

вдали скользили белые и легкие, как чайки, рыбацьи лодки, направляющиеся в Мартиг, и торговые суда, везущие груз на Корсику или в Испанию.

Но граф не замечал ни безоблачного неба, ни скользящих лодок, ни все заливающего золотого света. Завернувшись в плащ, он вспоминал одну за другой все вехи своего страшного пути: одинокий огонек, светившийся в Каталанах, грозный силуэт замка Иф, указавший ему, куда его везут, борьбу с жандармами, когда он хотел броситься в море, свое отчаяние, когда он почувствовал себя побежденным, и холод ружейного дула, приставленного к виску.

И мало-помалу, подобно высохшим за лето ручьям, которые, когда надвигаются осенние тучи, понемногу наполняются влагой и начинают оживать капля за каплей, граф Монте-Кристо ощутил, как в груди его, капля за каплей, начинает сочиться желчь, некогда заливавшая сердце Эдмона Дантеса.

Для него с этой минуты не было больше ни ясного неба, ни легких лодок, ни золотого сияния; небо заволочлось траурными тучами, а когда перед ним вырос черный гигант, носящий имя замка Иф, он вздрогнул, словно увидел призрак смертельного врага.

Они были у цели.

Граф невольно отодвинулся на самый конец лодки, хотя лодочник самым приветливым голосом повторял ему:

– Приехали, сударь.

Монте-Кристо вспомнил, как на этом самом месте, по этой скалистой тропе волокла его стража и как его подгоняли острием штыка.

Некогда этот путь показался Дантесу бесконечным; Монте-Кристо нашел его очень коротким; каждый взмах весла, вместе с брызгами воды, рождал миллионы мыслей и воспоминаний.

Со времени Июльской революции замок Иф уже не был тюрьмой; он превратился в сторожевой пост, назначением которого было препятствовать провозу контрабанды; у ворот стоял привратник, поджидая посетителей, приезжающих осматривать этот памятник Ужаса, ставший теперь просто достопримечательностью.

Монте-Кристо знал это и все же, когда он вошел под эти своды, спустился по темной лестнице, когда его провели в подземелье, которое он пожелал осмотреть, мертвенная бледность покрыла его чело, и ледяной холод пронизал его сердце.

Граф спросил, не осталось ли здесь какого-нибудь старого тюремщика времен Реставрации; но все они ушли на пенсию или заняли другие должности.

Привратник, который водил его, был здесь только с 1830 года.

Его провели в его собственную темницу.

Он снова увидел тусклый свет, проникавший сквозь узкую отдушину, увидел место, где стояла кровать, теперь уже унесенная, а за кроватью, хоть и заделанное, но выделявшееся своими более светлыми камнями, отверстие, пробитое аббатом Фариа.

Монте-Кристо почувствовал, что у него подгибаются ноги; он пододвинул деревянный табурет и сел.

– Что рассказывают об узниках этого замка, если не считать Мирабо? – спросил граф. – Существуют ли какие-нибудь предания об этих мрачных подземельях, глядя на которые даже не веришь, чтобы люди могли заточить сюда живого человека?

– Да, сударь, – отвечал привратник, – об этой самой камере мне рассказывал тюремщик Антуан.

Монте-Кристо вздрогнул. Этот Антуан был его тюремщиком. Он почти забыл его имя и черты его лица, но когда это имя было названо, он его увидел, как живого: бородатое лицо, темную куртку и связку ключей, звяканье которых он, казалось, еще слышал.

Граф обернулся, и ему почудилось, что Антуан стоит в глубине коридора, казавшегося еще более мрачным при свете факела, который держал привратник.

– Если угодно, я расскажу, – предложил привратник.

– Да, расскажите, – отвечал Монте-Кристо.

И он прижал руку к сердцу, чтобы унять его неистовый стук, со страхом готовясь выслушать повесть о самом себе.

– Расскажите, – повторил он.

– В этой самой камере, – начал привратник, – тому уже много лет, жил один арестант, человек очень опасный, говорят, а главное – очень отчаянный. В те же годы здесь находился еще один заключенный, священник, но этот был смиренный; он, бедняга, помешался.

– Помешался? – повторил Монте-Кристо. А на чем?

– Он всем предлагал миллионы, если его выпустят.

Монте-Кристо поднял глаза к небу, но не увидел его: между ним и небесным сводом была каменная преграда. Он подумал о том, что между глазами тех, кому аббат Фариа предлагал сокровища, и этими сокровищами преграда была не меньшая.

– Могли заключенные видаться друг с другом – спросил Монте-Кристо.

– Нет, сударь, это было строжайше запрещено; но они обошли это запрещение и пробили ход из одной камеры в другую.

– А кто из них пробил ход?

– Молодой, понятно, – сказал привратник, – он был ловкий и сильный, а бедный аббат был уже стар, да и мысли у него путались.

– Слепцы!.. – прошептал Монте-Кристо.

– Словом, – продолжал привратник, – молодой пробил ход; чем? – бог знает, но пробил. Вот поглядите, следы и сейчас еще видны.

И он приблизил к стене факел.

– Да, вижу, – заметил граф глухим от волнения голосом.

– Потом они начали ходить друг к другу. Сколько времени это продолжалось? Никому не известно. Потом старик заболел и умер. Как вы думаете, что сделал молодой?

– Расскажите.

– Он перенес покойника к себе, положил его на свою кровать, лицом к стене, вернулся в пустую камеру, заделал отверстие и залез в мешок мертвеца. Что вы на это скажете?

Монте-Кристо закрыл глаза и снова почувствовал на своем лице прикосновение грубого холста, еще пропитанного смертным холодом.

– Он, видите ли, думал, – продолжал привратник, – что в замке Иф мертвецов хоронят и, попятное дело, не тратятся на гробы; и он рассчитывал вылезти из-под земли; по, на его беду, в замке был другой обычай; мертвых не хоронили, а просто привязывали к ногам ядро и кидали в море; так было и на этот раз. Нашего молодца бросили в море; на другой день в постели нашли настоящего мертвеца, и все открылось; сторожа, которые бросили в море, рассказали то, о чем не решались сказать раньше: когда мешок полетел вниз, они услышали ужасный крик, который тотчас же заглушила вода.

Граф тяжело дышал, сердце его мучительно сжималось.

– Нет! – прошептал он, – нет! Я сомневался только потому, что начал забывать: но здесь раны моего сердца снова открылись, и я снова жажду мщения.

– А об этом узнике больше ничего не известно? – спросил он.

– Ничего, как есть ничего: понимаете, либо он упал плашмя с высоты пятидесяти футов и убили насмерть...

– Вы сказали, что ему привязали к ногам ядро, он должен был упасть стоймя.

– Либо он упал стоймя, – продолжал привратник, – и тогда ядро потащило его на дно, где он и остался, бедняга!

– Вам жаль его?

– Правду говоря, жаль, хоть он в море был, как дома.

– Почему?

– Да говорят, что этот несчастный парень был прежде моряком, которого посадили в тюрьму за бонапартизм.

– Истина, – прошептал граф, – по воле бога ты всплываешь над водами и над пламенем! Память о бедном моряке еще жива, об его горькой судьбе рассказывают у очага, и все вздрагивают, когда он рассекает воздух и погружается в морскую пучину.

– А его имя вы знаете? – вслух спросил граф.

– Откуда же? – спросил сторож. – Он значился просто под номером тридцать четыре.

– Вильфор! Вильфор! – пробормотал Монте-Кристо. – Вот что ты, должно быть, твердил себе, когда мой призрак тревожил твои бессонные ночи.

– Угодно вам продолжать осмотр, сударь? – спросил привратник.

– Да, покажите мне камеру сумасшедшего аббата.

– Номера двадцать седьмого?

– Да, номера двадцать семь, – повторил Монте-Кристо.

И ему показалось, что он снова слышит голос аббата Фариа, который, в ответ на просьбу назвать себя, через стену крикнул ему этот номер.

- Идемте.
- Подождите, – сказал Монте-Кристо, – мне хочется лучше осмотреть эту темницу.
- Это очень кстати, – сказал проводник, – я забыл взять ключ от той камеры.
- Сходите за ним.
- Я оставлю вам факел.
- Нет, возьмите его с собой.
- Но вы останетесь впотьмах.
- Я отлично вижу в темноте.
- Скажите! Совсем, как он.
- Как кто?

– Номер тридцать четыре. Говорят, он так привык к темноте, что заметил бы булавку в самом темном углу своей камеры.

- Ему потребовалось десять лет, чтобы дойти до этого, – прошептал граф.

Проводник ушел, унося с собой факел.

Граф сказал правду: не прошло и нескольких секунд, как он стал все различать в темноте, словно при дневном свете. Тогда он осмотрелся, тогда он по-настоящему узнал свою темницу.

– Да, – сказал он, – вот камень, на котором я сидел. Вот след моих плеч на стене! Вот следы моей крови, они остались здесь с того дня, когда я хотел разбить себе голову об стену!.. Вот цифры... я помню их... я начертал их однажды, когда высчитывал годы моего отца, гадая, застану ли я его еще в живых, и годы Мерседес, гадая, будет ли она еще свободна... Когда я кончил этот подсчет, у меня мелькнула надежда... Я не предвидел ни голода, ни измены!

И горький смех вырвался у него из груди. Как во сне, перед ним мелькнули похороны отца... Мерседес, идущая к алтарю!

На другой стене ему бросилась в глаза надпись. Она все еще отчетливо белела на зеленоватой стене:

«Боже, – прочитал Монте-Кристо, – сохрани мне память».

– Да, да, – воскликнул он, – вот единственная молитва моих последних лет в этой темнице. Я уже не молил о свободе, я молил о памяти, я боялся сойти с ума и все забыть; боже, ты сохранил мне память, и я ничего не забыл. Благодарю тебя, господи!

В эту минуту на стенах заиграл свет факела; это спускался привратник.

Монте-Кристо пошел ему навстречу.

- Идите за мной, – сказал тот.

Подземным коридором они прошли к другой двери.

В камере аббата воспоминания снова нахлынули на Монте-Кристо.

Прежде всего ему бросился в глаза вычерченный на стене меридиан, при помощи которого аббат Фариа вычислял время; потом он заметил остатки кровати, на которой умер несчастный узник. Вместо ужаса, который он испытал в собственной темнице, здесь графа охватило нежное и теплое чувство, чувство бесконечной благодарности, и на его глаза навернулись слезы.

– Вот здесь жил сумасшедший аббат, – сказал его проводник, – вот оттуда приходил к нему сосед. (И он указал на пролом, который с этого конца остался незаделанным). – По цвету камней, – продолжал он, – один ученый узнал, что заключенные ходили друг к другу лет десять. Не очень-то весело они, бедные, провели эти десять лет!

Дантес вынул из кармана несколько золотых и протянул их этому человеку, который, совсем его не зная, дважды пожалел его.

Привратник взял деньги, но, при свете факела, он увидел, что посетитель вместо нескольких мелких монет дал ему неожиданно большую сумму.

- Сударь, – сказал он, – вы ошиблись.

– В чем?

– Вы дали мне золото.

– Знаю.

– Знаете?

– Да.

– Вы даете мне эти золотые?

– Да.

– И я могу оставить их себе, по совести?

– И по чести, – сказал граф, цитируя Гамлета.

Привратник изумление посмотрел на него.

– Сударь, – сказал он, боясь поверить своему счастью, – я не понимаю, чем я заслужил такую щедрость.

– Очень просто, мой друг, – сказал граф, – я сам был моряком, и ваш рассказ меня очень заинтересовал.

– Раз уж вы так щедры, сударь, – сказал проводник, – то я вам кое-что предложу.

– Что вы можете мне предложить? Раковины, плетеные корзиночки? Нет, благодарю.

– Нет, нет, сударь: это имеет отношение к моему рассказу.

– Неужели? – живо воскликнул граф. – Что же это?

– Дело было так, – сказал привратник. – Я подумал себе: в камере, где человек провел пятнадцать лет, всегда можно что-нибудь найти: и я начал выстукивать стены.

– Верно, – воскликнул Монте-Кристо, вспомнив тайники аббата.

– После долгих розысков, – продолжал привратник, – я заметил, что у изголовья кровати и под очагом камень звучит гулко.

– Да, – сказал Монте-Кристо.

– Я вынул камни и нашел...

– Веревочную лестницу, инструменты? – воскликнул граф.

– Откуда вы знаете? – удивленно спросил привратник.

– Я не знаю, я просто догадался, – сказал граф, – обычно в тайниках тюремных камер находят именно такие вещи.

– Да, сударь, – сказал проводник, – веревочную лестницу, инструменты.

– Они у вас? – воскликнул Монте-Кристо.

– Нет, сударь; все это я продал посетителям; но у меня еще осталось кое-что.

– Что же именно? – нетерпеливо спросил граф.

– Какая-то книга, написанная на полосках холста.

– Как! – воскликнул Монте-Кристо, – у тебя есть эта книга?

– Может быть, это и не книга, – сказал привратник, – во всяком случае она у меня.

– Сбегай за ней, мой друг, – сказал граф, – и если это то, что я думаю, ты не пожалеешь.

– Бегу, сударь.

И привратник вышел.

Тогда Монте-Кристо опустился на колени перед остатками этой кровати, которую смерть обратила для него в алтарь.

– О мой второй отец, – сказал он, – ты, которому я обязан свободой, знаниями, богатством; ты, подобно высшему существу владевший тайной добра и зла; если в глубине могилы от нас остается нечто, что откликается на голос живущих на земле; если, после преобразования плоти нечто живое еще носится там, где мы много любили или много страдали, то заклинаю тебя, благородное сердце, высокий разум, проникновенная душа, во имя отеческой любви, которой ты меня подарил, во имя сыновней преданности, которую я питал к тебе, единым словом, знаком, откровением развея мои сомнения, ибо, если они не сменятся верой, они обратятся в раскаяние.

Граф склонил голову и сложил руки.

– Извольте, сударь, – раздался голос позади.

Монте-Кристо вздрогнул и обернулся.

Привратник протягивал ему полоски холста, на которых аббат Фариа запечатлел все сокровища своего знания. Это была рукопись его обширного труда о государственной власти в Италии.

Граф схватил ее, и его взгляд прежде всего упал на эпитафию: он прочел:

«Ты вырвешь у дракона зубы и растопчешь львов, – сказал господь».

– Вот ответ! – воскликнул он. – Благодарю тебя, отец, благодарю.

И, вынув из кармана бумажник, в котором лежало десять тысячефранковых билетов, он сказал:

– Возьми.

– Это мне?

– Да, по с условию, что ты не раскроешь его, пока я не уеду.

И, спрятав на груди вновь обретенную им реликвию, которая была для него дороже всех сокровищ мира, он выбежал из подземелья и прыгнул в лодку.

– В Марсель! – сказал он.

Лодка тронулась. Монте-Кристо устремил взгляд на угрюмый замок.

– Горе тем, – сказал он, – кто заточил меня в эту мрачную темницу, и тем, кто забыл, что я в ней заточен?

Плывя мимо Каталана, граф отвернулся; и, закрыв лицо плащом, он прошептал женское имя.

Победа была полная: граф поборол и второе сомнение. Имя, которое он произнес с нежностью, почти с любовью, было имя Гайде.

Сойдя на берег, Монте-Кристо направился к кладбищу, где его ждал Моррель.

Он тоже, десять лет тому назад, благоговейно искал на этом кладбище могилу, но искал ее напрасно. Он, возвращавшийся во Францию миллионером, не мог отыскать могилы своего отца, умершего от голода.

Правда, старик Моррель велел поставить на ней крест, но крест упал, и могильщик употребил его на дрова, как обычно поступают могильщики со всеми обломками, валяющимися на кладбищах.

Достойный арматор оказался счастливее; он скончался на руках у своих детей и был похоронен ими подле его жены, отошедшей в вечность за два года до него.

Две широкие мраморные плиты, на которых были вырезаны их имена, покоились рядом в тени четырех кипарисов, обнесенные железной решеткой.

Максимилиан стоял, прислонившись к дереву, устремив на могилы невидящий взгляд.

Казалось, он обезумел от горя.

– Максимилиан, – сказал ему граф, – смотреть надо не сюда, а туда!

И он указал на небо.

– Умершие всюду с нами, – сказал Моррель, – вы сами говорили мне это, когда увозили меня из Парижа.

– Максимилиан, – сказал граф, – по дороге вы сказали, что хотели бы провести несколько дней в Марселе: ваше желание не изменилось?

– У меня больше нет желаний, граф; но мне кажется, что мне легче будет ждать здесь, чем где бы то ни было.

– Тем лучше, Максимилиан, потому что я покидаю вас и увожу с собой ваше слово, не правда ли?

– Я могу забыть его, граф, – сказал Моррель.

– Нет, вы его не забудете, потому что вы прежде всего человек чести, Моррель, потому что вы клялись, потому что вы еще раз поклянетесь.

– Граф, сжальтесь надо мной! Я так несчастлив!

– Я знал человека, который был еще несчастнее вас, Моррель.

– Это невозможно.

– Жалкое человеческое тщеславие, – сказал Монте-Кристо. – Каждый считает, что он несчастнее, чем другой несчастный, который плачет и стонет рядом с ним.

– Кто может быть несчастнее человека, который лишился единственного, что он любил и чего желал на свете?

– Слушайте, Моррель, – сказал Монте-Кристо, – и сосредоточьте на минуту свои мысли на том, что я вам скажу. Я знал человека, который жил так же, как и вы, построил все свои мечты о счастье на любви к одной женщине. Этот человек был молод, у него был старик отец, которого он любил, невеста, которую он обожал; должна была состояться свадьба. Но вдруг прихоть судьбы, из тех, что заставили бы усомниться в благодати божьей, если бы бог впоследствии не открывал нам, что все в мире служит его единому промыслу, – как вдруг эта прихоть судьбы отняла у него свободу, возлюбленную, будущее, которое он уже считал своим (так как он, несчастный слепец, видел только настоящее), и бросила его в темницу.

– Из темницы выходят через неделю, через месяц, через год, – заметил Моррель.

– Он пробыл в ней четырнадцать лет, Моррель, – сказал граф, кладя ему руку на плечо.

Максимилиан вздрогнул.

– Четырнадцать лет! – прошептал он.

– Четырнадцать лет, – повторил граф. – У него также за эти долгие годы бывали минуты отчаяния; он, так же как и вы, Моррель, считал себя несчастнейшим из людей и хотел убить себя.

– И что же? – спросил Моррель.

– И вот в последнюю минуту господь послал ему спасение в образе человека, ибо господь больше не являет чудес; быть может, сначала он и не понимал бесконечной благодати божьей (нужно время, чтобы глаза, затуманенные слезами, вновь стали зрячими); но он все-таки решил терпеть и ждать. Настал день, когда он чудом вышел из могилы, преображенный, богатый, могущественный, полубог; его первый порыв был пойти к отцу; его отец умер.

– Мой отец тоже умер, – сказал Моррель.

– Да, но ваш отец умер на ваших руках, любимый, счастливый, почитаемый, богатый, дожив до глубокой старости; его отец умер нищим, отчаявшимся, сомневающимся в боге; и когда спустя десять лет после его смерти сын искал его могилу, самая могила исчезла, и никто не мог ему сказать: здесь покоится сердце, которое тебя так любило.

– Боже! – сказал Моррель.

– Этот сын был несчастнее вас, Моррель, он не знал даже, где искать могилу своего отца.

– Но у него оставалась женщина, которую он любил, – сказал Моррель.

– Вы ошибаетесь, Моррель; эта женщина...

– Умерла? – воскликнул Максимилиан.

– Хуже; она изменила ему: она вышла замуж за одного из гонителей своего жениха. Вы видите, Моррель, что этот человек был еще более несчастлив в своей любви, чем вы!

– И бог послал этому человеку утешение? – спросил Моррель.

– Он послал ему покой.

– И этот человек может еще познать счастье?

– Он надеется на это, Максимилиан.

Моррель молча поник головой.

– Я сдержу свое слово, – сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, – по только помните...

– Пятого октября, Моррель, я жду вас на острове Монте-Кристо. Четвертого в Бастии вас будет ожидать яхта «Эвро»; вы назовете себя капитану, и он отвезет вас ко мне. Решено, Максимилиан?

– Решено, граф, я сдержу слово. По помните, что пятою октября...

– Вы ребенок, Моррель, вы еще не понимаете, что такое обещание взрослого человека... Я уже двадцать раз повторял вам, что в этот день, если вы все еще будете жаждать смерти, я помогу вам. Прощайте.

– Вы покидаете меня?

– Да, у меня есть дело в Италии; я оставляю вас одною наедине с вашим морем, наедине с этим ширококрылым орлом, которого бог посылает своим избранникам, чтобы он вознес и к его ногам; история Ганимеда, Максимилиан, не сказка, по аллегория.

– Когда вы уезжаете?

– Сейчас; меня уже ждет пароход, через час я буду далеко; вы меня проводите до гавани?

– Я весь в вашем распоряжении, граф.

– Обнимите меня.

Моррель проводил графа до гавани; уже дым, словно огромный султан, вырываясь из черной трубы, подымался к небесам. Пароход вскоре отчалил, и через час, как и сказал Монте-Кристо, тот же султан беловатого дыма, едва различимый, вился на восточном краю горизонта, где уж сгустился сумрак близкой ночи.

XVII. Пеппино

В то самое время, как пароход графа исчезал за мысом Моржион, путешественник, ехавший на почтовых по дороге из Флоренции в Рим, только что оставил позади маленький городок Аквапендепте. Он ехал так быстро, как только можно было, не вызывая подозрений.

Он был в сюртуке или, вернее, в пальто, чрезвычайно от дороги потрепаншемся, но на котором красовалась еще совсем свежая ленточка Почетного легиона; такая же ленточка была продета и в петлицу его костюма. Не только по этому признаку, но и по тому, как он произносил слова, когда обращался к кучеру, этот человек, несомненно, был француз. Доказательством того, что он родился в стране универсального языка, служило еще и то, что по-итальянски он знал только принятые в музыке слова, которые, как «*goddam*» Фигаро, могут заменить собой все тонкости любого языка.

– Allegro! – говорил он кучеру при каждом подъеме.

– Moderate! – твердил он при каждом спуске.

А только одному богу известно, сколько подъемов и спусков на пути из Флоренции в Рим, если ехать через Аквапеденте!

Кстати сказать, эти два слова немало смешили тех, к кому он обращался.

Перед лицом Вечною юрода, то есть доехав до Сторты, откуда уже виден Рим, путешественник не испытал того чувства восторженною любопытства, что заставляет каждого чужестранца привстать в экипаже, чтобы увидеть знаменитый купол святого Петра, который видишь прежде всего, подъезжая к Риму.

Нет, он только вынул из кармана бумажник, а из бумажника сложенный вчетверо листок, который он с почтительной осторожностью развернул и затем снова сложил, сказав всего-навсего:

– Отлично, она здесь.

Экипаж миновал ворота дель Пололо, свернул налево и остановился у гостиницы «Лондон».

Маэстро Пастрини, наш старый знакомый, встретил путешественника на пороге, с шляпой в руке.

Путешественник вышел из экипажа, заказал хороший обед и спросил адрес банкирского дома Томсон и Френч, который немедленно был ему указан, так как это был один из самых известных банкирских домов Рима.

Он помещался на Банковской улице, недалеко от собора св. Петра.

В Риме, как и всюду, прибытие почтовой кареты привлекает всеобщее внимание. Несколько юных потомков Мария и Гракхов, босоногие, с продранными локтями, но подбоченясь одной рукой и живописно закинув другую за голову, рассматривали путешественника, карету и лошадей; к этим уличным мальчишкам, юным гражданам Вечного города, присоединилось с полсотни зевак, верноподданных его святейшества, из тех, которые от нечего делать плюют с моста св. Ангела в Тибр, любуясь на расходящиеся по воде круги, – когда в Тибре есть вода.

А так как римские уличные мальчишки и зеваки, более в этом отношении счастливые, чем парижские, понимают все языки и в особенности французский, то они слышали, как путешественник спросил себе номер, заказал обед и, наконец, осведомился об адресе банкирского дома Томсон и Френч.

Поэтому, когда приезжий вышел из гостиницы в сопровождении неизбежного чичероне, от кучки любопытных отделился человек и, не замеченный путешественником, а также, по-видимому, и его проводником, пошел за ним на некотором расстоянии, выслеживая его с такой ловкостью, которая сделала бы честь парижскому сыщику.

Француз так спешил посетить банкирский дом Томсон и Френч, что не захотел ждать, пока заложат лошадей, и экипаж должен был догнать его по дороге или ожидать у дверей банка.

По дороге экипаж его не нагнал.

Француз вошел в банк; проводник остался ждать в передней, где сразу же вступил в разговор с несколькими лицами без определенных занятий или, вернее, занимающимися чем попало, которые в Риме всегда слоняются возле банков, церквей, развалин, музеев и театров.

Одновременно с французом вошел и тот человек, который отделился от кучки любопытных; француз позвонил у дверей конторы и прошел в первую комнату; его тень последовала за ним.

– Могу я видеть господ Томсон и Френч? – спросил приезжий.

По знаку конторщика, важно восседавшего в первой комнате, подошел служитель.

– Как прикажете доложить? – спросил он, собираясь показать чужестранцу дорогу.

– Барон Данглар, – отвечал путешественник.

– Пожалуйста.

Открылась дверь; служитель и барон исчезли за ней.

Человек, вошедший вслед за Дангларом, сел на скамейку для ожидающих.

Минут пять конторщик продолжал писать; в продолжение этих пяти минут сидевший на скамейке человек хранил глубокое молчание и полную неподвижность.

Наконец конторщик перестал скрипеть пером; он поднял голову, внимательно посмотрел кругом и, удостоверившись, что они одни, сказал:

– А-а, это ты, Пеппино?

– Да! – лаконически ответил тот.

– Ты почуял, что этот толстяк чего-нибудь стоит?
– На этот раз нашей заслуги тут нет, нас предупредили.
– Так ты знаешь, зачем он сюда явился?
– Еще бы! Он явился за деньгами; остается узнать, какова сумма.
– Сейчас узнаешь, дружок.
– Отлично; только уж, пожалуйста, не врать, как прошлый раз!
– Ты это про что? Про англичанина, который на днях получил три тысячи скудо?
– Нет, при нем в самом деле оказались три тысячи скудо, мы их нашли. Я говорю о том русском князе.

– А что?
– А то! Ты сказал нам про тридцать тысяч ливров, а мы нашли только двадцать две.
– Видно, плохо искали.
– Его обыскивал сам Луиджи Вампа.
– Значит, он либо заплатил долги...
– Русский?
– ...либо истратил эти деньги.
– Ну, может быть.
– Не может быть, а наверно; но дай я схожу на мой наблюдательный пункт, а то француз покончит дело, и я не узнаю точную сумму.

Пеппино кивнул головой и, вынув из кармана чеши, принялся бормотать молитвы, а кои терщик прошел в ту же дверь, за которой исчезли служитель и барон.

Не прошло и десяти минут, как конторщик вернулся сияющий.

– Ну, что? – спросил его Пеппино.
– *Alerte! alerte!*⁴ – сказал конторщик. – Сумма-то кругленькая!
– Миллионов пять, шесть.
– Да; так ты знал?
– По расписке его сиятельства графа Монте-Кристо?
– Ты разве знаешь графа?
– И с кредитом на Рим, Венецию и Вену?
– Верно! – воскликнул конторщик, – откуда ты все это знаешь?
– Я ведь сказал тебе, что нас заранее предупредили.
– Зачем же ты спрашивал меня?
– Чтобы увериться, что это тот самый человек.
– Это он и есть... Пять миллионов. Недурно, Пеппино?
– Да.
– У нас с тобой никогда столько не будет!
– Как-никак, – философски заметил Пеппино, – кое-что перепадет и нам.
– Тише! Он идет.

Конторщик снова взялся за перо, а Пеппино за четки; и когда дверь отворилась, один писал, а другой молился.

Показался сияющий Данглар и банкир, который проводил его до дверей.

Вслед за Дангларом спустился по лестнице и Пеппино.

Как было условленно, у дверей банкирского дома Томсон и Френч ждала карета. Чичероне – личность весьма услужливая – распахнул дверцу.

Данглар вскочил в экипаж с легкостью двадцатилетнего гоноши.

Чичероне захлопнул дверцу и сел на козлы рядом с кучером.

Пеппино поместился на запятках.

– Вашему сиятельству угодно осмотреть собор святого Петра? – осведомился чичероне.

– Для чего? – спросил барон.

– Да чтобы посмотреть.

– Я приехал в Рим не для того, чтобы смотреть, – отвечал Данглар; затем прибавил про себя, со своей алчной улыбкой: – Я приехал получить.

И он ощупал свой бумажник, в который он только что положил аккредитив.

– В таком случае ваше сиятельство направляется...

⁴ Внимание! (итал.).

– В гостиницу.

– В отель Пастрняи, – сказал кучеру чичероне.

И карета понеслась с быстротой собственного выезда.

Десять минут спустя барон уже был у себя в номере, а Пеппино уселся на скамью у входа в гостиницу, предварительно шепнув несколько слов одному из упомянутых нами потомков Мария и Гракхов; потомок стремглав понесся по дороге в Капитолий.

Данглар был утомлен, доволен и хотел спать. Он лег в постель, засунул бумажник под подушку и уснул.

Пеппино спешить было покуда; он сыграл с носильщиками в «морра», проиграл три скудо и, чтобы утешиться, выпил бутылку орвпетского вина.

Па другое утро Данглар проснулся поздно, хоть накануне и лег рано; уже шесть ночей он спал очень плохо, если даже ему и удавалось заснуть.

Он плотно позавтракал и, равнодушный, как он и сам сказал, к красотам Вечного города, потребовал, чтобы ему в полдень подали почтовых лошадей.

Но Данглар не принял в расчет придирчивости полицейских и лепи станционного смотрителя.

Лошадей подали только в два часа пополудни, а чичероне доставил визированный паспорт только в три.

Все эти сборы привлекли к дверям маэстро Пастрини изрядное количество зевак.

Не было также недостатка и в потомках Мифня и Гракхов.

Барон победоносно проследовал сквозь толщю зрителей, кричавших его «сиятельством» в надежде получить на чай.

Ввиду того что Данглар, человек, как известно, весьма демократических взглядов, всегда до сих пор довольствовался титулом барона и никогда еще не слышал, чтобы его называли сиятельством, был этим очень польщен и роздал десяток серебряных монет всему этому сброду, которому за второй десяток величать его «высочеством».

– По какой дороге мы поедем? – спросил по-итальянски кучер.

– На Анкону, – ответил барон.

Пастрини перевел и вопрос и ответ, и лошади помчались галопом.

Данглар намеревался захватить в Венецию и взять там часть своих денег, затем проехать из Венеции в Вену и там получить остальное.

Он хотел обосноваться в этом городе, который ему хвалили как город веселья.

Не успел он проехать и трех лье по римской равнине, как начало смеркаться; Данглар не предполагал, что он выедет в такой поздний час, иначе бы он остался; он осведомился у кучера, далеко ли до ближайшего города.

– Non capisco⁵! – ответил кучер.

Данглар кивнул головой, что должно было означать: отлично!

И карета покатила дальше.

«На первой станции я остановлюсь», – сказал себе Данглар.

Данглара еще не покинуло вчерашнее хорошее расположение духа, к тому же он отлично выпался. Он развалился на мягких подушках превосходной, с двойными рессорами, английской кареты; его мчала пара добрых коней; он знал, что до ближайшей станции семь лье. Чем запясть свои мысли банкиру, который только что весьма удачно обанкротился?

Минут десять Данглар размышлял об оставшейся в Париже жене, еще минут десять о дочери, странствующей по свету в обществе мадемуазель д'Армильи; затем он посвятил десять минут своим кредиторам и планам, как лучше употребить их деньги; наконец, за отсутствием каких-либо других мыслей, закрыл глаза и заснул.

Впрочем, иногда, разбуженный особенно сильным толчком, Данглар на минуту открывал глаза; каждый раз он убеждался, что мчится все с той же быстротой по римской равнине, усеянной развалинами акведуков, которые кажутся гранитными великанами, окаменевшими на бегу. Но ночь была холодная, темная, дождливая, и было гораздо приятнее дремать в углу кареты, чем высовывать голову в окно и спрашивать, скоро ли они приедут, у кучера, который только и умел отвечать, что: «Non capisco!»

И Данглар снова засыпал, говоря себе, что он всегда успеет проснуться, когда доедет до почтовой станции.

⁵ Не понимаю! (итал.).

Карета остановилась; Данглар решил, что он, наконец, достиг желанной цели.

Он открыл глаза и посмотрел в оконное стекло, предполагая, что приехал в какой-нибудь город или, по меньшей мере, деревню; но он увидел только одинокую хибарку и трех-четыре человека, бродивших около нее, как тени.

Данглар ожидал, что доставивший его на эту станцию кучер подойдет и спросит следуемую ему плату; он думал воспользоваться сменой кучеров, чтобы расспросить нового; но лошадей перепрягли, а за платой никто не явился. Очень удивленный Данглар открыл дверцу; но чья-то сильная рука тут же ее захлопнула, карета покатила дальше.

Ошеломленный банкир окончательно проснулся.

– Эй! – крикнул он кучеру: – Эй! Mio caro⁶.

Эти слова Данглар помнил с тех времен, когда его дочь распевала дуэты с князем Кавальканти.

Но mio caro ничего не ответил.

Тогда Данглар опустил окно.

– Эй, приятель! Куда это мы едем? – сказал он, высовываясь.

– Dentro la testa! – крикнул строгий и властный голос.

Данглар понял, что Dentro la testa означает: уברי голову. Как мы видим, он делал быстрые успехи в итальянском языке.

Он повиновался, хоть и не без некоторого беспокойства; это беспокойство возрастало с минуты на минуту, и в скором времени в его мозгу вместо той пустоты, которую мы отметили в начале его путешествия и следствием которой явилась его дремота, зашевелилось множество мыслей, как нельзя более способных обострить внимание путника, а тем более путника в положении Данглара.

В окружающем мраке глаза его приобрели ту зоркость, которая обычно сопровождает первые минуты сильных душевных волнений и которая от напряжения впоследствии притупляется. Раньше чем испугаться, человек видит ясно; от испуга у него в глазах двоится, а после испуга мутится.

Данглар увидел, что у правой дверцы скачет человек, закутанный в плащ.

«Должно быть, жандарм, – сказал он себе. – Неужели французская полиция сообщила обо мне по телеграфу папским властям?»

Он решил положить конец неизвестности.

– Куда вы меня везете? – спросил он.

– Dentro la testa! – угрожающе повторил тот же голос.

Данглар обернулся к левому окну.

И у левого окна скакал верховой.

– Я попался, – вздрогнув, пробормотал Данглар.

И он откинулся в глубь кареты, по уже не для того, чтобы вздремнуть, а чтобы собраться с мыслями.

Немного погодя взошла луна.

Из глубины кареты Данглар бросил взгляд на равнину и снова увидел те огромные акведуки, каменные призраки, которые он уже заметил раньше; но только теперь они были уже по с правой стороны, а с левой.

Он понял, что карета повернула и что его везут обратно в Рим.

– Я погиб! – прошептал он. – Они добились моей выдачи.

Карета продолжала нестись с ужасающей скоростью. Прошел томительный час, каждый новый призрак на его пути с несомненностью подтверждал беглецу, что его везут обратно. Наконец он увидел какую-то темную громаду, и ему показалось, что карета налетит на нее. Но лошади повернули и поехали вдоль этой темной громады; то была стена укреплений, опоясывающих Рим.

– Что такое? – пробормотал Данглар, – мы не въезжаем в город; значит, это по полиция арестовала меня. Боже милостивый! Неужели...

Волосы зашевелились у него на голове.

Он вспомнил рассказы о римских разбойниках, которым не верили в Париже; вспомнил, как Альбер де Морсер развлекал ими г-жу Данглар и Эжени в те времена, когда он должен был стать зятем одной из них и мужем другой.

⁶ Мой милый! (итал.).

– Неужели грабители! – пробормотал он.

Вдруг колеса застучали по чему-то более твердому, чем песчаная дорога. Данглар собрался с духом и выглянул: его память, полная подробностей, которые описывал Альбер, подсказала ему, что он находится на Апписвой дороге.

Налево, в низине, виднелась круглая выемка.

Это был цирк Каракаллы.

По приказанию человека, скакавшего справа, карета остановилась.

В то же время с левой стороны открылась дверца.

– Scendi⁷! – приказал чей-то голос.

Данглар немедленно вышел из экипажа; он еще не мог говорить по-итальянски, но уже понимал все.

Барон, ни жив ни мертв, оглянулся по сторонам.

Его окружали четыре человека, не считая кучера.

– Die qua⁸, – сказал один из этих четырех, спускаясь по тропинке, которая вела в сторону от Аппиевой дороги, среди неровных бугров римской равнины.

Данглар беспрекословно последовал за своим вожатым и, даже не оборачиваясь, чувствовал, что остальные трое идут за ним по пятам.

Однако ему показалось, что эти люди, подобно занимающим посты часовым, останавливаются, один за другим, через равные промежутки.

Пройдя таким образом минут десять, в продолжение которых он не обменялся ни единым словом со своим вожатым, Данглар очутился между небольшим холмиком и зарослью высокой травы; три безмолвно стоящих человека образовали треугольник, в центре которого находился он сам.

Он хотел заговорить, но язык не слушался его.

– Avanti⁹! – сказал тот же резкий и повелительный голос.

На этот раз Данглар понял превосходно; ибо слово было подкреплено делом: шедший сзади него человек так сильно его толкнул, что он налетел на провожатого.

Этим провожатым был наш друг Пеппино, который двинулся сквозь высокую траву по такой извилистой тропинке, что только куницы да ящерицы могли бы счесть ее проторенной дорогой.

Пеппино остановился перед невысокой скалой, поросшей густым кустарником; в расщелину этой скалы он скользнул в точности так же, как в феериях проваливаются в люки чертенята.

Голос и жест человека, шедшего по пятам Данглара, вынудили банкира последовать этому примеру. Сомнений больше не было: парижский банкрот попал в руки римских разбойников.

Данглар повиновался, как человек, не имеющий выбора и от страха ставший отважным. Невзирая на свое брюшко, плохо приспособленное для того, чтобы пролезать в расщелины скал, ал протиснулся вслед за Пеппино, зажмурив глаза, съехал на спине вниз и стал на ноги.

Коснувшись земли, открыл глаза.

Ход был широкий, по совершенно темный. Пеппино, уже не скрывавшийся теперь, когда он был у себя дома, высек огонь и зажег факел.

Вслед за Дангларом спустились еще два человека, образовав арьергард, и, подталкивая его, если ему случалось остановиться, привели его по отлогому ходу к мрачному перекрестку.

Белые стены, с высеченными в них ярусами гробниц, словно глядели черными, бездонными провалами глаз, подобных глазницам черепа.

Стоявший здесь часовой взял карабин наперевес.

– Кто идет? – спросил он.

– Свой, свой! – сказал Пеппино. – Где атаман?

– Там, – ответил часовой, показывая через плечо на высеченную в скало залу, свет из которой проникал в коридор сквозь широкие сводчатые отверстия.

– Славная добыча, атаман, – сказал по-итальянски Пеппино.

И, схватив Данглара за шиворот, он подвел его к отверстию вроде двери, через которое проходили в залу, служившую, очевидно, жилищем атамана.

⁷ Выходите! (итал.).

⁸ Сюда (итал.).

⁹ Вперед! (итал.).

– Это тот самый человек? – спросил атаман, погруженный в чтение жизнеописания Александра, составленное Плутархом.

– Тот самый, атаман.

– Отлично; покажи мне его.

Исполняя это невежливое приказание, Пеппино так стремительно поднес факел к лицу Данглара, что тот отшатнулся, опасаясь, как бы огонь не опалил ему брови.

Отвратительный страх искажал черты этого смертельно бледного лица.

– Он устал, – сказал атаман, – укажите ему постель.

– Эта постель, наверно, просто гроб, высеченный в скале, – прошептал Данглар, сон, который ждет меня, – это смерть от одного из кинжалов, что блестят там в темноте.

В самом деле, в глубине огромной залы приподнимались со своих подстилок из сухих трав и волчьих шкур товарищи человека, которого Альбер де Морсер застал за чтением «Записок Цезаря», а Данглар – за жизнеописанием Александра.

Банкир глухо застонал и последовал за своим проводником; он не пытался ни кричать, ни молить о пощаде. У него больше не было ни сил, ни воли, ни желаний, ни чувств; он шел потому, что его заставляли идти.

Он споткнулся о ступеньку, понял, что перед ним лестница, инстинктивно нагнулся, чтобы не удариться лбом, и очутился в какой-то келье, высеченной прямо в скале.

Келья была чистая и притом сухая, хоть она и находилась глубоко под землей.

В одном углу была постлана постель из сухих трав, покрытых козьими шкурами.

Данглар, увидев это ложе, почел его за лучезарный символ спасения.

– Слава тебе господи! – прошептал он. – Это в самом деле постель.

Второй раз в течение часа он призывал имя божие, чего с ним не случилось уже лет десять.

– Ессо¹⁰, – сказал проводник.

И, втолкнув Данглара в келью, он закрыл за ним дверь.

Заскрипел засов; Данглар был в плену.

Впрочем, и не будь засова, надо было быть святым Петром и иметь провожатым ангела господня, чтобы проскользнуть мимо гарнизона, занимавшего катакомбы Сан-Себастьяно и расположившегося вокруг своего предводителя, в котором читатели, несомненно, уже узнали знаменитого Луиджи Вампа.

Данглар также узнал этого разбойника, в существование которого он отказывался верить, когда Альбер пытался познакомить с ним парижан. Он узнал не только его, но также и келью, в которой был заключен Морсер и которая, по всей вероятности, предназначалась для иностранных гостей.

Эти воспоминания вернули Данглару спокойствие. Если разбойники не убили его сразу, значит, они вообще не намерены его убивать.

Его захватили, чтобы ограбить, а так как при нем всего несколько золотых, то за него потребуют выкуп.

Он вспомнил, что Морсера оценили приблизительно в четыре тысячи экю; а поскольку он считал, что обладает гораздо более внушительной внешностью, чем Морсер, то мысленно решил, что за него потребуют выкуп в восемь тысяч экю.

Восемь тысяч экю составляет сорок восемь тысяч ливров.

А у него около пяти миллионов пятидесяти тысяч франков. С такими деньгами можно выпутаться из любого положения.

Итак, почти не сомневаясь, что он выпутается, ибо еще не было примера, чтобы за человека требовали выкуп в пять миллионов пятьдесят тысяч франков, Данглар растянулся на своей постели и, поверочавшись с боку на бок, заснул со спокойствием героя, чье жизнеописание изучал Луиджи Вампа.

XVIII. Прейскурант Луиджи Вампа

После всякого сна, за исключением того, которого страшился Данглар, наступает пробуждение.

Данглар проснулся.

¹⁰ Вот (итал.).

Парижанину, привыкшему к шелковым занавесям, к стенам, обитым мягкими тканями, к смолисто-му запаху дров, потрескивающих в камине, к ароматам, исходящим от атласного полога, пробуждение в меловой пещере должно казаться дурным сном.

Коснувшись козых шкур своего ложа, Данглар, вероятно, подумал, что попал во сне к самоедам или лапландцам.

Но в подобных обстоятельствах достаточно секунды, чтобы превратить сомнения в самую твердую уверенность.

«Да, да, – вспомнил он, – я в руках разбойников, о которых нам рассказывал Альбер де Морсер».

Прежде всего он глубоко вздохнул, чтобы убедиться, что он не ранен; он вычитал это в «Дон-Кихоте», единственной книге, которую он кое-как прочел и из которой кое-что запомнил.

«Нет, – сказал он себе, – они меня не убили и даже не ранили: но, может быть, они меня ограбили?»

И он стал поспешно исследовать свои карманы. Они оказались в полной неприкосновенности; те сто луидоров, которые он оставил себе на дорогу из Рима в Венецию, лежали по-прежнему в кармане его панталон, а бумажник, в котором находился аккредитив на пять миллионов пятьдесят тысяч франков, все еще лежал в кармане его сюртука.

«Странные разбойники! – сказал он себе. – Они мне оставили кошелек и бумажник! Я правильно решил вчера, когда ложился спать; они потребуют за меня выкуп. Скажите пожалуйста, и часы на месте! Посмотрим, который час».

Часы Данглара, шедевр Брегета, которые он накануне, перед тем как пуститься в путь, тщательно завел, прозвонили половину шестого утра. Иначе Данглар не мог бы определить время, так как в его келью дневной свет не проникал.

Потребовать от разбойников объяснений? Или лучше терпеливо ждать, пока они сами заговорят с ним? Последнее показалось ему более осторожным; Данглар решил ждать.

Он ждал до полудня.

В продолжение всего этого времени у его двери стоял часовой. В восемь часов утра часовой сменился.

Данглару захотелось взглянуть, кто его сторожит.

Он заметил, что лучи света – правда, не дневного, а от лампы – проникали сквозь щели между плохо пригнанными досками двери; он подошел к одной из этих щелей в ту самую минуту, когда разбойник угощался водкой из бурдюка, от которого исходил запах, показавшийся Данглару отвратительным.

– Тьфу! – проворчал он, отступив в глубь своей кельи.

В полдень любитель водки был сменен другим часовым. Данглар и тут любопытствовал взглянуть на своего нового сторожа; он опять придвинулся к щели.

На этот раз он увидел атлетически сложенного парня, настоящего Голиафа, с выпученными глазами, толстыми губами, приплюснутым носом; густые космы рыжих волос спадали ему на плечи, извиваясь, как змеи.

«Этот больше похож на людоеда, чем на человеческое существо, – подумал Данглар, – слава богу, я слишком стар и жестковат; дряблый, невкусный толстяк».

Как видите, Данглар еще был способен шутить.

В эту самую минуту, как бы для того, чтобы доказать, что он отнюдь не людоед, страж уселся против двери, вытащил из своей котомки ломоть черного хлеба, несколько луковиц и кусок сыру и начал жадно поглощать все это.

– Черт знает что, – сказал Данглар, наблюдая сквозь щели за обедом разбойника. – Не понимаю, как можно есть такую гадость.

И он уселся на козьи шкуры, запахом своим напоминавшие ему водку, которую пил первый часовой.

Но как ни крепился Данглар, а тайны естества непостижимы: иной раз голодному желудку самая неприхотливая еда кажется весьма соблазнительной.

Данглар внезапно ощутил, что сто желудок пуст; страж показался ему не таким уж уродливым, хлеб не таким уж черным, а сыр менее высохшим.

К тому же сырые луковицы, отвратительная пища дикаря, напомнили ему соусы Робер и подливки, которые в совершенстве стряпал его повар, когда Данглару случалось сказать ему: «Денизо, приготовьте мне сегодня что-нибудь остренькое».

Он встал и постучал в дверь.

Часовой поднял голову.

Данглар снова постучал.

– Che cosa¹¹? – спросил разбойник.

– Послушайте, приятель, – сказал Данглар, барабанив пальцами по двери, – по-моему, пора бы позаботиться и обо мне!

Но либо великан не понял его, либо ему не было дано соответствующих распоряжений, только он снова принялся за свой обед.

Данглар почувствовал себя уязвленным и, не желая больше иметь дело с таким неучем, снова улегся на козьи шкуры и не проронил больше ни слова.

Прошло еще четыре часа; великана сменил другой разбойник. Данглар, которого уже давно мучил голод, тихонько встал, снова приткнулся к дверной щели и узнал смышленную физиономию своего провожатого.

Это был Пеппино, который, по-видимому, решил провести свое дежурство поуютнее: он уселся напротив двери и поставил у ног глиняный горшок, полный горячего душистого турецкого гороха, поджаренного на сале.

Рядом с горшком Пеппино поставил корзиночку с всалетрийским виноградом и бутылку орвиетского вина.

Положительно, Пеппино был гурман.

При виде этих аппетитных приготовлений у Данглара потекли слюнки.

«Посмотрим, – сказал себе пленник, – может быть, этот окажется сговорчивее».

И он легонько постучал в дверь.

– Иду, иду, – сказал разбойник по-французски, ибо, бывая в гостинице Пастрины, он научился этому языку.

Он подошел и отпер дверь.

Данглар узнал в нем того человека, который так неистово кричал ему: «Убери голову!» Но теперь было не до упреков; наоборот, он скорчил самую любезную мину и сказал с самой вкрадчивой улыбкой:

– Простите, сударь, но разве мне не дадут пообедать?

– Как же, как же! – воскликнул Пеппино. – Неужели вы, ваше сиятельство, голодны?

– Это «неужели» бесподобно! – пробормотал Данглар. – Вот уже сутки, как я ничего не ел.

– Ну, разумеется, сударь, – прибавил он громко, – я голоден и даже очень.

– И ваше сиятельство желает покушать?

– Немедленно, если только возможно.

– Ничего пет легче, – сказал Пеппино, – здесь можно получить все что угодно; конечно, за деньги, как это принято у всех добрых христиан.

– Само собой! – воскликнул Данглар. – Хотя, по правде говоря, если вы держите людей в заключении, вы должны были бы по меньшей мере кормить их.

– Нет, ваше сиятельство, – возразил Пеппино, – у нас это не принято.

– Это довод неосновательный, но не будем спорить, – отвечал Данглар, который надеялся любезным обращением умилостивить своего тюремщика. – Так велите подать мне обед.

– Сию минуту, ваше сиятельство; что вам угодно?

И Пеппино поставил свою миску наземь, так что шедший от нее пар ударил Данглару прямо в ноздри.

– Заказывайте, – сказал он.

– Разве у вас тут есть кухня? – спросил банкир.

– Как же? Конечно, есть. И великолепная!

– И повара?

– Превосходные!

– В таком случае цыпленка, или рыбу, или какую-нибудь дичь; все равно что, только дайте мне поесть.

– Всё, что будет угодно вашему сиятельству; итак, скажем, цыпленка?

– Да, цыпленка.

Пеппино выпрямился и крикнул во все горло:

– Цыпленка для его сиятельства!

¹¹ В чем дело? (итал.).

Голос Пеппино еще отдавался под сводами, как уже появился юноша, красивый, стройный и обнаженный до пояса, словно античный рыбоносец; он нос на голове серебряное блюдо с цыпленком, не придерживая его руками.

– Как в Кафе-де-Пари, – пробормотал Данглар.

– Извольте, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, беря блюдо из рук молодого разбойника и ставя его на источенный червями стол, который вместе с табуреткой и ложем из козых шкур составлял всю меблировку кельи.

Данглар потребовал вилку и нож.

– Извольте, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, протягивая ему маленький ножик с тупым концом и деревянную вилку.

Данглар взял в одну руку нож, в другую вилку и приготовился резать птицу.

– Прошу прощения, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, кладя руку на плечо банкиру, – здесь принято платить вперед; может быть, гость останется недоволен.

«Это уж совсем не как в Кафе-де-Пари, – подумал Данглар, – не говоря уже о том, что они, наверно, обдерут меня; но не будем скупиться. Я всегда слышал, что в Италии жизнь дешева; вероятно, цыпленок стоит в Риме каких-нибудь двенадцать су».

– Вот возьмите, – сказал он и швырнул Пеппино золотой.

Пеппино подобрал монету. Данглар занес нож над цыпленком.

– Одну минутку, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, выпрямляясь, – ваше сиятельство еще не всё мне уплатили.

– Я так и знал, что они меня обдерут как липку! – пробормотал Данглар.

Но он решил не противиться этому вымогательству.

– Сколько же я вам еще должен за эту тощую курятину? – спросил он.

– Ваше сиятельство дали мне в счет уплаты луидор.

– Луидор в счет уплаты за цыпленка?

– Разумеется, в счет уплаты.

– Хорошо... Ну, а дальше?

– Так что ваше сиятельство должны мне теперь только четыре тысячи девятьсот девяносто девять луидоров.

Данглар вытаращил глаза, услышав эту чудовищную шутку.

– Презабавно, – пробормотал он, – презабавно!

И он снова хотел приняться за цыпленка, но Пеппино левой рукой удержал его и протянул правую ладонью вверх.

– Платите, – сказал он.

– Что такое? Вы не шутите? – сказал Данглар.

– Мы никогда не шутим, ваше сиятельство, – возразил Пеппино, серьезный, как квакер.

– Как, сто тысяч франков за этого цыпленка!

– Вы не поверите, ваше сиятельство, как трудно выводить птицу в этих проклятых пещерах.

– Всё это очень смешно, – сказал Данглар, – очень весело, согласен. Но я голоден, не мешайте мне есть. Вот еще луидор для вас, мой друг.

– В таком случае за вами теперь остается только четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров, – сказал Пеппино, сохраняя то же хладнокровие, – немного терпения, и мы рассчитаемся.

– Никогда, – сказал Данглар, возмущенный этим упорным издевательством. – Убирайтесь к черту, вы не знаете, с кем имеете дело!

Пеппино сделал знак, юноша проворно убрал цыпленка. Данглар бросился на свою постель из козых шкур. Пеппино запер дверь и вновь принялся за свой горох с салом.

Данглар не мог видеть, что делает Пеппино, но разбойник так громко чавкал, что у пленника не оставалось сомнений в том, чем он занят.

Было ясно, что он ест, и притом ест шумно, как человек невоспитанный.

– Болван! – выругался Данглар.

Пеппино сделал вид, что не слышит; и, не повернув даже головы, продолжал есть с той же невозмутимой медлительностью.

Данглару казалось, что его желудок бездонен, как бочка Данаид; не верилось, что он когда-нибудь может наполниться.

Однако он терпел еще полчаса; но надо признать, что эти полчаса показались ему вечностью.

Наконец он встал и снова подошел к двери.

– Послушайте, сударь, – сказал он, – не томите меня дольше и скажите мне сразу, чего от меня хотят.

– Помилуйте, ваше сиятельство, это вы скажите, что вам от нас угодно?.. Прикажите, и мы исполним.

– В таком случае прежде всего откройте мне дверь.

Пеппино открыл дверь.

– Я хочу есть, черт возьми! – сказал Данглар.

– Вы голодны?

– Вы это и так знаете.

– Что угодно скушать вашему сиятельству?

– Кусок черствого хлеба, раз цыплята так непомерно дороги в этом проклятом погребе.

– Хлеба? Извольте! – сказал Пеппино. – Эй, хлеба! – крикнул он.

Юноша принес маленький хлебец.

– Пожалуйста! – сказал Пеппино.

– Сколько? – спросил Данглар.

– Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров. Вы уже заплатили вперед два луидора.

– Как! За один хлебец сто тысяч франков?

– Сто тысяч франков, – ответил Пеппино.

– Но ведь сто тысяч франков стоит цыпленок!

– У нас нет преискуранта, у нас на всё одна цена. Мало вы съедите или много, закажете десять блюд или одно – цена не меняется.

– Вы опять шутите! Это нелепо, это просто глупо! Лучше скажите сразу, что вы хотите уморить меня голодом, и дело с концом.

– Да нет же, ваше сиятельство, это вы хотите уморить себя голодом. Заплатите и кушайте.

– Чем я заплачу, скотина? – воскликнул вне себя Данглар. – Ты, кажется, воображаешь, что я таскаю сто тысяч франков с собой в кармане?

– У вас в кармане пять миллионов пятьдесят тысяч франков, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, – это составит пятьдесят цыплят по сто тысяч франков штука и полцыпленка за пятьдесят тысяч франков.

Данглар задрожал, повязка упала с его глаз: это, конечно, была шутка, но теперь он ее понял.

Надо, впрочем, сказать, что теперь он не находил ее такой уж плоской, как раньше.

– Послушайте, – сказал он, – если я вам дам эти сто тысяч франков, будем ли мы с вами в расчете? Смогу я спокойно поесть?

– Разумеется, – заявил Пеппино.

– Но как я вам их дам? – спросил Данглар, облегченно вздыхая.

– Ничего нет проще; у вас текущий счет в банкирском доме Томсон и Френч, на Банковской улице в Риме; дайте мне чек на их банк на четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров: наш банкир его примет.

Данглар хотел по крайней мере сохранить видимость доброй воли; он взял перо и бумагу, которые ему подал Пеппино, написал записку и подписался.

– Вот вам чек на предъявителя, – сказал он.

– А вот вам цыпленок.

Данглар со вздохом разрезал птицу; она казалась ему очень постной по сравнению с такой жирной суммой.

Что касается Пеппино, то он внимательно прочитал бумажку, опустил ее в карман и снова принялся за турецкий горох.

XIX. Прощение

На следующий день Данглар снова почувствовал голод; воздух в этой пещере как нельзя более возбуждал аппетит; пленник думал, что в этот день ему не придется тратить: как человек бережливый, он припрятал половину цыпленка и кусок хлеба в углу своей кельи.

Но не успел он поесть, как ему захотелось пить; он совершенно не принял этого в расчет.

Он боролся с жаждой до тех пор, пока не почувствовал, что его иссохший язык прилипает к небу.

Тогда, не в силах больше противиться сжигавшему его огню, он позвал.

Часовой отпер дверь; лицо его было незнакомо узнику.

Данглар решил, что лучше иметь дело со старым знакомым. Он стал звать Пеппино.

– Я здесь, ваше сиятельство, – сказал разбойник, явившись с такой поспешностью, что Данглару это показалось хорошим предзнаменованием, – что вам угодно?

– Пить, – сказал пленник.

– Вашему сиятельству должно быть известно, – заявил Пеппино, – что вино в окрестностях Рима невероятно дорого.

– В таком случае дайте мне воды, – отвечал Данглар, пытаясь отразить удар.

– Ах, ваше сиятельство, вода еще большая редкость, чем вино: сейчас такая ужасная засуха!

– Я вижу, все начинается сызнова! – сказал Данглар.

И он улыбался, делая вид, что шутит, хотя на висках его выступил пот.

– Послушайте, мой друг, – сказал он, видя, что Пеппино все так же невозмутим, – я прошу у вас стакан вина; неужели вы мне в нем откажете?

– Я уже вам говорил, ваше сиятельство, – серьезно отвечал Пеппино, – что мы не торгуем в розницу.

– В таком случае дайте мне бутылку.

– Какого?

– Подешевле.

– Цена на все вина одна.

– А какая?

– Двадцать пять тысяч франков бутылка.

– Скажите лучше, что вы хотите меня ограбить! – воскликнул Данглар с такой горечью в голосе, что только Гарпагон мог бы оценить ее по достоинству. – Это будет проще, чем сдирать с меня шкуру по частям.

– Возможно, что таково намерение начальника, – сказал Пеппино.

– Начальника? А кто он?

– Вас к нему водили позавчера.

– А где он?

– Здесь.

– Могу я повидать его?

– Ничего нет легче.

Не прошло и минуты, как перед Дангларом предстал Луиджи Вампа.

– Вы меня звали? – спросил он пленника.

– Это вы, сударь, начальник тех, кто доставил меня сюда?

– Да, ваша милость. А что?

– Какой выкуп вы за меня требуете?

– Да просто те пять миллионов, которые у вас с собой.

Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце.

– Это все, что у меня есть, сударь, это остаток огромного состояния; если вы отнимете их у меня, то отнимите и жизнь.

– Нам запрещено проливать вашу кровь.

– Кто вам запретил?

– Тот, кому мы повинемся.

– Значит, вы кому-то повинуетесь?

– Да, начальнику.

– Мне казалось, что вы и есть начальник.

– Я начальник этих людей; но у меня тоже есть начальник.

– А этот начальник тоже кому-нибудь повинуется?

- Да.
- Кому же?
- Богу.

Он задумался.

- Не понимаю, – сказал Данглар.
- Возможно.
- Этот самый начальник и приказал вам так со мной обращаться?
- Да.
- С какой целью?
- Этого я не знаю.
- Но ведь когда-нибудь мой кошелек иссякнет?
- Вероятно.
- Послушайте, – сказал Данглар, – хотите миллион?
- Нет.
- Два миллиона?
- Нет.
- Три миллиона?.. Четыре?.. Ну, хотите четыре? Я вам их отдам с условием, что вы меня отпустите.
- Почему вы предлагаете нам четыре миллиона за то, что стоит пять? – сказал Вампа.
- Это ростовщичество, господин банкир, вот как я это понимаю.
- Берите все! Все, слышите! – воскликнул Данглар. – И убейте меня!
- Успокойтесь, ваша милость; не надо горячиться, а то у вас появится такой аппетит, что вы начнете проедать по миллиону в день; будьте бережливы, черт возьми!
- А когда у меня не хватит денег, чтобы платить вам? – воскликнул Данглар вне себя.
- Тогда вы будете голодать.
- Голодать? – сказал Данглар, бледнея.
- Вероятно, – флегматично ответил Вампа.
- Но ведь вы говорите, что не хотите убивать меня?
- Да.
- И дадите мне умереть с голоду?
- Это не одно и то же.
- Так нет же, негодяи, – воскликнул Данглар, – я обману ваши подлые расчеты! Если уж мне суждено умереть, то чем скорее, тем лучше; мучьте меня, пытайте меня, убейте, но моей подписи вы больше не получите!
- Как вашей милости будет угодно, – сказал Вампа.

И он вышел из кельи.

Данглар, рыча от бешенства, бросился на козьи шкуры. Кто были эти люди?

Кто был их невидимый начальник? Какие у них намерения? И почему все могут от них откупиться, а он один не может?

Да, конечно, смерть, быстрая, насильственная смерть – лучший способ обмануть расчеты его жестоких врагов, которые, видимо, наметили его жертвой какого-то непонятного мщения.

Но умереть!

Быть может, впервые за всю долгую жизнь Данглар думал о смерти, и призывая ее и в то же время страшась; настала минута взглянуть в лицо неумолимому призраку, который таится во всяком живом существе, говорящем себе при каждом биении сердца: «Ты умрешь!»

Данглар походил на дикого зверя, которого травля возбуждает, затем приводит в отчаяние и которому силою отчаяния иногда удается спастись.

Он подумал о побеге. Но окружавшие его стены были толще скалы, у единственного выхода из кельи сидел человек и читал, а за спиной этого человека двигались назад и вперед тени, вооруженные карабинами.

Его решимости хватило только на два дня, после чего он потребовал пищи и предложил за нее миллион.

Ему подали великолепный ужин и взяли предложенный миллион.

С этого времени жизнь несчастного пленника стала беспрерывным отступлением. Он так исстрадался, что не в силах был больше страдать, и исполнял все, чего от него требовали; прошло двенадцать дней, и вот, пообедав, не хуже, чем во времена своего преуспевания, он подсчитал, сколько выдал чеков; оказалось, что у него остается всего лишь пятьдесят тысяч.

Тогда в нем произошла странная перемена: он, который отдал пять миллионов, решил спасти последние пятьдесят тысяч франков; он решил вести жизнь, полную лишений, лишь бы не отдавать этих пятидесяти тысяч; в мозгу его мелькали проблески надежды, близкие к безумию. Он, который уже так давно забыл бога, стал думать о нем; он говорил себе, что бог иногда творит чудеса: пещера может разрушиться, папские карабинеры могут открыть это проклятое убежище и явиться к нему на помощь; тогда у него еще останется пятьдесят тысяч франков, а пятидесяти тысяч франков достаточно для того, чтобы не умереть с голода; и он со слезами молил бога оставить ему эти пятьдесят тысяч франков.

Он провел так три дня, и все три дня имя божье было непрерывно, если не в сердце у него, то по крайней мере на устах; по временам у него бывали минуты бреда, ему казалось, что он видит через окно, как в бедной комнатке, на жалкой постели, лежит умирающий старик. Этот старик тоже умирал с голоду.

На четвертый день Данглар был уже не человек, но живой труп; он подобрал все до последней крошки от своих прежних обедов и начал грызть циновку, покрывавшую каменный пол.

Тогда он стал молить Пеппино, как молят ангела-хранителя, дать ему поесть; он предлагал ему тысячу франков за кусочек хлеба.

Пеппино молчал.

На пятый день Данглар подтащился к двери.

– Вы не христианин! – сказал он, поднимаясь на колени. – Вы хотите уморить человека, брата вашего перед богом!

«Где все мои друзья!» – пробормотал он.

И он упал ничком.

Потом поднялся и в исступлении крикнул:

– Начальника! Начальника!

– Я здесь! – внезапно появляясь, сказал Вампа. – Что вам угодно?

– Возьмите мое последнее золото, – пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник, – и оставьте меня жить здесь, в этой пещере; я уже не прошу свободы, я только прошу оставить мне жизнь.

– Вы очень страдаете? – спросил Вампа.

– Да, я жестоко страдаю!

– А есть люди, которые страдали еще больше.

– Этого не может быть!

– Но это так! Те, кто умер с голоду.

Данглар вспомнил того старика, которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой каморке, на жалкой постели.

Он со стоном припал лбом к каменному полу.

– Да, правда, были такие, которые еще больше страдали, чем я, но это были мученики.

– Вы раскаиваетесь? – спросил чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом.

Своим ослабевшим взором он пытался взглянуть в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба.

– В чем я должен раскаяться? – едва внятно пробормотал Данглар.

– В содеянном зле, – сказал тот же голос.

– Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь! – воскликнул Данглар.

И он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой.

– Тогда я вас прощаю, – сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы стать на освещенное место.

– Граф Монте-Кристо! – в ужасе воскликнул Данглар, и лицо его, уже бледное от голода и страданий, побледнело еще больше.

– Вы ошибаетесь, я не граф Монте-Кристо.

– Кто же вы?

– Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили; я тот, чью невесту вы развратили, тот, кого вы растоптали, чтобы подняться до богатства; я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть, и все же вас прощаю, ибо сам нуждаюсь в прощении; я Эдмон Дантес!

Данглар вскрикнул и упал к его ногам.

– Встаньте, – сказал граф, – я дарю вам жизнь; ваши сообщники не были столь счастливы: один сошел с ума, другой мертв! Оставьте себе ваши пятьдесят тысяч франков, я их вам дарю; а пять миллионов, которые вы украли у сирот, уже возвращены. А теперь ешьте и пейте; сегодня вы мой гость. Вампа, когда этот человек насытится, он свободен.

Данглар, пока граф не удалился, продолжал лежать ничком; когда он поднял голову, он увидел только исчезающую в проходе смутную тень, перед которой склонялись разбойники.

Вампа исполнил приказание графа, и Данглару были поданы лучшие плоды и лучшее вино Италии; затем его посадили в его почтовую карету, провезли по дороге и высадили у какого-то дерева.

Он просидел под ним до утра, не зная, где он.

Когда рассвело, он увидел поблизости ручей; ему хотелось пить, и он подполз к воде.

Наклонившись, чтобы напиться, он увидел, что волосы его поседели.

XX. Пятое октября

Было около шести часов вечера; опаловый свет, пронизываемый золотыми лучами осеннего солнца, падал с неба на голубые волны моря.

Дневной жар понемногу спадал, и уже веял тот легкий ветерок, что кажется дыханием самой природы, просыпающейся после знойного полуденного сна: сладостное дуновение, которое освежает берега Средиземного моря и несет от побережья к побережью аромат деревьев, смешанный с терпким запахом моря.

По этому огромному озеру, простирающемуся от Гибралтара до Дарданелл и от Туниса до Венеции, скользила в первой вечерней дымке легкая, стройная яхта. Казалось, это скользит по воде распластавший крылья лебедь. Она неслась стремительная и грациозная, оставляя позади себя фосфоресцирующий след.

Последние лучи солнца угасли на горизонте; но, словно воскрешая ослепительные вымыслы античной мифологии, его нескромные отблески еще вспыхивали на гребнях волн, выдавая тайну Амфитриты: пламенный бог укрылся на ее груди, и она тщетно пыталась спрятать возлюбленного в лазурных складках своего плаща.

Яхта быстро неслась вперед, хотя казалось, ветер был так слаб, что не растрепал бы и локоны на девичьей головке.

На баке стоял человек высокого роста, с бронзовым цветом лица, и смотрел неподвижным взглядом, как навстречу ему приближалась земля, темным конусом выступавшая из волн, подобно исполинской каталонской шляпе.

– Это и есть Монте-Кристо? – задумчиво и печально спросил путешественник, по-видимому распорядившийся маленькой яхтой.

– Да, ваша милость, – отвечал капитан, – мы у цели.

– Мы у цели! – прошептал путешественник с какой-то непередаваемой грустью.

Затем он тихо прибавил:

– Да, здесь моя пристань.

И он снова погрузился в думы: на губах его появилась улыбка печальнее слез.

Спустя несколько минут на берегу вспыхнул слабый, тотчас же погасший свет, и до яхты донесся звук выстрела.

– Ваша милость, – сказал капитан, – с берега нам подают сигнал; хотите сами на него ответить?

– Какой сигнал? – спросил тот.

Капитан показал рукой на остров: к вершине его поднимался одинокий белесый дымок, расходящийся в воздухе.

– Да, да! – сказал путешественник, как бы очнувшись от сна. – Хорошо.

Капитан подал ему заряженный карабин; путешественник взял его, медленно поднял и выстрелил.

Не прошло и десяти минут, как уже спустили паруса и бросили якорь в пятистах шагах от небольшой пристани. На волнах уже качалась шлюпка с четырьмя гребцами и рулевым; путешественник спустился в нее, но вместо того чтобы сесть на корме, покрытой для него голубым ковром, скрестил руки и остался стоять.

Гребцы ждали команды, приподняв весла, словно птицы, которые сушат свои крылья.

– Вперед! – сказал путешественник.

Четыре пары весел разом, без всплеска, опустились в воду; и шлюпка, уступая толчку, понеслась стрелой.

Через минуту они уже были в маленькой бухте, расположенной в расселине скал, и шлюпка врезалась в песчаное дно.

– Ваша милость, – сказал рулевой, – двое гребцов перенесут вас на берег.

Путешественник ответил на это предложение жестом полного безразличия, спустил ноги за борт и соскользнул в воду, которая дошла ему до пояса.

– Напрасно вы это, ваша милость, – пробормотал рулевой, – хозяин будет нас бранить.

Путешественник, не отвечая, пошел к берегу, следом за двумя матросами, выбиравшими наиболее удобный грунт.

Шагов через тридцать они добрались до суши; путешественник отряхнулся и стал озираться, стараясь угадать, в какую сторону его поведут, потому что уже совсем стемнело.

Едва он повернул голову, как на плечо ему легла чья-то рука, и раздался голос, от звука которого он вздрогнул.

– Добро пожаловать, Максимилиан, – сказал этот голос, – вы точны, благодарю вас.

– Это вы, граф! – воскликнул Моррель и стремительно, почти радостно сжал обеими руками руку Монте-Кристо.

– Как видите, я так же точен, как вы; но вы промокли, дорогой мой; вам надо переодеться, как сказала бы Калипсо Телемаху. Идемте, здесь для вас приготовлено жилье, где вы забудете и усталость и холод.

Монте-Кристо заметил, что Моррель обернулся; он немного подождал.

В самом деле Моррель удивился, что привезшие его люди ничего с него не спросили и скрылись прежде, чем он успел им заплатить. Он услышал удары весел по воде: шлюпка возвращалась к яхте.

– Вы ищете своих матросов? – спросил граф.

– Да, они уехали, а ведь я не заплатил им.

– Не беспокойтесь об этом, Максимилиан, – сказал, смеясь, Монте-Кристо, – у меня с моряками договор, по которому доставка на мой остров товаров и путешественников происходит бесплатно. Я абонирован, как говорят в цивилизованных странах.

Моррель с удивлением посмотрел на графа.

– Вы здесь совсем другой, чем в Париже, – сказал он.

– Почему?

– Здесь вы смеетесь.

Чело Монте-Кристо сразу омрачилось.

– Вы правы, Максимилиан, я забылся, – сказал он, – встреча с вами – счастье для меня, и я забыл, что всякое счастье преходяще.

– Нет, нет, граф! – воскликнул Моррель, снова сжимая руки своего друга. – Напротив, смейтесь, будьте счастливы и докажите мне вашим равнодушием, что жизнь тяжела только для тех, кто страдает. Вы милосердны, вы добры, вы великодушны, и вы притворяетесь веселым, чтобы вселить в меня мужество.

– Вы ошибаетесь, Моррель, – сказал Монте-Кристо, – я в самом деле чувствовал себя счастливым.

– Так вы забыли обо мне; тем лучше.

– Почему?

– Вы ведь знаете, мой друг, что я, как гладиатор, приветствующий в цирке великого императора, говорю вам: «Идущий на смерть приветствует тебя».

– Так вы не утешились? – спросил Монте-Кристо, бросая на него загадочный взгляд.

– Неужели вы могли подумать, что это возможно? – с горечью сказал Моррель.

– Поймите меня, Максимилиан, – сказал граф. – Вы не считаете меня пошляком, бросающим слова на ветер? Я имею право спрашивать, утешились ли вы, ибо для меля человеческое сердце не имеет тайн. Посмотрим же вместе, что скрыто в самой глубине вашего сердца. Терзает ли его по-прежнему нестерпимая боль, от которой содрогается тело, как содрогается лев, ужаленный москитом? Мучит ли по-прежнему та палящая жажда, которую может утолить только могила, то безутешное горе, которое выбрасывает человека из жизни и гонит его навстречу смерти? Быть может, в вашем сердце просто иссякло мужество, уныние погасило в нем последний луч надежды, и оно, утратив память, уже не в силах более плакать?

Если так, если у вас больше нет слез, если вам кажется, что ваше сердце умерло, если у вас нет иной опоры, кроме бога, и ваш взгляд обращен только к небу, тогда, друг мой, вы утешились, вам не на что больше сетовать.

– Граф, – отвечал Моррель кротко и в то же время твердо, – выслушайте меня, как человека, который перстом указывает на землю, а глаза возводит к небу. Я пришел к вам, чтобы умереть в объятиях друга. Конечно, есть люди, которых я люблю: я люблю свою сестру, люблю ее мужа; но мне нужно, чтобы в последнюю минуту кто-то улыбнулся мне и раскрыл сильные объятия. Жюли разразилась бы слезами и упала бы в обморок; я увидел бы ее страдания, а я довольно уже страдал; Эмманюель стал бы отнимать у меня пистолет и поднял бы крик на весь дом. Вы же, граф, дали мне слово, и так как вы больше, чем человек, и я считал бы вас божеством, если бы вы не были смертны, вы проводите меня тихо и ласково к воротам вечности.

– Друг мой, – сказал граф, – у меня остается еще одно сомнение: может быть, вы так малодушны, что рисуетесь своим горем?

– Нет, граф, взгляните на меня: все просто, и во мне нет малодушия, – сказал Моррель, протягивая графу руку, – мой пульс не бьется ни чаще, ни медленнее, чем всегда. Я дошел до конца пути; дальше я не пойду. Вы называете себя мудрецом – и вы говорили мне, что надо ждать и надеяться; а вы знаете, к чему это привело? Я ждал целый месяц – это значит, что я целый месяц страдал! Человек жалкое и несчастное создание: я надеялся, сам не знаю на что, на что-то неизведанное, невысказанное, безрассудное! На чудо... но какое? Один бог это знает, бог, омрачивший наш разум безумием надежды. Да, я ждал; да, я надеялся; и за те четверть часа, что мы беседуем, вы, сами того не зная, истерзали мне сердце, потому что каждое ваше слово доказывало мне, что для меня нет больше надежды. Как ласково, как нежно убаюкает меня смерть!

Моррель произнес последние слова с такой страстной силой, что граф вздрогнул.

– Граф, – продолжал Моррель, видя, что Монте-Кристо не отвечает. – Пятого сентября вы потребовали от меня месячной отсрочки. Я согласился... Друг мой, сегодня пятое октября. – Моррель посмотрел на часы. – Сейчас девять часов; мне осталось жить еще три часа.

– Хорошо, – отвечал Монте-Кристо, – идем.

Моррель машинально последовал за графом, и даже не заметил, как они вошли в пещеру.

Он почувствовал под ногами ковер; открылась дверь, воздух наполнился благоуханием, яркий свет ослепил глаза. Моррель остановился в нерешительности: он боялся этой расслабляющей роскоши.

Монте-Кристо дружески подтолкнул его к столу.

– Почему нам не провести оставшиеся три часа, как древние римляне, – сказал он. – Приговоренные к смерти Нероном, своим повелителем и наследником, они возлежали за столом увенчанные цветами и вдыхали смерть вместе с благоуханием гелиотропов и роз.

Моррель улыбнулся.

– Как хотите, – сказал он, – смерть всегда смерть: забвение, покой, отсутствие жизни, а следовательно, и страданий.

Он сел за стол; Монте-Кристо сел напротив него.

Это была та самая сказочная столовая, которую мы уже однажды описали; мраморные статуи по-прежнему держали на головах корзины, полные цветов и плодов.

Войдя, Моррель рассеянно оглядел комнату и, вероятно, ничего не увидел.

– Я хочу задать вам вопрос, как мужчина мужчине, – сказал он, пристально глядя на графа.

– Спрашивайте.

– Граф, – продолжал Моррель, – вы владеете всем человеческим знанием, и мне кажется, что вы явились из другого, высшего и более мудрого мира, чем наш.

– В ваших словах, Моррель, есть доля правды, – сказал граф с печальной улыбкой, которая его так красила, – я сошел с планеты, имя которой – страдание.

– Я верю каждому вашему слову, даже не пытаюсь проникнуть в его скрытый смысл, граф; вы сказали мне – живи, и я продолжал жить; вы сказали мне – надейся, и я почти надеялся. Теперь я спрашиваю вас, как если бы вы уже познали смерть: граф, это очень мучительно?

Монте-Кристо глядел на Морреля с отеческой нежностью.

– Да, – сказал он, – конечно, это очень мучительно, если вы грубо разрушаете смертную оболочку, которая упорно не хочет умирать. Если вы искромсаете свое тело не приметными для глаза зубьями кинжала, если вы глупой пулей, всегда готовой сбиться с пути,

продырявите свой мозг, столь чувствительный к малейшему прикосновению, то вы будете очень страдать и отвратительно расстанетесь с жизнью; в час предсмертных мук она вам покажется лучше, чем купленный такой ценой покой.

– Понимаю, – сказал Моррель, – смерть, как и жизнь, таит в себе и страдания и наслаждения; надо лишь знать ее тайны.

– Вы глубоко правы, Максимилиан. Смотря по тому, приветливо или враждебно мы встречаем ее, смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг, который грубо вырывает нашу душу из тела. Пройдут тысячелетия, и наступит день, когда человек овладеет всеми разрушительными силами природы и заставит их служить на благо человечеству, когда людям станут известны, как вы сказали, тайны смерти; тогда смерть будет столь же сладостной и отрадной, как сон в объятиях возлюбленной.

– И если бы вы пожелали, граф, вы сумели бы так умереть?

– Да.

Моррель протянул ему руку.

– Теперь я понимаю, – сказал он, – почему вы назначили мне свидание здесь, на этом одиноком острове, посреди океана, в этом подземном дворце, в этом склепе, которому позавидовал бы фараон; потому что вы меня любите, граф, правда? Любите настолько, что хотите, чтобы я умер такой смертью, о какой вы сейчас говорили: смертью без мучений, смертью, которая позволила бы мне угаснуть, произнося имя Валентины и пожимая вам руку.

– Да, вы угадали, Моррель, – просто ответил граф, – этого я и хочу.

– Благодарю вас: мысль, что завтра я уже не буду страдать, сладостна моему истерзанному сердцу.

– Вы ни о чем не жалеете? – спросил Монте-Кристо.

– Нет! – отвечал Моррель.

– Даже и обо мне? – спросил граф с глубоким волнением.

Моррель молчал; его ясный взгляд вдруг затуманился, потом загорелся непривычным блеском; крупная слеза покатила по его щеке.

– Как! – сказал граф. – Вам еще жаль чего-то на земле и вы хотите умереть?

– Умоляю вас, ни слова больше, граф, – сказал Моррель упавшим голосом, – довольно вам мучить меня.

Граф подумал, что Моррель слабеет.

И в душе его вновь ожило ужасное сомнение, которое он уже однажды поборол в замке Иф.

«Я хочу вернуть этому человеку счастье, – сказал он себе, – я хочу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, куда я нагромоздил зло. Что, если я ошибся, и этот человек не настолько несчастлив, чтобы заслужить счастье? Что станет тогда со мной? Ведь только вспоминая добро, я могу забыть о зле».

– Послушайте, Моррель, – сказал он, – ваше горе безмерно, я знаю; но вы веруете в бога и не захотите погубить свою душу.

Моррель печально улыбнулся.

– Граф, – возразил он, – я не любитель красивых слов, но, клянусь вам, моя душа больше мне не принадлежит.

– Вы знаете, Моррель, что я один на свете, – сказал Монте-Кристо. – Я привык смотреть на вас, как на сына; и чтобы спасти своего сына, я готов пожертвовать жизнью, а богатством и подавно.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, Моррель, что вы решили расстаться с жизнью, потому что вам незнакомы наслаждения, которые она сулит тому, кто очень богат. У меня около ста миллионов, я вам дарю их; с таким состоянием вы можете достигнуть всего, чего только пожелаете. Если вы честолобивы, перед вами открыты все поприща. Переверните мир, измените его лицо, предавайтесь любым безумствам, совершайте преступления, но живите!

– Вы дали мне слово, граф, – холодно отвечал Моррель и взглянул на свои часы, – уже половина двенадцатого.

– Моррель! Подумайте! У меня на глазах, в моем доме!

– Тогда отпустите меня, – мрачно сказал Максимилиан, – не то я подумаю, что вы меня любите не ради меня, а ради себя.

И он поднялся.

– Хорошо, – сказал Монте-Кристо, и лицо его просветлело, – я вижу, ваше решение непреклонно; да, вы глубоко несчастны, и, как вы сами сказали, исцелить вас могло бы только чудо; садитесь же, Моррель, и ждите.

Моррель повинился: тогда Монте-Кристо встал, подошел к запертому шкафу, ключ от которого он носил при себе на золотой цепочке, и достал оттуда серебряный ларчик искусной чеканки, по углам которого были изваяны четыре стройные женские фигуры, изогнутые в горестном порыве, словно ангелы, тоскующие о небе.

Он поставил ларчик на стол.

Затем, открыв его, он вынул золотую коробочку, крышка которой откидывалась при нажиме на скрытую пружину.

Коробочка была наполнена тестообразным маслянистым веществом; отблеск золота и драгоценных камней, украшавших коробочку, мешал разглядеть его цвет.

Оно отливало лазурью, пурпуром и золотом.

Граф зачерпнул золоченой ложечкой немного этого вещества и протянул Моррелю, устремив на него испытующий взгляд.

Теперь стало видно, что вещество это зеленоватого цвета.

– Вот, что вы просили у меня, – сказал он. – Вот, что я вам обещал.

– Прежде чем умереть, – сказал Максимилиан, беря ложечку из рук Монте-Кристо, – я хочу поблагодарить вас от всего сердца.

Граф взял другую ложку и второй раз зачерпнул из золотой коробочки.

– Что вы делаете, друг? – спросил Моррель, хватая его за руку.

– Да простит меня бог, Моррель, – улыбаясь, ответил граф, – но, право, жизнь надоела мне не меньше, чем вам, и раз уж мне представляется такой случай...

– Остановитесь! – воскликнул Максимилиан. – Вы любите, вы любимы, вы не утратили надежды – не делайте этого! Это было бы преступлением! Прощайте, мой благородный, великодушный друг; я расскажу Валентине обо всем, что вы для меня сделали.

И медленно, но без колебаний, только сжимая левой рукой руку графа, Моррель с наслаждением проглотил таинственное вещество.

Оба замолчали. Али, безмолвный и внимательный, принес табак, кальяны, подал кофе и удалился.

Мало-помалу потускнели лампы в руках статуй, и Моррелю стало казаться, что аромат курений ослабевает.

Монте-Кристо, сидя напротив, смотрел на него из полумрака, и Моррель различал только его блестящие глаза.

Бесконечная слабость охватила Максимилиана; кальян выпал у него из рук; предметы теряли очертания и цвет; его затуманенному взору казалось, будто в стене напротив раскрываются какие-то двери и завесы.

– Друг, – сказал он, – я чувствую, что умираю; благодарю.

Он сделал усилие, чтобы в последний раз протянуть графу руку, но рука бессильно повисла.

Тогда ему почудилось, что Монте-Кристо улыбается, но не той странной, пугающей улыбкой, которая порой приоткрывала ему тайны этой бездонной души, а с тем ласковым – сочувствием, с каким отцы смотрят на безрассудства своих детей.

В то же время граф словно вырос; он казался почти великаном на фоне красной обивки стен; его черные волосы были откинuty назад, и он стоял, гордый и грозный, подобно ангелу, который встретит грешников в день Страшного суда.

Моррель, ослабевший, сраженный, откинулся в кресле; сладостная истома разлилась по его жилам. Все преобразилось в его сознании, как меняются пестрые узоры в калейдоскопе.

Полулежа, обессиленный, задыхающийся, Моррель уже не чувствовал в себе ничего живого, кроме единственной грезы: ему казалось, что он несется на всех парусах к тому смутному бреду, которым начинается иная безвестность, именуемая смертью.

Он снова попытался протянуть руку графу, но на этот раз рука даже не пошевелилась; он хотел сказать последнее прощание, но отяжелевший язык был недвижим, словно камень, замыкающий гробницу.

Его утомленные глаза невольно закрылись; но сквозь сомкнутые веки ему мерещился неясный образ, и он его узнал, несмотря на темноту.

Это был граф; он подошел к одной из дверей и открыл ее.

И в ту же минуту ослепительный свет, сиявший в соседней комнате, или, вернее, в сказочном замке, озарил залу, где Моррель предавался своей сладостной агонии.

На пороге, разделявшем эти две залы, появилась женщина дивной красоты.

Бледная, с нежной улыбкой, она казалась ангелом милосердия, заклиная ангела мщения.

«Небо открывается мне? – подумал Максимилиан, приподымая веки. – Этот ангел похож на того, которого я потерял».

Монте-Кристо указал девушке на кресло, где лежал Моррель.

Она приблизилась к нему, сложив руки, с улыбкой па устах.

– Валентина! – крикнул Моррель из глубины души.

Но с его губ не слетело ни звука; и, словно вложив все свои силы в этот немой крик, он глубоко вздохнул и закрыл глаза.

Валентина бросилась к нему.

Губы Морреля еще раз шевельнулись.

– Он вас зовет, – сказал граф. – Вас зовет из глубины своего сна тот, кому вы вверили свою судьбу и с кем смерть едва не разлучила вас. Но, к счастью, я был па страже, и я победил смерть! Валентина, отныне ничто на земле не должно вас разлучить, – ибо, чтобы соединиться с вами, он бросился в могилу. Не будь меня, вы бы умерли оба; я возвращаю вас друг другу; да зачтет мне господь эти две жизни, которые я спас!

Валентина схватила руку Монте-Кристо и, в порыве безмерной радости, поднесла ее к губам.

– Да, благодарите меня! – сказал граф, – неустанно повторяйте мне, что я дал вам счастье! Вы не знаете, как мне нужна эта уверенность!

– Я благодарна вам от всей души, – сказала Валентина, – если вы не верите в мою искренность, спросите Гайде. Пусть моя возлюбленная сестра Гайде скажет вам, что с тех пор, как мы покинули Францию, только ее рассказы о вас помогли мне терпеливо ждать счастливого часа, который ныне засиял для меня.

– Так вы любите Гайде? – спросил Монте-Кристо с волнением, которое он тщетно пытался скрыть.

– От всей души!

– Слушайте, Валентина, – сказал граф, – я буду просить вас об одной милости.

– Меня, боже правый! Неужели я буду так счастлива?..

– Да. Вы назвали Гайде вашей сестрой; пусть она в самом деле станет вашей сестрой, Валентина; воздайте ей за все, чем вы считаете себя обязанной мне: берегите ее и вы и Моррель, ибо (голос графа стал едва слышен) отныне она одна на свете...

– Одна на свете! – повторил голос позади графа. – Почему?

Монте-Кристо обернулся.

Перед ним стояла Гайде, бледная, похолодевшая, и смотрела на него со смертельным испугом.

– Потому что с завтрашнего дня, дочь моя, ты будешь свободна, – отвечал граф, – и займешь то положение, которое тебе подобает; потому что я не хочу, чтобы моя судьба омрачала твою. Дочь великого паши, я возвращаю тебе богатства и имя твоего отца.

Гайде побледнела, подняла свои прозрачные руки, подобно деве, вручающей себя богу, и спросила голосом, глухим от слез:

– Так ты покидаешь меня, господин мой?

– Ты молода, Гайде, ты прекрасна; забудь самое имя мое и будь счастлива.

– Хорошо, – сказала Гайде, – твои приказания будут исполнены, господин мой: я забуду твое имя и буду счастлива.

И она отступила к двери.

– Боже мой! – вскричала Валентина, поддерживая отяжелевшую голову Морреля, – разве вы не видите, как она бледна, не понимаете, как она страдает?

Гайде сказала душераздирающим голосом:

– Зачем ему понимать меня? Он господин, а я невольница, он вправе ничего не замечать.

Граф содрогнулся при звуке этого голоса, который коснулся самых тайных струн его сердца; его глаза встретились с глазами Гайде и не выдержали их огня.

– Боже мой! – сказал Монте-Кристо. – Неужели то, что ты позволил мне заподозрить, правда? Так ты не хотела бы расстаться со мной, Гайде?

– Я молода, – кратко ответила она, – я люблю жизнь, которую ты сделал для меня такой сладостной, и мне было бы жаль умереть.

– А если я тебя покину, Гайде...

– Я умру, господин мой!

– Так ты любишь меня?

– Он спрашивает, люблю ли я его! Валентина, скажи ему, любишь ли ты Максимилиана!

Граф почувствовал, что его сердцу становится тесно в груди; он протянул руки, и Гайде, вскрикнув, бросилась ему в объятия.

– Да, я люблю тебя! Я люблю тебя, как любят отца, брата, мужа! Я люблю тебя, как жизнь. Я люблю тебя, как бога, потому что ты для меня самый прекрасный, самый лучший, самый великий из людей!

– Пусть твое желание исполнится, мой ангел, – сказал граф. – Богу, который воскресил меня и дал мне победу над моими врагами, не угодно, чтобы моя победа завершилась раскаянием; я хотел покарать себя, а бог хочет меня простить. Так люби же меня, Гайде! Кто знает? Быть может, твоя любовь поможет мне забыть то, что я должен забыть.

– О чем ты говоришь, господин? – спросила девушка.

– Я говорю, Гайде, что одно твое слово научило меня большему, чем вся моя мудрость, накопленная за двадцать лет. У меня на свете осталась только ты, Гайде, ты одна привязываешь меня к жизни, ты одна можешь дать мне страдание, ты одна можешь дать мне счастье!

– Слышишь, Валентина? – воскликнула Гайде. – Он говорит, что я могу дать ему страдание, когда я готова жизнь отдать за него!

Граф глубоко задумался.

– Неужели я провижу истину? – сказал он наконец. – О боже, пусть награда или возмездие, я принимаю свою судьбу. Идем, Гайде, идем...

И, обняв гибкий стан девушки, он пожал Валентине руку и удалился.

Прошло около часа; Валентина, безмолвно, едва дыша, с остановившимся взглядом, все же сидела подле Морреля. Наконец она почувствовала, что сердце его забилось, еле уловимый вздох вылетел из полураскрытых губ, и легкая дрожь, предвестница возврата к жизни, пробежала по всему его телу.

Наконец глаза его открылись, но взгляд его был неподвижен и невидящ; потом к нему вернулось зрение, ясное, отчетливое; вместе со зрением вернулось и сознание, а вместе с сознанием – скорбь.

– Я все еще жив! – воскликнул он с отчаянием. – Граф обманул меня!

И он порывисто схватил со стола нож.

– Друг, – сказала Валентина со своей пленительной улыбкой, – очнись и взгляни на меня.

Моррель громко вскрикнул и, лепеча бессвязные слова, не веря себе, словно ослепленный небесным видением, упал на колени...

На другой день, в первых лучах рассвета, Моррель и Валентина, найдя дверь пещеры открытой, вышли на воздух. Они гуляли под руку по берегу моря, и Валентина рассказывала Моррелю, как Монте-Кристо появился в ее комнате, как он ей все открыл, как он дал ей воочию убедиться в преступлении, и, наконец, как он чудом спас ее от смерти, между тем как все считали ее умершей.

В утренней лазури неба еще мерцали последние звезды.

Вдруг Моррель заметил в тени скал человека, который словно ждал знака, чтобы подойти; он указал на него Валентине.

– Это Джакопо, – сказала она, – капитан яхты.

И она сделала ему знак подойти.

– Вы хотите нам что-то сказать? – спросил Моррель.

– Я должен передать вам письмо от графа.

– От графа! – повторили они в один голос.

– Да, прочтите.

Моррель вскрыл письмо и прочел:

«Дорогой Максимилиан!

У берега вас ждет фелука. Джакопо доставит вас в Ливорно, где господин Нуартье поджидает свою внучку, чтобы благословить ее перед тем, как она пойдет с вами к алтарю. Все, что находится в этой пещере, мой дом на Елисейских Полях и моя вилла в Трепоре, – свадебный подарок Эдмона Дантеса сыну его хозяина, Морреля. Надеюсь, мадемуазель де Вильфор не откажется принять половину этого подарка, ибо я умоляю ее отдать парижским беднякам состояние, которое она наследует после отца, сошедшего с ума, и после брата, скончавшегося, вместе с ее мачехой, в сентябре этого года.

Попросите ангела, охраняющего отныне вашу жизнь, Моррель, не забывать в своих молитвах человека, который, подобно сатане, возомнил себя равным богу и который понял со всем смирением христианина, что только в руке божьей высшее могущество и высшая мудрость. Быть может, эти молитвы смягчат раскаяние, которое я уношу в своем сердце.

Вам, Моррель, я хочу открыть тайну искусства, которому я вас подверг: в этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство. Надо возжаждать смерти, Максимилиан, чтобы понять, как хороша жизнь.

Живите же и будьте счастливы, мои нежно любимые дети, и никогда не забывайте, что, пока не настанет день, когда господь отдернет пред человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах:

Ждать и надеяться.

Ваш друг Эдмон Дантес, Граф Монте-Кристо».

Слушая это письмо, сообщавшее ей о безумии отца и о смерти брата, о чем она узнавала впервые, Валентина побледнела, горестный вздох вырвался из ее груди, и молчаливые, но жгучие слезы заструились по ее лицу; счастье досталось ей дорогой ценой.

Моррель с беспокойством посмотрел кругом.

– Право, граф слишком далеко заходит в своей щедрости, – сказал он. – Валентина вполне удовольствуется моим скромным состоянием. Где граф? Проводите меня к нему, мой друг.

Джакопо показал рукой на горизонт.

– Что вы хотите сказать? – спросила Валентина. – Где граф? Где Гайде?

– Взгляните, – сказал Джакопо.

Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдаль, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидели белый парус, не больше крыла морской чайки.

– Уехал! – воскликнул Моррель. – Прощай, мой друг, мой отец!

– Уехала! – прошептала Валентина. – Прощай, Гайде! Прощай, сестра!

– Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь! – сказал Моррель, отирая слезу.

– Друг мой, – отвечала Валентина, – разве не сказал нам граф, что вся человеческая мудрость заключена в двух словах:

Ждать и надеяться!

Векордия (VEcordia) представляет собой электронный литературный дневник Валдиса Эгле, в котором он цитировал также множество текстов других авторов. Векордия основана 30 июля 2006 года и первоначально состояла из линейно пронумерованных томов, каждый объемом приблизительно 250 страниц в формате А4, но позже главной формой существования издания стали «извлечения». «Извлечение Векордии» – это файл, в котором повторяется текст одного или нескольких участков Векордии без линейной нумерации и без заранее заданного объема. Извлечение обычно воспроизводит какую-нибудь книгу или брошюру Валдиса Эгле или другого автора. В названии файла извлечения первая буква «L» означает, что основной текст книги дан на латышском языке, буква «E», что на английском, буква «R», что на русском, а буква «M», что текст смешанный. Буква «S» означает, что файл является заготовкой, подлежащей еще существенному изменению, а буква «X» обозначает факсимилы. Файлы оригинала дневника Векордия и файлы извлечений из нее Вы **имеете право** копировать, пересылать по электронной почте, помещать на серверы WWW, распечатывать и передавать другим лицам бесплатно в информативных, эстетических или дискуссионных целях. Но, основываясь на латвийские и международные авторские права, **запрещено** любое коммерческое использование их без письменного разрешения автора Дневника, и **запрещена** любая модификация этих файлов. Если в отношении данного текста кроме авторских прав автора настоящего Дневника действуют еще и другие авторские права, то Вы должны соблюдать также и их.

В момент выпуска настоящего тома (обозначенный словом «Версия:» на титульном листе) главными представителями Векордии в Интернете были сайты: для русских книг – <http://vecordija.blogspot.com/>; для латышских книг – <http://vekordija.blogspot.com/>.

Оглавление

VEcordia	1
Извлечение R-MONTE3	1
Александр Дюма	1
Граф Монте-Кристо	1
Граф Монте-Кристо III	2
Часть пятая	2
I. Нам пишут из Янины	2
II. Лимонад.....	12
III. Обвинение.....	18
IV. Жилище булочника на покое.....	21
V. Взлом.....	31
VI. Десница господня	38
VII. Бошан.....	41
VIII. Путешествие	45
IX. Суд.....	51
X. Вызов.....	58
XI. Оскорбление.....	61
XII. Ночь	66
XIII. Дуэль	70
XIV. Мать и сын.....	76
XV. Самоубийство	79
XVI. Валентина	84
XVII. Признание.....	88
XVIII. Банкир и его дочь	94
XIX. Брачный договор.....	99
XX. Дорога в Бельгию	105
Часть шестая.....	108
I. Гостиница «Колокол и бутылка»	108
II. Закон	114
III. Видение.....	119
IV. Локуста	123
V. Валентина.....	126
VI. Максимилиан	129

VII. Подпись Данглара	133
VIII. Кладбище Пер-Лашез	139
IX. Дележ	146
X. Львиный ров	154
XI. Судья	158
XII. Сессия	163
XIII. Обвинительный акт	166
XIV. Искупление	170
XV. Отъезд	175
XVI. Прошлое	181
XVII. Пеппино	187
XVIII. Прейскурант Луиджи Вампа	193
XIX. Прощение	198
XX. Пятое октября	201
Оглавление	209